КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1931

КНИГА
ДЕВЯТАЯ

СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Валентин Катаев — На полях романа 3
Б. Пастернак — Четыре стихотворения 13
Анна Антоновская — Возвышение Георгия Саакадзе 15
Пав. Антокольский — Из цикла „Бумкомбинат", стихи . . . .
Ю. Бессонов — Красный треугольник, рассказ 63
Павел Васильев — Семипалатинск, стихи 84
Евгения Смирницкая — Из Средней Азии, стихи 85
Ив. Катаев — Победители 86
Петр Орешин — Живая лирика, стихи 107

В. Браславский — Очередное свидание социалистических превосходительств . 108
Ил. Эльвин — Церковь и испанская революция 122
И. Дукор — **М. Фридляндский** — Борьба с алкоголизмом в реконструктивный период 135

П. Сахаров — Ловцы трепанга 148
Эмиль Гиллер — У канадских лесорубов 155

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

С. Динамов — Бернард Шоу 167
Ив. Анисимов — Ромен Роллан 178

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Т. Николаева — „Локаф" №1—6, **И. Бороздин** — Орио Вергани, „Я бедный негр". **И. Бороздин** — Милий Езерский, „Золотая баба". **Н. Феоктистов** — М. Эгарт „Переправа". **В. Борзхвостов** — Сборник еврейской поэзии. 192—198

НОВЫЕ КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ ДЛЯ ОТЗЫВА

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

СЕНТЯБРЬ

№ 9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

«Мосполиграф»
13-я типо-цинкография
«Мысль печатника»,
Москва, Петровка, 17.
Заказ № 2114
Уполн. главлита № Б 10052
Тираж 15000.

На полях романа

Валентин Катаев

I

...Человек высокого роста спустил ногу со ступеньки. Вагон стоял в голове. Платформа сильно уехала назад. Дурно зашнурованный башмак не достал до земли. Человек подкинул спиной швейцарский мешок, сказал — гоп! — и прыгнул на землю.

«Как Подколесин» — тотчас подумал он и юмористически хмыкнул.

В детстве, рассматривая сочинения Гоголя, видел картинку: над землей, вдоль окна, висел в воздухе согнутый в три погибели господин в узких клетчатых панталонах со штрипками и завитым хохолком над гусиной головой. Некто Подколесин. С тех пор, прыгая с высокого, каждый раз обязательно вспоминал он господина Подколесина. Это осталось на всю жизнь.

А жизнь была длинная и непростая.

Огни станции, хотя были и далеко, но блестели прямо в глаза и мешали видеть. Он расставил руки и, думая о страшной власти памяти над жизнью, пошел раскарякой сквозь темноту, как сквозь туннель.

Его ждали. Он поровнялся с будкой, заваленной виноградом и арбузами. Фруктовый свет упал на белую бородку и клетчатую от морщин щеку. Его окликнули:

— Товарищ Мусатов?

— Я самый, — ответил он хорошо выработанным басом старого партийного работника. Он остановился, вглядываясь в людей, стоящих за светом. Их было довольно много.

— Чорт возьми, — молодцевато воскликнул Мусатов: — я приехал сюда абсолютно частным образом, а вы мне такую помпу закатываете! Совершенно зря... Ну, кто из вас товарищ Юхов, признавайсь?

Юхов выдался плечом из тесной кучки и пожал крупную руку.

— А я вас сразу по портретам признал, — сказал он, разглядывая вциковский флажок на груди гостя. — Долго у нас пробудете?

— Денька два-три.

Подталкиваемый со всех сторон дружескими плечами, хмыкая и разминаясь, Мусатов прошел через вокзал.

— Ну, это вы, положим, бросьте, — бубнил на ходу Юхов и вдруг сразу перешел на ты: — даже не думай. Раньше недели тебя не выпустим. Арестуем.

— Я лицо неприкосновенное, — нарочно надменно сказал Мусатов в нос, выставляя обширную грудь и раскатываясь на букве р.

— Ничего. Мы твое имя носим. Что захотим, то с тобой и сделаем. Хоть в политбюро жалуйся.

Мусатов остановился на лестнице, надел пенсне и косо посмотрел на Юхова.

— Вот как?

Юхов ему понравился.

Вокруг было несколько источников света. Фонарь у вокзала. Два неярких окна в домике напротив. И очень далеко и высоко — над лесами строящегося элеватора — голая звезда пятисотсвечевой лампы. От каждого предмета ложилось радиусом несколько теней различной длины и силы. Но всюду присут-

ствовал постоянный, почти незаметный, волшебный свет. Он, как зелье, примешивался ко всему.

— Ладно, — сказал Мусатов, задумчиво поворачивая лицо вверх.

— Ладно, Юхов. Ты меня не пугай. Я ворона стреляная.

Все засмеялись.

По местному времени было часов одиннадцать. Маленькая рябая луна находилась в самой середине мраморного неба.

В доме для приезжающих Мусатову была приготовлена отдельная комната.

Оставшись один, он поставил на табурет возле кровати керосиновую лампочку.

В подштанниках и пенсне он лег под сыроватое марсельское одеяло и с удовольствием взял из мешка загнутую книгу. Свежая, на вид пухлая, подушка захрустела под головой и уколола соломой. Страницу «Анны Карениной» закрыл острый угол подушки. Мусатов примял его плечом и стал читать. Без этого он не мог заснуть.

Собственно он не читал. Читать он перестал давно. Он перечитывал.

У него было несколько любимых книг, заменявших ему всю остальную литературу. Каждую из этих книг он знал как самого себя.

Он не только следовал за персонажами и присутствовал при событиях. Очень часто — чаще всего — персонажи следовали за ним, а события совершались только с его ведома и согласия. Если же персонажи вдруг выходили из повиновения и события начинали совершаться вопреки его воле, Мусатов тотчас применял самые решительные меры.

Он круто клал большой палец с твердым старческим ногтем на восставшую страницу и прикрывал книгу. Этим он, во-первых, мгновенно пресекал принявшее дурной оборот действие и снимал с себя всякую ответственность за дальнейшее. Во-вторых, он выигрывал время для передышки и освобождал воображение от образов с тем, чтобы на свежую голову спорить с автором.

Спор возникал немедленно.

А большой палец, между тем, оставался заложником и осведомителем, с двух сторон сжатым непокорными страницами.

С авторами Мусатов был в очень коротких отношениях. Они приходили к нему запросто, как старые сослуживцы, и оставляли в прихожей галоши.

Он относился к ним различно.

Например, Гоголя высоко ставил, как мастера, но терпеть не мог как человека. В жизни Гоголь был действительно неприятнейшая личность. Высокопарный, придирчивый, под парик засунуты для теплоты печатные бумажки — не то листки «жития святых», не то газетные пасквили. В ушах — иодистая вата. Чорт знает! Не человек, а чучело человека. Даже непонятно, как он мог с такой наружностью написать «Старосветских помещиков».

Спорил он мерзко. Рта не давал открыть собеседнику. Фыркал, крутил носом, перебивал, касался личностей. Все время прибегал к метафорам и об'яснялся витиеватыми словесными ребусами. Кроме того, был ханжа и мистик и грозился чертями и геенной. Только напрасно кровь себе вскипятишь, а он все равно на своем поставит.

В этом отношении Шекспир был куда приятнее, хотя по части метафор и ребусов превосходил Николая Васильевича. Особенно в подлиннике, на своем ужасном старо-английском языке.

Шекспир охотно соглашался со всеми доводами Мусатова. Он легко шел на уступки. Если Мусатов требовал другого оборота событий, Шекспир тотчас предлагал любое продолжение на выбор. Мусатов выбирал. Возникала новая сцена. Действие развивалось в другом направлении. И, вдруг, Мусатов к ужасу своему замечал, что попался. Хитрый Шекспир незаметно приводил персонажи в то самое положение, из которого их пытался вывести Мусатов.

Мусатов требовал новых перемен. «Как вам будет угодно», — покладисто соглашался Шекспир.

Со щегольством шахматного виртуоза он поворачивал действие, как доску, предлагая меняться цветами и шансами. Он отдавал противнику свою почти вы-

игранную партию и брался продолжать почти проигранную Мусатова.

Но сколько бы раз клетчатая доска событий ни поворачивалась, Шекспир всегда в конце концов добивался победы. Король Мусатова был заперт на заранее назначенной клетке.

Рок вмешивался при звуке труб в трагедию. Мертвый герой падал в бережно подставленную ладонь.

Все было кончено.

За давностью событий, Мусатов легко мирился с поражением.

И темнобородый Шекспир в белом отложном воротнике со шнурками — бархатный Шекспир Чандосского портрета — таинственно, как смерть, выходил в туфлях из комнаты, унося в еловой шкатулке окостеневшие белые и чопорные фигуры своих королев, королей, зубчатых башен, офицеров, коней и солдат, громыхающих и перемешанных катастрофой.

2

Больше всего Мусатов любил спорить с Толстым.

Их миры, мир Толстого и мир Мусатова, не были разделены прозрачной, но непроницаемой стеной времени. Они легко смешивались, как две соседние области с разным государственным строем, не имеющие естественных границ.

Очень часто идеи Мусатова преждевременно и слабо рождались в уме толстовских персонажей, а толстовские персонажи в свою очередь иногда заходили в местность Мусатова.

Прокурор Катюши Масловой однажды обвинял самого Мусатова и упек его, как личность политически неблагонадежную, в места весьма отдаленные.

Левин страстно спорил с братом о коммунизме, бился над рационализацией сельского хозяйства, каялся, хотел жениться на крестьянке и делал отчаянные, но бесплодные усилия найти абсолютную правду и изменить жизнь.

А левинские мужики, вышедшие косить по росе, легко могли, заблудившись во времени и пространстве, забрести в район сплошной коллективизации и лихо выкосить обобществленный луг в сельскохозяйственной артели имени товарища Мусатова.

Мусатов расходился с Толстым во всем. Но было одно общее: сознание необходимости переделать мир. Впрочем, это сейчас же превращалось в резкое противоречие.

Сердясь и волнуясь, Толстой доказывал, что сначала каждый человек должен переделать себя, а мир вследствие этого переделается сам. Мусатов холодно и непоколебимо настаивал на обратном порядке.

Сначала — мир, потом — человек.

Письмо Юхова пришло в Кремль.

Юхов приглашал посмотреть сельскохозяйственную артель, носящую имя Мусатова.

Лично Юхова Мусатов не знал, но много слышал о его замечательной работе. В сущности, если отбросить подробности, Юхов на своем участке переделывал мир. И переделывал здорово.

Мусатов никогда ничему не верил на слово. Надо было с'ездить и убедиться. Несколько дней он употребил на устройство свободной недели для поездки.

По ночам он воевал с Толстым.

За окном под белой аркой горели газовые фонари.

Борьбу начинал Толстой.

Но сила и опыт были на стороне Мусатова. Толстой говорил, а Мусатов делал.

На этот раз он с особенным удовольствием чувствовал в Толстом великого, но слабого противника.

Осторожно и тщательно снимая с романа один за другим покровы, он сделал открытие, что «Анна Каренина» — роман о землеустройстве и надо быть слепым, чтобы не видеть этого.

Роман жил двойной жизнью. Поверх блестяще написанного салонного жанра с любовным сюжетом выступили суровые контуры социальной драмы.

Менялись цвета. Менялся рисунок. Воображение заселяло знакомую местность разоблаченными дворянами. Воображение сталкивало их, создавало новые события. Обнажалась основа, грубая, как топографическая карта.

Мусатов не мог оставить разоблачений, не доведя их до конца. Надо было ехать. План поездки сложился так. Сначала в Харьков, а затем — на юг, с пересадками — в Юховскую экономию.

Харьков лежал в стороне, но Мусатов желал хоть часть расстояния сделать воздухом. Из всех возможных путей он всегда выбирал самый новый. Ради этого он решился на крюк. Впрочем он ничего не терял. Удлиняя дорогу, он сокращал время.

Он заложил страницу письмом Юхова — как бы оставляя во враждебном стане своего человека — и сунул книгу в мешок.

Пассажирский самолет вылетел из Москвы точно по расписанию в четыре часа, на рассвете. В девять часов того же утра, пролетев над двумя республиками, самолет опустился в Харькове.

Мусатов летел в первый раз. Полет привел его в восторг, однако не удивил. Удивление — оборотная сторона созерцания, а он никогда не был созерцателем. Техника состояла у него на службе. Переделывая мир, он научился предвидеть. Его воля подчинялась воображению, но это было научное воображение коммуниста, всегда обращенное в будущее. Когда же будущее становилось настоящим, оно — восхищало, но уж никак не могло удивить.

У ворот аэропорта стоял часовой. Моросило. Светало. Пред'явив билет, Мусатов вскарабкался по лесенке и с любопытством влез в косую дверь самолета. Летчик и бортмеханик сидели высоко впереди, как кучера диккенсовского дилижанса.

Это был Уэтгемпширский луг.

Дрожали ромашки, прижатые воздухом к земле.

Работающий мотор переменил тон. Мир оглох. Зрение тотчас приняло на себя обязанности утраченного слуха.

За окошком поехал туман.

Задрав ноги, Мусатов упал в низкое и глубокое кресло. Был еще какой-то широкий пояс с тяжелой, как телефонная трубка, пряжкой. Ее невозможно было застегнуть.

В кабине из восьми мест одно, рядом, оставалось свободным. Мусатов кинул на него мешок. Таким образом, Толстой оказался его ближайшим соседом.

Три нитки воды чиркнули пунктиром по маленькому стеклу. Первая — вертикально. Вторая — наклонно. Третья — горизонтально.

Мусатов рукавом протер окно. Туманный горизонт находился на своем постоянном уровне, но земля оказалась необычайно вместительной Она вобрала в себя такое количество предметов, что им пришлось невероятно сжаться и резко переменить раккурс для того, чтобы поместиться в заколдованном кругу.

Подробная, хорошо раскрашенная и освещенная солнцем модель московского района разрослась до пределов рельефной карты области. Она передвигалась чудовищно медленно.

Однако уже ехали над Тулой.

Пожалуй в бинокль можно было бы увидеть розовые столбы Ясной Поляны...

Кстати, о Толстом.

Потеря слуха не могла помешать Мусатову обмениваться с ним мыслями. Читать было трудно. Ночной спор продолжался.

Толстого мучили внутренние противоречия. Его тактика была слишком сложной для прямого и широкого нападения. Он чересчур хитрил и сам путался в своих хитростях.

Самолет падал в ямы. Сердце теряло вес и повисало в воздухе, не поспевая за падающим телом. Оно повисало между небом и землей, как пустое яйцо.

Толстой с силой втискивал маленькие кулачки за ремешок пояса.

Шла борьба за власть между бытием и сознанием. Сознание мерцало и гасло и меняло цвета. Бытие стояло вокруг прочной средой пространства и времени, смешанных в полете.

Толстой никак не мог справиться со своими персонажами. В самые решительные минуты они, вдруг, вырывались из рук и начинали действовать вопреки его намерениям. Они грубо выходили из повиновения, но он, верный своим нравственным правилам, не смел применить к ним насилие.

Мусатов косо улыбался. (Его брови остро топорщились, как креветки). Улыбаясь, он посматривал в окошко. Самолет набирал высоту. Толстой горячился. Персонажи действовали сами по себе. Это было ужасно. Они вносили замешательство в тщательно приготовленную систему доводов.

Роман, написанный автором в темпе пятидесяти верст в час николаевской железной дороги, не мог выдержать скорости ста восьмидесяти километров в час пассажирского самолета советской конструкции К 5, распознавательный знак 250 — линии Укрвоздухпути.

Роман трещал и раз'езжался по всем швам.

Между тем в окне, под громоздкой крышей крыла, подпертой балкой фермы, творились замечательные дела. Как бы отражая борьбу непримиримых мировоззрений, русская земля наглядно меняла свое тысячелетнее лицо.

Участки полей устилали переделываемый мир.

Единоличный сектор рябил узенькими полосками рядна, потертым шитьем разрезанных на мелкие части дворянских мундиров, рябил посконными латочками, вставочками, заштопанными дырочками, полосатым ситчиком межей.

Обобществленные поля простирались обширными, цельными, новыми выкройками черной диагонали вспаханной трактором целины, простирались суровой холстиной жнивья и большими енотовыми воротниками несжатых еще ржей.

Толстой еще только приглядывался к человеку, не зная, с какого бока за него взяться, чтобы устыдить его и уговорить исправиться, а Мусатов уже проворно и хватко кроил землю, и перепуганные толстовские персонажи бегали как зайцы по меняющейся земле, вырывались из старческих пальцев и делали совсем не то, что должны были делать по мысли автора.

Теперь, в последние минуты полета, поглядывая в окошко на ландшафт, по которому с механической точностью передвигалась маленькая стрелка — тень самолета, — Мусатов с наслаждением разоблачал подлинный их смысл, не давая измученному тошнотой противнику пощады и передышки.

Уже внизу повертывался плотным скоплением серых кристаллов харьковский дворец промышленности.

Впервые за четыре часа полета смолк мотор. Удивительнейшая тишина настала в мире.

Незаметно произошло нечто необ'яснимое. В правом окошке пропала земля. Ее место заняло опрокинутое небо — громадное, пустое пространство, осторожно тронутое ангельской рябью облаков. Оно могущественно притягивало к себе, как круглая поверхность синей планеты. Между тем левое окно сплошь закрыла земля. Она нежно прильнула к нему всеми своими возвращенными подробностями: растянутым кругом бегов, жарко блистающими стеклами длинного автобуса, — между прочим — розовым озером химического завода, затем лесами строящихся корпусов, известью, щебнем, заборами, зеленью.

Так, прежде чем перейти от общего к частностям, самолет занесся доской качели, поменял местами землю и небо (вишню и скамейку), сделал круг, выпрямился и пошел на посадку.

3

Остальную часть дороги Мусатов проехал потихонечку в поезде.

Это было не так интересно, но менее утомительно.

Праздничное напряжение полета сменилось ленивыми буднями с вагонной грязцой, с кипяточком, с колбасной кожурой на сапоге соседа. Привычные железнодорожные подробности освободили мозг от слишком настойчивых обобщений полета. Всю дорогу Мусатов отдыхал и бездельничал. Казалось, он совсем забыл про неоконченный спор с Толстым. Однако мысль его незаметно продолжала работать, решая интереснейшие вопросы о странном поведении толстовских персонажей.

Возмутительно, например, вел себя Вронский.

Пустой, ограниченный светский офицер, он был поставлен в роман не без задней мысли послужить отталкиваю-

щим примером животного начала в человеке. Совершенно неожиданно, несмотря на все свои постыдные недостатки, он оказался до такой степени симпатичным и приятным человеком, что даже старый большевик Мусатов и тот, при взгляде на него, не в силах был удержаться от улыбки удовольствия.

В то же время ищущий социальной справедливости Левин — честный, нравственный, горячий и весьма неглупый персонаж, специально предназначенный в пику Вронскому, — вдруг становился личностью настолько неприятной, что ни о каком ущемлении Вронского и речи не могло быть. Наоборот — от соседства с Левиным Вронский только выигрывал.

В чем же дело?

В былые времена это ставило Мусатова втупик. Особенно смущал Стива Облонский.

Бездельник, обжора, паразит, либеральничающий бюрократ, белая кость — таких расстреливать надо... И расстреливали! — а поди ж ты — до чего симпатичен и мил!

Но с теченьем времени Мусатов начал понемногу проникать в тайну толстовского стиля. Теперь ему казалось, что он постиг его совершенно.

Едва он доехал до места, залез под одеяло и взял к себе книгу — спор загорелся с новой силой. Надо было, наконец, раз и навсегда разоблачить всякие тайны.

Толстой тотчас вошел, маленький, чистый, в мышиной блузе великолепного материала и обширного покроя, поскрипывая удобными козловыми башмаками на резинках. Он был немного онфужен.

Мусатов обрушился на него, не дав опомниться. Он сразу прижал его к стенке. А ну-ка, Лев Николаевич, постойте. Я, конечно, вас чрезвычайно ценю и уважаю, вы — классик. Мы вас издаем. Но — извините... С вашими персонажами происходит нечто странное. Положительные получаются неприятными, отрицательные — очаровательными, жалко расставаться. И, ведь, нельзя сказать, чтобы тенденции у вас были слишком худые. Наоборот. Коренную тенденцию вашу я принимаю. Вы, конечно, настаиваете на своей, общечеловеческой об'ективности. Но, позвольте вам заметить, что именно эта об'ективность вас и подкосила.

Вы хотите встать над человечеством, в то время как даже еще не вышли из пределов своего класса. Выйти из пределов класса нельзя, не желая уничтожить этого класса. А уничтожать вы ничего и никого не хотите. Ваше происхождение диктует вам вкусы и мысли, хотя вам кажется это невероятным и невозможным.

Вы желаете быть об'ективным и начинаете хитрить с самим собой.

Выдумав истину, что над ближним нельзя совершать насилия, вы совершаете насилие над самим собой. Вы берете себя за горло. Вы любите Левина. Левин — это вы. Вам кажется, что Левин — это хорошо. Но вам стыдно быть суб'ективным и тенденциозным. Тогда вы берете бедного Левина и приписываете ему массу неприятных черт, чтобы сохранить так называемую правду. Вы наделяете Левина ревностью, наивностью, мелкопоместной грубостью, доморощенной философией. Вы не знаете меры, так как мера — это и есть не что иное, как ненавистная вам тенденция. Вы черните Левина до тех пор, пока он не становится тошнотворным. Тогда вам кажется, что вы сохранили об'ективность и остались беспристрастным.

С Вронским вы поступаете наоборот. Вы его не любите. Он вам органически чужд и враждебен. К Вронскому вы пристрастны. Но вам стыдно своего пристрастия. Вы желаете быть беспристрастным. Вы берете плохого Вронского и наделяете его кучей очаровательных черт, как бы желая загладить свое дурное к нему отношение. Вы украшаете его чудесными сплошными зубами, чистоплотностью, щедростью, добротой. Вы снова теряете чувство меры. Вы ударяете по самым слабым струнам русского сердца. Вронский у вас жертвует семье погибшего сцепщика 200 рублей; Вронский отдает свое отцовское имение брату, женатому на дочери революционера;

Вронский ради любви отказывается от блестящей придворной карьеры.

Как справедливый отец, вы боитесь обделить нелюбимого сына и пересаливаете.

Вам нужно, чтобы Вронский упал с лошади на скачках. Без этого трудно обойтись роману. Но паденье Вронского может повредить его репутации хорошего наездника и сделать его смешным. Боже сохрани. Вы ни за что не дадите его в обиду. Ваша справедливость не имеет пределов. Тотчас же после падения вы замечаете, что не один Вронский, а больше половины скакавших офицеров свалилось и что сам государь был недоволен скачками. Репутация Вронского спасена.

Вы украшаете Вронского до тех пор, пока он не становится самым симпатичным, самым человечным персонажем романа. Этим вы разрушаете все ваши хитросплетения и попадаете в собственные сети.

Попробуйте, уберите все эти приятные качества Вронского, хотя бы и оставив остальные.

Сделайте его скупым, с редкими желтыми зубами, скверным наездником, плохим товарищем. Попробуйте, я вас умоляю!

Вряд ли тогда Анна влюбится в него. И роман погиб.

Ваш роман держится на ложно понятой общечеловечности. Имейте мужество опуститься на классовую точку зрения. Но вы боитесь этого, потому что это приведет всю вашу мирную, семейную философию к катастрофе. А катастроф, любезный Лев Николаевич, вы боитесь больше всего на свете.

Нам с вами не по пути, хотя мы вас и глубоко уважаем и издаем в Госиздате. Мы люди дела. Прощайте.

Толстой вынул большой свежий носовой платок, заботливо положенный добрейшей Софьей Андреевной в круглый карман его охотничьей блузы, и потер серые брови.

В окно легко ударила горсть редкого дождя.

Мусатов задул лампу и заснул в превосходном настроении.

4

Несколько дней тут шел дождь. Мусатов привез с собой хорошую погоду.

Холодноватый, прозрачный ветер кропотливо пробирал под сваями синюю воду. Река широко отражала редкие, быстрые облака, розовые с одного бока и голубые — с другого.

Переехали мост. Юхов сидел рядом с шофером, повернувшись к Мусатову боком.

Проворный ветер трепал русый чуб, выбившийся из-под козырька кепи. Щеточка давно нестриженных волос лежала на вытертом воротнике худого пальто.

Юхов сильно щурился, быстро поглядывая то в степь, то на Мусатова.

Солнце и воздух быстро — почти на глазах — сушили землю. День обещал быть прекрасным. Видимо это радовало Юхова. Хотя трудно было прочесть радость на его мускулистом, худом, молодом, крепко собранном военном лице, побитом полевым ветром и высушенном соломенным зноем молотьбы.

— Сколько тебе лет, Юхов?

— Тридцать один.

— На империалистической был?

— Не был. До моего года не дошло.

— А в Красной?

Юхов поправил на жилистой шее серый свитер. Он коротко рассказал свою биографию. Он родился в семье деревенского бедняка. В юности работал в батраках. Кинул деревню. Ушел на завод. Таскал уголь. Потом — гражданская война. Дрался в Красной. Научился грамоте. Вступил в партию. Кончил гражданскую войну командиром. Демобилизовался. Был послан партией в комвуз. Учился там. Прошлой осенью во время «колхозных перегибов» бросил учебу и поехал в деревню.

Он задумчиво посмотрел на Мусатова и усмехнулся.

— Прошлой осенью немного перегнули. Это правда. Теперь закрепляемся.

Этими словами Юхов окончил свой рассказ и, быстро оглядев — будто пощупав глазами — высыхающую степь, хозяйственно прищурился на стеклянное сентябрьское солнце.

Дорога чем дальше, тем становилась лучше. Сперва она шла вязкая и песчаная, обсаженная по сторонам мелкорослым ивняком, потом выбилась на твердый, хорошо накатанный грунт, усыпанный колосьями пшеницы, упавшей с возов.

Мусатов молчал.

Он вообразил:

Дует ледяной ветер. Хлещет мелкий дождь. Дороги размокли. Ни пройти по ним, ни проехать. Прижатый бабами к плетню стоит в мокром осеннем пальто с поднятым воротником Юхов. На ботинки его налипла солома и пудовая грязь. Бабы орут. Кончик развязавшегося ботиночного шнурка со сплющенным наконечником вбит ногами в черную, как деготь, почву. Вокруг никого.

Степь. Дождь. Мгла.

— Нда-с. Перегнули.

Автомобиль круто свернул в сторону. Запрыгал по кочкам.

— А, что-б вас, черти!..

Две зазевавшиеся бабы чуть-чуть не угодили под машину. Они шли по дороге с базара, не обращая внимания на сигналы. Они держали за концы длинную палку. На палку была надета корзина. Бабы были под хмельком и пели песни. Возникновение машины привело их в состояние столбняка. Потом наступила минута суетливой и совершенно бестолковой деятельности. Они хлопотливо сбежали с дороги в разные стороны, но палки из рук не выпускали, и долго с воплями тащили ее каждая к себе, преграждая путь шлагбаумом, на котором безнадежно вертелась корзинка. Из нее сыпалась на дорогу всевозможная бабья чушь и дребедень. Этой бабьей гимнастике не предвиделось конца. Пробурчав себе под нос нечто энергичное, но к счастью неразборчивое, шофер круто обогнул юмористическую группу и ловко вывел машину на прямую. И только когда машина была уже далеко, бабы с визгом, враз, как по команде, бросили на дорогу и палку, и корзинку и нырнули в кусты, откуда еще долго раздавались весьма нелестные прилагательные по адресу Юхова и Мусатова.

Впереди показались деревья большого хутора. Серебристо-зеленые, туманные, нежно освещенные солнцем, они бросали на пожелтевший, вялый луг ясную, почти розовую утреннюю тень.

— Тут в прошлом году осенью старика убили, — внезапно произнес шофер, показывая кожаным потертым локтем на придорожную канаву, поросшую дерезой. — Кулаки убили. Они в сельсовет метили проскочить. Против них никто выступить не решался. Боялись разоблачать. А старик был бедняк. Не побоялся. И разоблачил. На сходе. Их, конечно, в сельсовет провалили. А старик, не дожидаясь конца схода, домой пошел. Они схватились — где старик? Нет старика. Поехали за ним. И вот тут, у самого хутора, нагнали. Конечно, они его не стали ругать. Наоборот. Мы, говорят, на тебя не сердимся. Пускай. Что, говорят, было, то было. Чорт с ним. Заходи до нас в гости, помиримся. Старик зашел к ним. Отчего же? Пускай! Они ему стакан водки наливают. Старик выпил. Они ему сразу другой стакан. Пей! Старик видит, что они просто-таки хотят его споить и потихонечку, потихонечку выбрался из хаты и пошел по дороге домой. Те вдруг спохватились, где старик? Нет старика. Ну, тут они бросили всякую осторожность. Стали погоню запрягать. Люди видели, как они торопились. Запрягли лошадей и помчались за стариком. А старик, конечно, далеко не смог уйти. Где же ему? Вот тут, на этой самой дороге, они его и настигли. Они с собой топор взяли. Потом суд был. Они даже не скрывались. Дома сидели. Об'ясняли на суде, что пьяные, ничего не помнят. Плакали, каялись, в ногах валялись. Обоим — высшая мера.

Машина проехала по тенистым улицам хутора. На палках плетней торчали глиняные головы кувшинов.

— Н-да-с, — произнес Мусатов.

— В этом самом хуторе дело было, — сказал Юхов.

— Колхозный хутор?

— Нет, единоличный. Он к «Мусатовскому» не относится. Мы еще до «Мусатовского» не доехали. Наши земли подальше.

Мусатов молодцевато, с юмором, выставил грудь.

— Мусатовский... Ишь ты... Во-на!

Он скрывал, но ему было приятно.

Вокруг летело и поворачивалось обширное, оголенное недавней жатвой поле без единой межи.

— Мусатовская земля пошла, — сказал председатель, — обобществленный клин.

Виднелись еще не свезенные копны. Они лежали на ежовой поверхности жнивья золотистыми, слегка почерневшими от непогоды караваями. Кое-где у их подошв изумительным изумрудом горела зелень. Мусатов залюбовался чистотою и яркостью проросшей пшеницы.

Но лицо Юхова вдруг все сошлось тугими мускулами. Он беспокойно задвигался на своем месте. Его прищуренные глаза впились в прельстившую Мусатова зелень с такой остротой и подозрительной ненавистью, точно зелень эта была ядовита.

— А ну-ка, застопори на минутку, — вдруг сказал он шоферу, не в силах более бороться с мыслью, овладевшей им, и с этими словами, не дожидаясь, пока машина остановится, выскочил и побежал по жнивью к копне.

Он ворошил ее ногой, погружал руку в солому, растирал на ладони колос, дул в мякину, подносил зерно к глазам. Он вернулся в машину хмурый, твердый, решительный, но все же успокоенный.

— В чем дело? — спросил шофер. — Гниет?

Юхов с досадой передвинул кепку со лба на затылок.

— Гнить — пока — не гниет. А все-таки запаздываем с возкой. Запаздываем. Кабы не дожди, давно бы свезли все и обмолотили. Можно ехать.

Кривя большой энергичный рот, Юхов всматривался вдаль, где над колючим горизонтом покачивались пышные вороха везомого на волах хлеба.

Обогнали длинный поезд качающихся арб. Мальчик с кнутом вел первую арбу, понукая волов. Пестрые бабы смеялись, показывая с двухэтажной высоты шуршащего пшеничного дома белые свои зубы и коричневые пятки.

— Медленно возите! — крикнул им Юхов.

Немного подальше бригада человек в сорок убирала свой участок. Передаваемые с вил на вилы слоеные пласты хлеба так и летали над поднятыми вверх руками и над казачьими, сохранившимися со старого режима линялыми фуражками. Поле вокруг было уже совершенно опустошено, и сиротливой слюдой блестела на солнце паутина.

— Медленно возите, — пробормотал Юхов про себя и нетерпеливо передвинул кепку с затылка на лоб. Ему не сиделось на месте. Далеко справа показались длинные скирды. Желтыми цеппелинами лежали они в ряд друг подле друга. Пыльное облако молотьбы сухо стояло над ними, поднимаясь к небу.

Юхов приложил руку к глазам.

— Дубовские молотят. Заедем?

— Нет, лучше сперва в правление, — сказал Мусатов.

— Как хотите.

Скрывая неудовольствие, Юхов равнодушно поправил на горле свитер.

Скирды приближались. Стал виден синий керосиновый чад двигателя. Маленькие бабы с вилами ходили на верхушке скирды. Тени хлеба, подаваемого в невидимую молотилку, летали по туче половы, пробитой косыми, движущимися балками солнечного света.

Юхов не выдержал напускного равнодушия.

— Может, заедем? Посмотришь, как у нас организован труд. А?

Пропустить случай проверить работу бригады — это было выше его сил.

— Поверни-ка на минуточку,—быстро, не дожидаясь согласия Мусатова, шепнул он шоферу и, по своему обыкновению, до остановки поставил сапог на алюминиевую вафлю автомобильной подножки.

Мусатов вылез, кряхтя, вслед за ним. Он с наслаждением разминал ноги. Он поймал Юхова за локоть и, вспоминая ночной спор с Толстым, сказал весело:

— Ах, ты, Левин этакий!

Мусатов любил озадачить человека.

— Ну-ка? Что скажешь?

Юхов засмеялся и махнул рукой.

— Какой там Левин!

Мусатов поднял брови:

— Да ты про какого Левина думаешь?

— Про того самого, что и ты. Про толстовского. Из «Анны, как ее, Карениной».

— Э, да ты, я вижу, знаток классической литературы. Толстого читаешь.

— А почему бы и нет? Государственное издательство печатает, а мы покупаем. Очень просто. Только я, брат, не Левин. Ничего похожего. У него что? Шестьсот десятин, не больше. Мелочь. А у меня четырнадцать тысяч га твоего имени.

Юхов широко показал рукой в степь.

Вот и посчитай. Хозяйство!

Навстречу им с записной книжкой в руке бежал парень в ватном пиджаке, подпоясанном ремешком. Под пиджаком виднелась голубая ситцевая рубаха. Мелкая полова белела на его молодых бровях и ресницах.

Это был бригадир...

1930—IX.

Не знаю, друг, с тоски иль лени
Я о любви не говорю...
Я лучше окна растворю:
Так хорошо кусты сирени
Чадят в дождливую зорю.

Садись вот так: рука к руке.
И на щеке, как на холстинке,
Лежавшей долго в сундуке,
Смешай с улыбкою морщинки,
Ведь нет уж слова без заминки
На позабытом языке.

Да и о чем теперь нам спорить?
И говорить теперь о чем?
Когда заискрилось в проборе.
Мой милый друг, взгляни на зорю
С ее торжественным лучом.

Так хороши кусты сирени,
Дорога, лес и пустыри
В благословении зори!
Положь мне руки на колени
И ничего не говори
Ни о любви, ни об измене.

Сергей Клычков

Четыре стихотворения

1

На улице войлока клочья,
Сонливого тополя пух,
А в комнате пахнет, как ночью,
Фиалки ночной перепуг.

За шторой прохлада усадьбы.
Не жертвуя ей для бесед,
В такой тишине и писать бы,
Разлукой питая бюджет.

Но грусть одиноких мелодий, —
Как город под пухом семян.
Как спущенной шторы бесплодье,
Вводящее фиалку в обман.

Ты стала настолько мне жизнью,
Что все, что не к делу, — долой,
И вымыслов пить головизну
Тошнит, как от рыбы гнилой.

И вот я вникаю наощупь
В доподлинной повести тьму.
Зимой мы расширим жилплощадь.
Я комнату брата займу.

В ней шум уплотнителей глуше,
И слушаться будет жадней
Как битыми днями баклуши
Бьют зимние тучи над ней.

Москва, VI, 1931

2

Никого не будет в доме
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и кроме
Крыш и снега, — никого.

И опять зачертит иней,
И, крутясь, завертят мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной

И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но нежданно по портьере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом без причуд,
В чем-то тоньше тех материй,
Из которых зимы шьют.

Москва, VI, 1931

3

Ты здесь, мы в воздухе одном.
Твое присутствие, как город.
Как тихий Киев за окном,
Который в газ лучей обернут.

Что по пригоркам опочив,
И сном борим, но не поборот
Распарывает кирпичи,
Как потный чесучевый ворот.

Где ширью плит по мотовски
Несутся бусинами блузки,

А с пыльных круч, как пауки,
Свисают узенькие спуски.

Где утирая пот листвой
От взятых перед тем препятствий,
На побежденной мостовой
Устало тополя толпятся.

Ты вся, как мысль, что этот Днепр
В зеленой коже рвов и стёжек
Есть жалобная книга недр
Для наших записей расхожих.

Твое присутствие, как зов
За полдень поскорей усесться
И перечтя его с азов,
Вписать в него твое соседство.

Киев. VII, 1931

4

Опять Шопен не ищет выгод,
Но окрыляясь налету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.

Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам.
Два клена в ряд, за третьим, разом, —
Соседний Рейтарской квартал.

Весь день внимают клены детям.
Когда ж мы ночью лампу жжем
И листья, как салфетки, метим
Крошатся шелковым дождем.

Тогда, насквозь проколобродив
Гроздями белых пирамид
В шатре каштановом напротив
Из дома музыка гремит.

Гремит Шопен, и не увянув,
С панелей под его эффект,
Прямя подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век.

Как бьют тогда в его сонате,
Качая маятник громад,
Часы раз'ездов и занятий
И снов без смерти и фермат!

Итак, опять из-под акаций
Под экипажи парижан.
Бежать, бежать и спотыкаться
Как жизни тряский дилижанс.

Опять трубить и гнать и звякать,
И, мякоть в кровь поря, — опять
Будить рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать.

Опять в сырую ночь в мальпосте
Проездом в гости из гостей
Подслушать пенье на погосте
Колес и листьев и костей.

В конце ж, как женщина отпрянув
Назад, и сдерживая прыть
Впотьмах приставших горлопанов,
Распятьем фортепьян застыть.

А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.

Пронесть по веткам и соцветьям
Рояля гулкий ритуал,
И девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар.

Всей черной крышкой вниз с площадки,
Всем этим третьим этажом —
Во двор, лопатками в нападки,
Когда мы в доме лампу жжем.

Киев, VII, 1931. *Б. Пастернак*

Возвышение Георгия Саакадзе

Главы из романа о Грузии XVI—XVII века.

Анна Антоновская

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Серебряный ятаган, скользя по синим провалам, разрубал нахмуренные вершины. По склонам Дидгорских гор гибкий орешник перепутывал торопливые тени. Пряный аромат колючих сосен, переплетаясь с тонким запахом фиалок, убаюкивал разноголосую стаю. Мохнатые обитатели, ломая сучья, ухая и бурча, уходили в зеленый туман. Прошмыгнула, ежась в желтом мехе, озабоченная лисица, на извилистой тропе шарахнулись пугливые серны.

За поворотом, медленно переступая ленивыми ногами и равномерно ударяя упругим хвостом по черным, лоснящимся, как баклажан, спинам, пара буйволов, теребя морщинистыми шеями ярмо, равнодушно волокли бесцеремонно скрипящую арбу.

Растянувшись во всю длину, Ладо Чавадзе положил на трясущийся бурдюк голову и, расстегнув кожаный с посеребренной чеканкой пояс, невозмутимо дремал, предоставив буйволам полную свободу в движении вперед, а при желании и назад.

Кроме веселого нрава Ладо имел выше средний рост, упругие мускулы, узкое лицо, отливавшее бронзой. Глаза цвета дикого каштана искрились лукавством, а за сочными губами белели крепко вбитые заостренные зубы.

Ладо был из тех, кого не помнят мальчиком, не знают стариком, и его двадцать весемь лет сидели на нем, как праздничный костюм.

Увидев под откосом у ручья разбросанные костры, буйволы ринулись вниз и чуть не опрокинули арбу, но Ладо мало обратил внимания на, казалось, волнующее событие, а больше на бурдюк с молодым вином.

«С поднимающимся поднимись, с опускающимся опустись», вспомнил Ладо и весело перетащил дорогую кладу к большому костру, где пастухи в нахлобученных бараньих папахах встретили его радостными восклицаниями.

— О, о, о, Ладо! Где был? Садись, друг, вот Датуна по вину соскучился.

— Датуна, как живешь, дорогой? Царям шашлык пасешь, а сам солнце сосешь?

— Ладо! Здравствуй, дорогой, что долго в Тбилиси сидел или там солнце вкуснее?

— Солнце не догадался попробовать, а вино... Э, зачем хвалить сухими словами, разве бурдюк не в пределах ваших глаз?

Ладо достал из принесенного хуржини овечий сыр, хлебные лепешки и медную чашу. Любовно похлопывая тугой бурдюк, развязал кожаную тесьму, и горлышко, булькая, заискрилось янтарной струей.

Вдоль ручья в сгущенной синеве дергались кривые языки костров, перекатывался отрывочный гул, набухали тягучие песни и густым паром нависал над долиной аромат кипящего бараньего жира. С дороги, поскрипывая, сворачивали к кострам нагруженные арбы, за ними, под охрипшие крики вожатых,

брызжа желтой слюной и покачивая на горбах тюки, неровно сползали облезлые верблюды. Разводились новые костры, узкие кувшины с шумом опускались в холодный ручей, расстилались бурки, на душистую траву валились ревущие верблюды.

Под окрики «хац, хац» караван ишаков с перекинутыми через спины корзинами, поднимая мелкую пыль, скатился с откоса. Хлопанье бичей вызывало поспешный звон на упрямых шеях.

О, о, о... неожиданно врезалось в сгущенную синеву и живая волна золотого руна, задорно потряхивая курдюками и обгоняя табун молодых коней, бросилась к ручью.

Свежий ворох сухого кизиля на мгновение придушил костер, и внезапно, разбрызгивая зеленые искры, яростно взлетело танцующее пламя.

— Здоровье красавицы Нино.

Дно чаши отразило прыгающие огни.

— Спасибо, дорогой, ты прав, дочь красавицей растет.

Лицо Датуна расплылось в улыбку. Он смущенно бросил в столпившихся овец камешком.

— Георгий Саакадзе тоже так думает, — засмеялся молодой пастух.

— Э, дорогой, Георгий и Нино еще дети, пусть растут на здоровье, — и меняя разговор, спросил:

— Что, Ладо, говорит Арчил, он еще при царских лошадях живет? Как поживает царь?

— Датуна, мой брат — горная индюшка, на одном месте любит сидеть... Но когда я пью вино, не люблю разговором о царях портить его вкус. Скажи лучше, как твоя свинья, та, что об'елась тутой, родила? Сколько поросят? Крестить приду.

Пастухи расхохотались. Они с удовольствием смотрели на Ладо, но Датуна высказался за осторожность: гзири в Настави не добрее Тбилисских[1], лучше не следовать за правдой, она истощает зрение, и кто из грузин не знает — «мышь рыла, рыла и дорылась до кошки».

[1] Тбилиси — Тифлис.

У Датуна в голове помещалась целая лавка пословиц. В любом случае он щедро выкладывал их, как помидоры на базаре, пересыпая солью острот. Датуна и сейчас без конца приводил замысловатые пословицы, но Ладо, хитро щурясь, смотрел на искрившееся в чаше вино, словно видел в нем отражение своих мыслей.

Никто не знал, как это произошло, но Ладо никогда не был крепостным. Правда, он не имел своего хозяйства, даже сакли, но такое обстоятельство только радовало Ладо и жизнь у друзей Саакадзе вполне удовлетворяла его. Впрочем, подолгу Ладо нигде не засиживался, в особенности с появлением у него арбы с двумя буйволами, первой собственности, вызвавшей в Настави целый переполох.

Сначала Ладо был подавлен обрушившейся на него заботой, но после долгих уговоров единственного родственника Арчила, состоящего при царской конюшне, принять подарок и заняться торговлей, решил покориться. С этого времени он путешествовал в Тбилиси и обратно в Настави, но строго следил, чтобы «прихоть родственника» не изменила раз навсегда установленного порядка: меньше забот, больше радости. Торговал Ладо исключительно добычей своей удали: живым оленем, лисицами, зайцами, шкурой медведя. Обменивал же свой товар неизменно на вино и подарки «ящерицам», как называл детей деревни.

Иногда обстоятельства вынуждали и к другим покупкам: одежда приходила в ветхость, ноги буйволов требовали подков. Тогда Ладо сердито думал: бог сделал большую глупость, родив буйвола неподкованным. В таких случаях настроение Ладо определялось упадочным...

— Георгий новостей ждет. Как, тихо у нас?

— Совсем тихо, Датуна, только Магаладзе все к Настави крадутся.

Заметив замешательство Датуна, Ладо умышленно замолчал, пошарил за пазухой, достал кожаный кисет и глиняную трубочку, заботливо набил ее крепким, пахнувшим пряным инжиром

табаком, зажег об уголек и с наслаждением затянулся.

Датуна беспокойно задвигался и, наконец, с досадой пробурчал:

— Рыба молвила: многое имею сказать, да рот у меня полон воды.

Ладо, выпустив несколько колец дыма, спокойно бросил:

— Осел выдернул кол и нанес другим один удар, а себе тысячу.

Хлопнув от удовольствия руками, пастухи громко расхохотались.

— Не беспокойся, друг, царь не любит делать такие подарки, не хуже любого князя или монаха разбирается в выгодах. Зачем отдавать богатую и доходную местность? Но есть еще важнее причина. Разве ты забыл, что царь всегда старается по близости не иметь «опасных друзей». А Настави между Твалали[1] и владением Леона Магаладзе стоит, зачем лисице окружать себя волками? Турки тоже зашевелились, опять плохо пообедали в Персии, спешат к себе. А какой путь выгоден? Через Грузию. Собаки хорошо это знают. Потеряли в драке фески, здесь личаками хотят прикрыться. Но царь на этот раз решил встретить янычар по-царски. Поэтому, пусть крестьянская молодежь готовит головы, а старики марчили[2]. Видите, друзья, совсем тихо у нас.

У костра угрюмо молчали.

— Луна опять согнула рога, наверно, война будет, — вздохнул седой пастух, разгребая палкой почерневшие угли.

— Напрасно думаешь, дым прямо идет, тридцать дней спокойно будет.

Молодой погонщик любовно потрепал лежащую около него овчарку.

К костру подошел старик в грубой заплатанной коричневой одежде с гиянури[3] под мышкой.

— Э, э, дед, грузина можно вином угостить.

Старик, приветствуя сидящих, дрожащими руками взял наполненную чашу, склонил над нею покрытое глубокими морщинами лицо, выпил большими отрывистыми глотками и, бережно опустив чашу на траву, медленно вытер губы рукавом оборванной замусоленной чохи. Он не спеша настроил гиянури и запел дребезжащим тихим голосом.

— Э, старик, только вино князей вызывает скучные песни, а тебя угощает друг. Пей на здоровье и расскажи что-нибудь. Наверно, очокочи[1] встречал?

Старик посмотрел на Ладо слезящимися глазами и медленно произнес:

— Сам не встречал, но Джвиба один раз видел. В селении Джвари, к Мингрелии ближе, на реке Ингур, внизу горы Охачкуе, отдельно от людей в каменной башне два брата Пимпиевы живут. Петруш заболел, дома сидел, а князь Цебельдинский Хвахва Маршания знал — золота много у Петруш, ночью напал... Тоже, как сейчас, месяц в другую страну светить ушел, совсем темно было. Петруш долго дрался, золото жалел, Хвахву убил и сам на кинжале умер...

Вокруг костра стали собираться пастухи, арбещики, купцы, кутаясь в мохнатые бурки, подходили погонщики и, затаив дыхание, жадно слушали старика.

...— Джвиба ничего не знал, в горном лесу зверей ловил, очень любил это дело, а когда про смерть брата узнал, совсем башню бросил, на Охачкуе за оленями ушел. Больше никто к башне не подходил: боялись. Каждую ночь там Петруш и Хвахва золото считают... Джвиба горе в оленьей крови топил. Раз большого оленя убил, рога звезды шатали. Удивился Джвиба, притащил оленя под папту, зажег огонь. Кушать хочет, а огонь мясо не жарит, криво, как сейчас, горел. Джвиба на бога сердиться начал, а за деревьями хохот слышит. Обернулся Джвиба, зубами заскрипел: два высоких, как башня Петруша, человека стоят, волосами как буркой покрыты, ноги в копытах держат, на каждой руке по девять железных пальцев, а ногти крючками висят, черные губы в зеленой пене кипели, а глаз, как у тебя, пастух, темноту резал...

Все недоверчиво [illegible] быстро крестившегося [illegible]ухи.

[1] Летняя резиденция царя.
[2] Серебряная монета в 60 коп.
[3] Музыкальный инструмент.

[1] По мингрельскому поверью, [illegible]ли.

...— Джвиба сразу узнал очокочи. Мужчина сбоку заходит, женщина оленя просить стала, — от голоса деревья согнулись. Только Джвиба всегда умным был, хорошо знал, кто слово скажет, ум потеряет. Крепко молчал. Тогда очокочи мужчина женщине сказал: «Когда Джвиба уснет, я его кушать буду, а тебе оленя отдам». Но Джвиба всегда умным был, долго не спал. Очокочи устали, первыми заснули, а Джвиба кинжал поставил, потом буркой накрыл, а сам за дерево спрятался, лук готовым держит. Долго сидел, плохая ночь была, ветер все звезды сбросил, шакалы от страха смеялись. Очокочи первый встал, на бурку бросился, но вместо Джвиба кинжал почувствовал. От крика очокочи мертвый олень на ноги вскочил. Обиделся Джвиба, хороший охотник был, одной стрелой оленя на месте положил, другой крепко очокочи ранил. Женщина рассердилась, прыгать начала: «разве я не говорила, — Джвиба твердый характер имеет, зачем его трогал?» Потом стали просить еще одну стрелу пустить, но Джвиба всегда умным был, хорошо знал, если сто стрел не выпустить, после второй очокочи еще сильнее будет. Крепко молчал. Тогда очокочи как шакалы завыли, земля задрожала, птицы с деревьев упали, из глаз очокочи град пошел... Джвиба всегда хорошим охотником был, но оленя поднять не мог. Рога отрубил и вниз сошел. Как раз в башню Петруша попал, с тех пор там остался жить...

Эту зиму у него был, оленьи рога на стене сами синий свет дают. Долго вместе с Джвибой у горящего очага сидели, про очокочи рассказывал... Сразу ветер в стены прошел, дверь в кунацкую сорвал, а там Петруш и Хвахва в белых рубашках золото считают. Ссориться начали... Рассердился Джвиба, всегда умным был, схватил горящую палку и в кунацкую бросил... Мертвые тоже рассердились, скрипеть начали...

У костра, давя друг друга, вскочили пастухи, щелкая зубами, схватили горящие головни и запустили в скрипящую темноту...

Ладо хладнокровно поднял голову.

— Спрячь кинжал, Датуна... Слышишь? Это наш Шалико. Ни один Хвахва так не скрипит, как арба Шалико... Шалико! Шалико-о-о-о!

У откоса в отблесках костра показалась нагруженная арба. Стоя на ней, Шалико, сжимая кинжал, изумленно оглядывал перепуганную толпу.

— Шалико, дорогой, спустись сюда, какое вино!

Шалико, с трудом сдерживая буйволов, скатился вниз...

Поеживаясь, крестясь, проклиная очокочи, слушатели медленно расходились по своим стоянкам.

— Э, э, друзья, наставский базар прослушаем, уже многие арбы запрягают, горийский караван первым ушел. Выпьем перед дорогой остаток вина, чтобы чорт в него не плюнул. Будь здоров, старик. Как звать тебя? Бодрин? Эх, хорошее имя Бодрин. Куда едешь? Никуда? Так садись ко мне в арбу. Наставцы сказки любят, только не пугай, рассказывай веселые, те, что прячутся за твоими сединами.

Побледневшая ночь уходила медленно, судорожно цеплялась за скользкие выступы, путалась в причудливых очертаниях гор и вдруг оборвалась в ущелье, где бурный поток яростно перепрыгивал через глыбы, разбрасывая тяжелые брызги.

В сизых дымах запада, в оранжево-лиловой пыли качнулся померкнувший месяц.

На голубой сафьян выползло еще холодное солнце и золотыми лапами прикрыло сторожевые башни...

ГЛАВА ВТОРАЯ

На крутых вершинах гор Картлийского царства замкнутой цепью высятся неприступные сторожевые башни и замки. Зорко следят дружинники с пограничных башен и при движении врага к Грузии зажигают костры. Огненный сигнал, горящими птицами перекидываясь от одной башни к другой, разносит предупреждение, и Картлия стряхивает повседневные заботы. Нагруженные плоты стремительно несутся по рекам, тянутся навьюченные караваны, бревнами

и камнями заваливаются горные проходы.

И сейчас на Дидгорских вершинах, в голубом тумане настороженно притаились остроконечные башни, а у подножия, в прозрачных водах Кавтури, отражается даба[1] Настави. От цветущей долины, взбегая по горным уступам, разбросались деревянные сакли. Точно испуганные войнами и набегами лезгин, хаотично прижавшись друг к другу, сакли свешиваются деревянными террасами, повиснувшими балкончиками, неровными дворами.

Кривые извилистые улицы, огибая сакли, сползают к шумной реке. На вспененной поверхности качаются тени сгорбленного моста, над каменистым берегом плетется в горы дорога. Толстым войлоком лежит на ней пыль.

Весною и осенью, по праздникам, большие шумные базары наполняют наставицев гордостью.

Кроме нужды купить и продать базар приносит большую радость встреч. На базар вместе с товарами привозят все новости Грузии. Базар — проба ума, ловкости и удали.

Уже за несколько дней слышатся удары топора, визг наточенной пилы, перестуки молотков и над пахнувшими свежим деревом лотками развиваются пестрые навесы...

Сегодня в Настави базарный день. Начисто выметенная, политая площадь дышит гостеприимством. Сюда спешат говорливые торговцы из Ахалциха, важные купцы Тбилиси, хитрые перекупщики Гори, крестьяне окружных царских и княжеских владений, елейные крестьяне Кватахевского монастыря.

По середине базарной площади тяжело лежат контари[2] зерна. В высоких плетеных корзинах белеют головы сыра, в глубоких кувшинах улегся душистый мед, на деревянных подставках возвышаются пирамиды душистого табака. Груды разных размеров и форм кувшинов бережно сложены в углу. Сверкает медная посуда. Равнодушно нагромоздились деревянные колеса для арб, лопаты, серпы, ножи, мотыги, подковы.

[1] *Даба* — деревня.
[2] Ахалцихский вес — пятнадцать пудов.

Из грубо сколоченных клеток несутся протестующие крики упитанных поросят.

Гневно трясут, протискивая в щели, покрасневшие зобы откормленные орехами индейки, недоуменно вторит им квохтанье кур и озабоченное перекликиванье петухов.

Покупатели плотно обхватывают лотки, пробуют шелковую пряжу, женщины расхватывают румяна и белила, сладости, вздыхают около пестрых лент, примеряют цветные шали, любуются ярко-узорными паласами. Мальчики вертя щуко[1], остервенело дуют в ствири[2].

Толпа, толкаясь, протискивается от одного навеса к другому. Радостные восклицания, перебранка, ржание коней, визг зурны сливаются с громким призывом нацвали[3] платить марчили или натурой установленную государственную пошлину с проданных товаров.

Под обширным навесом кватахевские монахи предлагают «для спасения души и тела» молитвы на лощеной бумаге, посеребренные кресты, четки из гишара, иконы, писанные растительной краской, и пьявки Тваладского озера...

У молодого табуна двое осматривали серого в яблоках коня. Один — Георгий Саакадзе, исполин, с упрямой складкой между пронизывающими глазами. Над большим, слегка покатым лбом, едва вились черные густые волосы. Другой — Дато Кавтарадзе, сын самого зажиточного крестьянина Настави, стройный, с мягкими движениями. Обоим было по восемнадцати лет, но Саакадзе превосходил даже стариков силой ума и несокрушимой волей.

— Дато, возьми лучше кабардинца, у этого слишком узкие ноздри.

— Хорошо, Георгий, последую твоему совету. Сегодня отец сказал: выбери себе коня, за которого не стыдно марчили бросить.

Друзья быстро оглянулись на хохот и отборную брань. В самую гущу базара

[1] Волчок.
[2] Тростниковая дудка.
[3] Торговая полиция.

въехали две арбы. Шалико не сдержал разошедшихся буйволов и врезался с ними в кувшины. Под звон кувшинов хозяин яростно сыпал далеко недвусмысленные пожелания. Но его зычный голос тонул в радостном гуле:

— Ладо, Ладо приехал!

— Какие новости, откуда деда взял?

Видя нетерпение, Ладо, стоя на арбе, глубокомысленно хмурился, сдвигая на затылок шапку, хитро щурил глаза и неожиданно вскрикнул:

— Георгий, дитя мое, ты скоро влезешь в небо, как в папаху.

Толпа со смехом оглянулась, посыпались шутки. Молодежь с завистью оглядывала могучего Саакадзе, взгляд девушек сверкал из-под опущенных ресниц на улыбающегося Георгия.

— Ладо, какие новости привез из Тбилиси? — торопили старики.

— Чтоб твоим буйволам волк ноги отгрыз, чтоб змея к ним под хвост залезла, — надрывался хозяин кувшинов.

— Э, кацо [1], не жалей кувшины, турки за ними идут. Маленькие ящерицы, помогите этому доброму человеку перебить остальные кувшины, пусть турки со злости лопнут.

— Ладо, а персы не прослышали про наши кинжалы?

— Может, Чингисхан встал из гроба сделать нам еще раз удовольствие.

Много веселых предположений могли бы высказать собравшиеся у арбы Ладо, но дудуки [2] известила о начале малаки и толпа хлынула к месту игрищ.

Ладо подошел к скромно стоящему крестьянину и, облобызавшись с ним, сказал:

— Бежан, отведи Бодрина домой, пусть отдохнет, целую ночь народ пугал.

Бежан Саакадзе охотно помог старику выйти из арбы.

— Ну, дорогой, долго мне еще скучать? — спросил Георгий, расцеловав Ладо.

— О, дорогой, к сожалению, недолго. Помоги мне обменять проклятых буйволов на горячего коня, который поспевал бы за твоим дьяволом. Завтра с рассветом в Тбилиси поскачем... Потом, потом расскажу, раньше дело, и не надо портить радость народа в базарный день, завтра узнают.

Игра в малаки очень уважалась картлийцами. Далеко не безопасная, она требовала долгой тренировки, ловкости, неустрашимости и большого присутствия духа.

Двадцать два юноши разделились на две партии, и каждая партия выбрала из своей среды самого сильного — «главаря». Приготовления близились к концу, настроение толпы повышалось, слышались нетерпеливые голоса, подзадаривающие возгласы. Наконец, первый из стоящей партии, разбежавшись, ударился ногами о землю, подпрыгнул и, перевернувшись в воздухе, не задевая лежащих, перелетел через них и по правилу ударился спиной о спину «главаря», державшегося левой рукой за шею последнего из лежащих, а правой для устойчивости за свое колено.

Шумное одобрение и дудуки сопровождали прыжки. Толпа входила в азарт, возбуждая криками участников. Держались пари, но вдруг девятый слегка задел лежащего. Негодование, насмешки посыпались на него. Партия считалась проигранной.

— Курица, — кричал взволнованно высохший старик, — курица! За такую ловкость в наше время палками избивали.

— Вано, помнишь, — волновался другой, — мы с тобой через тридцать человек перепрыгнули, а эта черепаха через десять не могла перелезть.

— Девушки, дайте ему на голову платок, у него от солнца голова заболела.

— Или люльку качать, индюшка, — кричали возбужденно старики.

Юноша, огорченный и сконфуженный, лег с товарищами на землю.

Вторая партия была счастливее, десять игроков вихрем перелетели через лежащих. Восторг толпы, шумные приветствия, дудуки далеко унесли присутствующих от серых будней.

Внезапно послышался сдавленный крик женщин, ропот мужчин.

[1] Парень.

[2] Музыкальный инструмент.

Размахивая арапниками и наскакивая на людей, врезались в толпу князья Томаз и Мераб Магаладзе, за ними звероподобные дружинники, подобострастно смеясь резвости своих господ.

— Зачем расстраиваете игру, разве мало места для езды? — укоризненно сказал старик.

На шее Мераба вздулись жилы. Привстав на стремена, он размахнулся, арапник обжег лицо старика.

Оборвалась радость праздника, толпа испуганно шарахнулась, загудела, тяжело топталась. Набухала злоба, принижала княжеская власть.

— Но что это? Почему потемнело? Барс спрыгнул с горы или буря ущелье трясет?

— О, о, это наш Саакадзе трясет лошадь Мераба.

— Дайте ему скорее шашку, магаладзевские звери зарубят его.

— Смотри, смотри, гурьбой наскакивают.

— О, о... Томаз замахнулся шашкой.

— Что, что звенит?

— Это падают переломленные пополам шашки князей.

— Откуда дубина в руках Георгия?

— Дато Кавтарадзе дал...

— Вот вместе с Шалико Диасамидзе бежит Дмитрий Сагиношвили.

— О, быстроногий Ростом Гедеванишвили сбил дружинника.

— Го, го, Матар! Молодец! Разбогател! Тащи к себя коня!

— Горячий Даутбек Гогоришвили, как мутаки, катает княжеских дружинников.

— Смотрите, Георгий с двумя волками сцепился.

— Князь Мераб, пощупай под глазом: слива созрела!

— Опоздал Элизбар Таткиридзе, не видел, как магаладзевы дружинники навоз нюхали.

— Хо-хо-хо, молодец Элизбар!

— Го-го-го, тащи его, тащи!

— Эй, Томаз, держи папаху!

— Много, много в Настави храбрецов!

— Смотрите, смотрите, что случилось?

— Почему кони Мераба и Томаза остались без седоков?

— Горе нам, Георгий сбросил князей на землю.

— Ладо идет, тише! Что он говорит?

— Э, э, князья опять на конях. Женщины, бегите домой, будет литься здесь кровь.

— Слушайте, слушайте, Ладо говорит... О, горе нам, что он говорит?

— Стойте, саманные головы, смерть ищете? Вон на вершинах танцует...

На горах сторожевые башни окутывались дымом костров.

— Живыми в землю зарою, — кричит Томаз дружинникам, — изловить сатану! Смотрите вниз, а не вверх.

Дружинники, обезумев, лезли под палку Георгия.

— Гзири, царские гзири[1]! — исступленно заорали мальчишки.

Магаладзе хрипло смеялись.

— Сейчас узнаете, ничтожные рабы, как поднимать руку на господ.

Георгий расхохотался и схватил Мераба.

— Ну, князь, лети навстречу своим спасителям.

Подхваченный дружинниками, Мераб бешено ругался.

Толпа застыла. Конечно, гзири станут на сторону князей, и Настави понесет наказание от Магаладзе.

— Беги, Георгий, бегите, храбрецы, в лес!

Но никто не двинулся с места. Гзири осадили коней в самой гуще побоища.

— Слушайте царскую грамоту, — закричал начальник: «Все сыны Картлии, верные мечу Багратидов, будь то князья со своими дружинниками, азнауры[2] или простой народ, да прибудут под знамя Кватахевской божьей матери на борьбу со свирепыми турками, перешедшими границу. Не склоним головы, не сложим оружия, не отдадим врагам прекрасной Картлии на разорение. Поднявший меч, умрет от меча. Аминь.

Богом посланный вам царь Картлийский и всея Иверии Георгий X». — Завтра на рассвете, — продолжал начальник гзири, — все воины наставцы соберитесь на эту площадь: вас поведет под

---

[1] Полицейский чиновник.

[2] Азнауры — грузинские дворяне.

знамя полководца Ярали славный азнаур Качибадзе.

Крестьяне бросились к арбам, кидая в них как попало свои пожитки: каждый спешил домой проводить близких на войну.

Под топот коней, боевой клич молодежи, гул голосов и причитанье женщин арбы вереницей потянулись по дороге.

Кудахтая и хлопая крыльями, в панике летали по базару взбудораженные куры. Перепуганные купцы, только что с важностью стоявшие около товаров, умоляли гзири взять их под защиту, но гзири отмахивались от них. Не имела успеха и жалоба князей Магаладзе.

— Не время сводить личные счеты, — отвечали озабоченно гзири, — нам предстоит скакать всю ночь по царским владениям из деревни в деревню, поднимать народ на защиту государства.

Взбешенные Магаладзе, угрожая пожаловаться царю, ускакали готовиться к выступлению.

Костры на сторожевых башнях вспыхивали ярче.

— Наконец, Георгий, мы дождались войны. Мы покажем князьям удаль наставцев, — радостно захлебывался Дато Кавтарадзе.

— Увидят, как крестьяне дерутся, — кричал Диасамидзе, прикладывая шаур[1] ко лбу.

— Не кричи, Шалико, шишка улетит, — захохотал Сагинишвили.

— Шишка улетит, а твоему носу никакой шаур не поможет...

— Бросьте словами забавляться, — перебил Даутбек. — Георгий, вместе пойдем?

— Нет, друзья, мы встретимся на поле брани. Ладо уже зачислил меня в царскую дружину, я еду с ним в Тбилиси.

Молодежь шумно поздравила Саакадзе и, обнявшись, веселой гурьбой пересекла базарную площадь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На краю обрыва, за невысокой изгородью стояла сакля. К ней крупными шагами направился Георгий.

[1] Медный пятак.

Привычно открыл дверь и вошел в полутемное помещение. Влажный кирпичный пол умерял жару. Медный кувшин с придавленным боком угрюмо смотрел в блестящий таз. Из угла косился мохнатый веник.

Около торне[1], перед круглой деревянной чашей, на цыновке сидела Маро, мать Георгия, придавая кускам теста форму полумесяца. Мокрой тряпкой, намотанной на длинную палку, Маро вытирала стены торне, брала на ладонь куски теста, ныряла вниз головой и ловко облепляла торне. Закончив, она плотно закрыла крышкой и тюфячком. Внезапно всплеснув руками, бросилась к мангалу, на котором медный котел издавал угрожающее шипение, схватила ложку, проворно помешала, озабоченно бросила в котел пряности и, качнувшись, с ложкой повисла в воздухе. Испуганно вскрикнув, столкнулась со смеющимся лицом Георгия.

— Дитя мое, если буду висеть над мангалом, от чахохбили ничего не останется. Ладо гостя привез.

Георгий расцеловал мать, осторожно опустил ее и направился в другую комнату.

— Брат, дорогой брат, — бросилась к нему Тэкле, — смотри, голубые четки, подарок дяди Ладо! А серьги, смотри серьги!

— И не доверяя зрению брата, восьмилетняя Тэкле быстро взяла его руку и потянула к шее. Георгий изумился. Польщенная, она отбросила черные кудри и молча выставила ухо: на болтающейся серебряной серьге ярко блестело красное стеклышко. Георгий восторженно покачал серьгу и поздоровался с Бодрином.

Вдоль стен тянулись деревянные тахты, на них плотно лежали набитые овечьей шерстью тюфяки, покрытые паласами. Кинжалы, шашки, пики и самострел блестели на стене. Ковровые по-

[1] Печь для чурека (хлеба). В земле вырыта глубиною около полутора метров круглая яма, стены выложены кирпичом. В потолке сакли над печью сделана круглая дыра для выхода дыма. На дне ямы укладываются дрова. Когда они прогорают, торне плотно закрывается для нагревания оставшимся углем.

душки и мутаки украшали среднюю тахту. По середине тахты на круглой доске, покрытой пестрой скатертью, стояла деревянная тарелка с лепешками, сыром и зеленью, глиняный, еще матовый от холодного подвала кувшин с вином, чаши и заправленное луком лобио.

— Георгий, посмотри, скоро Маро даст чахохбили, вино киснет в кувшине...

— Скоро, Ладо. Ты до конца был?

— До конца... Нажил врага на всю жизнь. Это хорошо, враг укрепляет мускулы... Тэкле, оставь мое лицо.

Тэкле, забравшись к Ладо на колени, с еще не остывшей благодарностью покрывала его поцелуями. Маро вошла с котлом на подносе, Тэкле бросилась помогать матери.

Весть о войне омрачила Бежана и Маро.

— Опять война, хотел саклю чинить, что теперь будет?

— Друг Бежан, ты не воин, мало понимаешь: война может крепостного свободным сделать.

— Мы — бедные люди, наше дело — хозяйство, хлеб, — перебил Бежан, — зачем нам свобода?

— Конечно, твой подвал не распух от вина, а двор от скота, но враг жаден, у него толстый и тонкий в одной цене... Эх, Бежан, Бежан, в какой стране царь спрашивает народ, хочет он войну или война ему нужна, как кошке мед.

— Да будет здоров наш добрый царь, Георгия не возьмут, зачем малолетнего брать?

Ладо повалился на тахту.

— Меня не надо брать, — вспыхнул Георгий, — давно с нетерпением жду случая. С рассветом в Тбилиси еду.

— Зачем ранишь сердце матери, — заплакала Маро.

— Тебе только восемнадцать лет, мой сын, — стонал Бежан, — кто саклю чинить будет?

— Мне восемнадцать лет и никогда не будет меньше. Не плачь, мать, вспомни, как бабо Зара ждала такой минуты. Радоваться надо силе и здоровью сына.

Бодрин, сидевший молча, пристально посмотрел на Георгия.

— Не печалься, батоно, — тихо сказал Бодрин, — твой сын солнце закроет, меч у льва согнет, полумесяц за горы угонит. Всегда большую дорогу любил, а большая дорога кровь любит, а кровь место ищет. Не плачь, батоно, зачем судьбу трогать? Ни твои слезы, ни тысяча тысяч других не помогут.

— Кровь и слезы наших врагов видишь, дед. Мое сердце не знает жалости. Я с детства запомнил лезгин, нас много веков угнетают и, если суждено, буду топить врагов в их собственных слезах, да помогут мне меч и ненависть. Так обещал я бабо Зара, так обещал горам и лощинам, вскормившим мой дух, мою волю, так обещаю себе. Запомни это, дед, и, если тебе придется предсказывать кому-нибудь судьбу, сошлись на меня: ты угадал.

Долго молчали. Широко раскрытыми глазами смотрит на брата Тэкле, струйкой ползет к ее сердцу страх. Бросившись, она обвила ручонками шею Георгия.

— Брат, пожалей меня, я боюсь. Не трогай маленьких девочек, они не виноваты.

— Мое дитя, — с нежностью гладя ее кудри, ответил Георгий, — клянусь тебе никогда не обижать детей.

— Хорошую клятву даешь, Георгий, всегда щедрым был, при себе тоже держи. Доброе сердце вознесет твою сестру, красота кверху потянет, в черных косах жемчуг гореть будет, парча стан обовьет... Только парча слезы любит, а слезы глаза тушат.

Ладо нахмурился.

— Ты много видел, старик, но будущее нельзя видеть. Впрочем, — продолжал весело Ладо, — не трудно угадать, что ждет врагов Георгия. Думаю, пилав с ними он не будет кушать.

— Дядя Ладо, а кто купит мне жемчуг? Хорошо дедушка говорил,— вкрадчиво протянула Тэкле.

— Э, э, лисица, жемчуг от знатного жениха получишь, на Ладо не надейся, Ладо сам всю жизнь ищет жемчуг для украшения своей шапки.

Все повеселели. Ладо рассказывал Тэкле сказку про «умного» ишака, который «брал ячмень, а отдавал золото», только Бодрин не проронил больше ни слова.

Настави засыпало. Безлунная ночь прильнула к земле. В саклях мерцали одинокие огоньки. Протяжно залаяла собака, буркнула другая, из самолюбия ответила третья, раздосадованно завыла дальняя и, возбуждая друг друга, слились в озверелый лай.

Обыкновенно к «ночной зурне» относились равнодушно, но сегодня радовались предлогу слать кому-нибудь проклятия.

Сразу осунувшись, Маро вынула из стенного шкафа праздничную одежду сына, любовно уложила в хуржин, завязала в яркосиний платок чурек и сердито сказала:

— Не лишне угостить палкой бешеного Тартуна. Как турок, никому не дает покоя.

Бежан бесцельно слонялся по сакле. Ладо, прищурясь, точил шашку, едва скрывая хорошее настроение.

Георгий укладывал сестру спать. Со щемящим сердцем смотрел на тоненькую Тэкле. Видя нежность брата, она расшалилась, бегала по тахтам, пронзительно смеялась неудаче изловить ее, хлопала в ладоши, приплясывала на одной ноге. Наконец, измученная собственным весельем, уронила голову на могучую грудь Георгия и вмиг уснула. Уложив Тэкле, Георгий озабоченно повернул в руках шашку, положил ее около себя и растянулся на тахте.

Затихли осторожные шаги матери, заглушенные стоны отца, только храп Ладо нарушал тишину сакли.

Расширенные зрачки Георгия перелистывают ушедшие годы. Вот вечера коротких зим у тлеющего мангала. Властным голосом бобо Зара рассказывает легенды о безгорных странах, где мчатся по белому полю табуны трехголовых коней. О непобедимых воинах, выплывающих из зеленых вод в сверкающих шлемах и серебряных кольчугах, о горящих змеях, извергающих драгоценные камни и тяжелый пепел, о желтом чугале с острыми волосами, обладавшем волшебной дубинкой и покорившем все царства.

Вот буйная весна. В раскатах грома разбиваются низкие тучи, молнии падают в расщелины. Сжимая кинжал, стоит он на скользком уступе, смешивая биение сердца с грохотом гор.

Вот праздник урожая, джигитовка, бешеная скачка: перекинувшись через седло, он схватывает зубами с земли папаху. Высшая награда — скупая похвала бабо.

Многие старики помнят, как дед Георгия, Ирам Саакадзе, привез из страны «диких гор» молодую жену. Гордая черкешенка Зара не походила на наставских женщин. В тайны своей жизни она никого не посвящала, но по резкому движению прялки в руках Зары и по затихшему балагуру Ираму все догадывались, кто первенствует в доме.

Зара, покинув далекий аул, обманулась в избраннике, красивом и ловком охотнике, каким встретила Ирама на большом базаре. Ирам в Настави оказался другим, поглощенным только мелочами хозяйства. Сжались тонкие губы, сдвинулись брови и лишь рождение единственного сына смягчило сердце Зара. Она со всей страстностью отдалась воспитанию, но Бежан во всем походил на отца. Разочарованная Зара равнодушно исполняла свой долг. Она сама выбрала Бежану жену, и робкая Маро подчинилась властной, но справедливой бабо Зара.

Бежан не богател, но ни один упрек не сорвался у Зара. Равнодушие к благосостоянию она об'ясняла тем, что лишний баран или касри[1] хлеба не делает человека ни лучше, ни счастливее.

И вот желание Зара осуществилось. Склонясь над колыбелью, она с надеждой смотрела на крепкого мальчика и в честь Георгия Победоносца дала ему имя.

Рождение Тэкле Зара встретила ласково, но равнодушно.

С неизрасходованной силой отдалась она воспитанию Георгия.

Однажды изумленные наставцы увидели, как Зара повела Георгия в Кватахевский монастырь обучаться грамоте — неслыханное дело даже в домах азнауров. Осталось тайной, как Зара доби-

---

[1] Горийская мера — 16 килограмм.

лась согласия настоятеля. Монахи, увлеченные необыкновенным учеником, занялись им серьезно, решив прикрепить к монастырю и использовать в своих целях.

Но, изучая монастырские летописи, Георгий мечтал о личном участии в великих событиях и тянулся к оружию.

Властный и прямой, Георгий даже в играх не признавал притворства. «Война» сопровождалась настоящей дракой. Игра в охотники нередко приносила ужин «дружине барсов», как называл Георгий своих товарищей. На базарной площади «барсы» часами упражнялись в джигитовке, метании копья, бросании диска, игре в мяч и кулачном бое.

Принимались в дружину только прошедшие три испытания. Первые два зависели от качеств принимаемого, но последнее — кулачный бой — оставалось неизменным для всех. Испытываемый выбирал противника из «дружинников». Необязательно выйти из боя победителем, важно было обнаружить ловкость, неустрашимость и силу. Полученные в кулачном бою трофеи — разодранные щеки, подбитый глаз, опухший нос — считались почетными.

Другие испытания были: ночевки на кладбище или в Кватихевском ущельи или «бой» с быком. Обыкновенно, раздразнив быка до бешенства, испытываемый обегал круг и взбирался на старый дуб, где восседал Георгий с «дружинниками». Чем больше ревел и бесновался под деревом бык, тем удачнее считался «бой».

Часто Георгий исчезал. Родители тревожились, метались в поисках, только Зара быстрее вертела прялку и насмешливая улыбка играла на ее упрямых губах. Когда Георгий возвращался в изодранном платье, с расцарапанным лицом и воспаленными глазами, Зара неизменно говорила:

— Хочу дожить до твоего первого сражения.

— Бабо, я взбирался на вершины гор, хотел увидеть чужие страны.

— В таких случаях, Георгий, ноги сильнее глаз.

— Бабо, барс бежал по лощине, я видел на дереве дикого кота. Хочу иметь гибкость кота и силу барса.

Радостно смеялась бабо Зара...

Вспоминает Георгий, как однажды ранней осенью улицы огласились криком пастуха:

— Спасайтесь! Спускаются лезгины!

Наставцы с ужасом увидели на горе мохнатые точки.

Навстречу лезгинам бросились гзири и охотники, стараясь задержать, пока женщины и дети не скроются в лесу.

Бежан растерялся. Больная Маро не могла бежать, двухлетняя Тэкле плакала у нее на руках.

Георгий быстро схватил мать и Тэкле и отнес в подвал. Зара с Бежаном бросали туда домашний скарб и еду. Георгий поймал золотистого жеребенка и спустил в подвал, но когда Бежан хотел захватить овец, решительно воспротивился: овцы блеянием могли выдать спрятавшихся. Не обращая внимания на мольбу матери спрятаться, Георгий завалил дверь разной рухлядью.

Гзири с молодежью, отстреливаясь, отступали к лесу. Лезгины не преследовали отступающих: целью набега был грабеж.

С гиканьем ворвавшись в Наставн, лезгины опустошили деревню. Угоняя ревущий скот и нагруженные арбы, они поспешно уходили в горы.

Бежан умолял оставить хоть одну овцу, но лезгин замахнулся кинжалом. Барсом бросился с дерева двенадцатилетний Георгий и сжал горло лезгина. Барахтаясь и хрипя, лезгин выронил кинжал.

— Оставь, Георгий, не задуши, собаки убьют нас и подожгут саклю.

Лезгин с криком «шайтан», шайтан» выбежал на улицу.

— Мои быки, мои овцы, — вопил Бежан.

— Если мужчины не могут защищать добро, незачем о нем плакать, — сурово проронила Зара.

— Поеду в Гори, продам жеребенка, хлеб куплю.

— Нет, отец, не отдам подарка Ладо, пусть растет. Какой я мужчина без коня.

— Пока вырастешь, купим коня.

— Не отдам, делай, что хочешь!

— Буду делать, что хочу.

— Оставь жеребенка в покое, — оборвала Зара, — в подвале зарыты марчили, на погребение собирала, но этот час печальнее моей смерти.

— Бабо, живи долго, когда я вырасту, клянусь, будешь ходить в парче.

— Парчу, Георгий, достань для своей невесты, — засмеялась Зара, — а жеребенка ты береги. Тот не воин, кто не умеет беречь коня...

«Береги коня, береги коня», слышит Георгий голос Зара. Но вихрем мчится трехголовый конь, рвутся на тонких шеях в разные стороны головы, скачет Георгий одновременно по трем направлениям. Одна голова мчится через лес с оранжевыми деревьями, другая — через зеленые воды, третья — к мрачным громадам.

«Остановись, остановись, Георгий, ведь ты грузин!» несется вопль из леса.

«Береги коня, береги коня», грохочут мрачные громады, извергая драгоценные камни и тяжелый пепел, но мчится конь по лесу одновременно вправо, влево и вперед, топчет плачущих женщин, летит через воды. Бьются в кровавых волнах мертвые воины и тяжелеет на Георгии затканная изумрудами одежда, тянет книзу золотая обувь, тянет кверху алмазная звезда на папахе, тянет вперед сверкающий в руке меч. Грохочут серые громады, дрожит земля.

— Брат мой, большой брат, останови коня! Смотри, алые перья жгут долину!

Оглянулся, в тумане качается Тэкле. По белому платью расшиты звезды, в косы вплетены жемчуга, тянутся к нему тонкие руки: «о, мой брат, мой брат».

Натянул повод Георгий, спешит к Тэкле, но рухнула гора, заслонила ее и перед ним мугал потрясает волшебной дубинкой.

«Береги коня, береги коня», стонут голоса. Рвется конь, тянет повод Георгий, ищет выхода, тоньше и тоньше становятся шеи, извиваются змеями, хохочет мугал, взмахнул дубинкой, со свистом обрываются шеи, взвизгнув, летят головы в клубящуюся бездну.

Зашатался Георгий...

— Седлать коней пора, час бужу, так войну проспишь... Что мутаки бросал, с турками дрался? Вставай, вставай, — смеясь, тормошил Георгия Ладо.

— Брат, мой большой брат, посмотри, какие серьги подарил мне дядя Ладо.

— Оставь Георгия, ты вчера надоела с серьгами, — добродушно ворчала Маро, укладывая хуржин.

Георгий схватил Тэкле дрожащими руками, гладил ее волосы, сжимал тонкие пальчики.

— Эх, дед Бодрин, тяжелый у тебя язык.

Георгий в смятеньи вышел из сакли, повторяя: «береги коня, береги коня».

Нино, тринадцатилетняя дочь Датуна, подбежала к нему.

— Скажи мне, Георгий, что-нибудь на прощанье.

Георгий оглянулся, встряхнул головой, радостно посмотрел на взволнованную девушку.

— Жди меня, Нино.

Нино блеснула синими глазами.

— Помни, я буду ждать всю жизнь.

И застыдившись клятвы, стрелой полетала к дому.

Оседланные кони с хуржини через седло нетерпеливо били копытами землю.

Из сакли неслись плач и причитания Маро, торопливые голоса мужчин, визг Тартуна.

У изгороди, деликатно держась в стороне, толпились соседи. По крышам бежали родные, желая еще раз увидеть дорогие лица.

Веселой гурьбой прискакала молодежь. За ними неслись мальчишки.

— Ээ, Георгий, поспеши.

— Тетя Маро, приготовь хорошие гозинаки к нашему возвращению.

— А в забаву Тартуну, дядя Бежан, привезем пару турецких голов.

На двор вышел Георгий, держа на руках всхлипывающую Тэкле. Увидя соседей, она заплакала громче и сквозь слезы хвастливо поглядела на подруг, у которых не было столь интересного события.

Последний поцелуй матери, и Георгий решительно вскочил на коня.

— Подними голову, Бежан, что сакля? Вернемся, замок тебе построим, — шутил Ладо, устраиваясь на седле.

Соседи сдержанно рассмеялись.

Выехали на дорогу под крики и пожелания провожающих. Георгий оглянулся: на крыше мелькнула Нино.

У поворота, опершись на посох, стоял Бедрин. Он долго смотрел вслед мчавшимся всадникам.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда грузинские дружины достигли Триоледских вершин, лежащая у подножия долина окутывалась сумерками.

Полководцы Ярали и Захария завалами главных проходов и ловкими маневрами заманили сюда главные турецкие силы, создав выгодное стратегическое положение грузинскому войску.

Горы охватывали долину лощинами, зарослями, балками, мрачными обвалами и только с востока она замыкалась небольшим лесом, за которым лежала дорога к персидской границе.

Стоянка царя заняла выступ, с которого открывался вид на всю долину.

По решению военного совета, первый удар должен принять Симон Картлийский. В подкрепление к его дружине придвинуты легкий конный отряд Мераба и Томаза Магаладзе и горийские лучники князя Джевахишвили. Правый фланг до обрыва «Волчий глаз», сомкнув дружины плотным кольцом, занял Нугзар Эристави.

Мухран-батони растянулись на левом фланге, прикрывая западный проход на Квельту зоркими отрядами дротикометателей. Заза Цицишвили с регулярными полками царских стрельцов расположился в окопах, приготовленных землекопами Ярали.

Полководец Захария с Арийской дружиной и с конным Тваладским полком Георгия, непобедимым в сабельной рубке, прикрывал северный проход Читского ущелья.

У Черного брода в засаде расположился Андукапар Амилахвари с быстрыми копьеносцами.

Осская[1] конница, предназначенная для преследования отступающего неприятеля, укрылась в глубоких расщелинах.

Остальные князья со своими дружинниками расположились на отведенных пунктах.

Отборную дружину царских телохранителей, подкрепленную дворцовыми стрельцами, Ярали выстроил в колонну и повел через лощину, втиснутую между горами. Гулкое цоканье, фырканье коней, приглушенные окрики нарушали тишину.

Целую путаницу вызвали скакавшие навстречу всадники. От взмыленных коней и гикающих тваладцев, покрытых густым слоем пыли, несло тем возбуждением, которое создает близость крови. Они врезались в гущу, тесня дружинников к скалистым бокам равнины.

Посыпались угрозы, но весть, что всадники скачут в стоянку с донесением о приближении турок, охладила дружинников, изощрявшихся в брани.

Выйдя из лощины, Ярали повел войска за северные выступы гор.

Саакадзе с недоумением спросил у Ладо — зачем они сюда залезли, но вскоре выяснилось: место, выбранное Ярали, соединялось узкой тропинкой через горное ущелье со стоянкой царя. По тропинке вытянулась цепь часовых. В этом лагере молчали трубы, не перекликались рога, не горели костры.

Георгий и Ладо сидели на камне, свесив над пропастью ноги. Они следили за турецкими кострами, мерцающими по долине, подобно светлячкам.

Ночью неожиданно налетел ураган и разразилась гроза. Голубые отсветы молний скользили по вершинам, мгновенно погружаясь во тьму. Бухающие раскаты грома, подхваченные эхом, рассыпались в горах разноголосыми отзвуками. Хлынул ливень. Столбом вздымалась дождевая пыль. Груды камней и песку, увлекая за собой вырванные с корнями деревья, стремительно летели вниз.

Царь с князьями и приближенными укрылся в шатрах.

---

[1] Осетинская.

Дружинники, боясь быть сметенными в пропасть, держались друг за друга, предоставив ветру трепать насквозь промокшее платье.

Турецкий лагерь был не в лучшем положении. Потоки катившейся с гор воды принудили турок отступить к лесу. Уж никто не думал о внезапном нападении, и измученные люди засыпали под ливнем.

Нугзар в бурке и папахе наблюдал за долиной и чуть забрезжил свет отдал приказ наступать. Гроза прошла. Над лощиной поднимался теплый туман. Дружинники, ежась, осторожно спускались с крутизны. Две тысячи испытанных воинов мсахури на абхазских скакунах, превосходно одетые, вооруженные пищалями, составляли авангард Эристави. За ними сплоченными рядами тянулись глехи. В арьергарде отряды мана и кма представляли сброд полуодетых людей, наскоро вооруженных топорами, кинжалами, копьями и пращами, плохо защищавшими несчастных от турецких сабель. В случае поражения князья спешили с конными отрядами к своим замкам, а кма и мана, как гладиаторы, предоставлялись самим себе.

Скрытые туманом, дружины подходили к неприятельской цепи. Турецкий часовой поднял тревогу. Но грузинские знамена уже колыхались по долине.

Навстречу Симону Картлийскому помчалась турецкая конница и с дикими выкриками врезалась в ряды горийских лучников.

Саакадзе, стоя на крутом уступе, судорожно сжимал саблю. Ладо, сняв мокрые, связанные из грубой пряжи, чулки, сушил их на камне, переворачивая на все стороны. Время от времени он спрашивал: «побежали?» — и получив отрывистый ответ «дерутся», вновь принимался за чулки.

Солнце уже обжигало долину, над которой плыл густой пар земли и человеческой крови. К неудовольствию Ладо, Саакадзе вдруг сорвался и вскарабкался выше. Обладая зрением ястреба, Георгий с недоумением наблюдал битву. В момент, когда казалось победа на стороне грузин из леса, наперерез им, ринулись свежие отряды турок. Но не это сжало сердце Саакадзе: на плоскогорьи, за лесом, скользили черные точки. Георгий отчетливо осознал гибель. Еще солнце не скроется за острые пики гор, турки через лес прорвутся на поле битвы. Георгий уже видел гибель грузинского войска, Картлию в зареве пожаров, насилие, закованных пленников. Что же молчит Ярали? Неужели из-за одного царя пожертвует Картлией?

— Турки идут, — бросил он на ходу.

— Пусть чорт из меня чучхел сделает, если я еще раз потащусь за этим «барсом», — пробурчал Ладо, спешно натягивая чулки.

— Князь, за лесом огромное турецкое войско, — задыхаясь, проговорил Георгий.

— Готовьтесь к отступлению!

Ярали вскочил на коня.

— Сейчас сюда прибудет царь!

Георгий вспыхнул, ведь единственное спасение в дружинах Ярали и он твердо сказал:

— Ты ошибаешься, князь, царь сам идет в атаку. Я — чапар [1] царя, он приказал тебе немедленно зайти туркам в тыл. Также приказал...

На стоянке Георгия смятение. Каждую минуту подлетали с донесением чапары: князь Джевахишвили ранен, горийские лучники бегут. Симон Картлийский разбит, Нугзар окружен, Мухран-батони отрезаны, не в состоянии оказать помощи...

— Царь, — осадил коня азнаур Беридзе, — Цицишвили просит тебя покинуть сражение, еще час он может продержаться.

Но Георгий ничего не слышал. Окаменелый, он смотрел вниз. Оруженосец быстро подвел коня. Георгий знал, пора уходить, но еще знал — это конец его могущества и оттягивал последние минуты. Уже был послан чапар с приказом выпустить осскую конницу, уже бесцеремонно говорил Баграт — «очевидно, Георгий хочет попасть в плен, но князья этого не допустят и насильно посадят его на коня», — Георгий продолжал мутными глазами смотреть на битву.

---

[1] Гонец.

— Вот сейчас...

Он хотел сказать: «настал мой конец», но оборвал. Увиденное казалось сном.

Грузинские дружины, зашедшие в тыл, яростно обрушились на турок, и те, словно обезумев, бросились в разные стороны. Горел лес, клубы бурого дыма поднимались вверх.

Снова скакали чапары с донесениями: Мухран-батони прорвались и отрезали выход турецким янычарам, копьеносцы смяли турецкую пехоту... У «Волчьего глаза» Эриставн окружил Асан-пашу... Какой-то исполин на золотом коне в дружине Ярали, как яблоки, сбивает тяжелым мечом турецкие головы. Дружинники уверяют — Георгий Победоносец...

Ошеломленные турки увидели позади себя вместо ожидаемого подкрепления горящий лес, а с Желтого хребта, как им казалось, лавиной неслись на них грузинские шашки.

По всей долине затрубили рога. Развернутые знамена взметнулись над острием сабель. Визжали дротики. Бешенство охватило грузин. «Дружина барсов» отовсюду пробиралась к Георгию. В паническом ужасе от них шарахались турки, убежденные, что сам шайтан на золотом коне помогает врагу.

Хрипящие кони, сломанные пики, обезглавленные трупы, рассеченные шлемы, окровавленные кольчуги, — смешались в один клубок.

Окруженный янычарами, Зураб Эристави, сжимая левой рукой меч, уже вяло отражал удары. Над ним взметнулась кривая сабля, но в этот миг скатилась голова янычара, и налетевший Георгий подхватил Зураба на руки... Оглянувшись на сбитого с лошади Томаза, Георгий поспешно передал Кавтарадзе раненого Зураба и Дато помчался с ним к стану Нугзара.

Георгий бросился на окруженного большой свитой Омар-пашу и после ожесточенной схватки отсек ему голову. В то время как он с гордостью насаживал ее на пику, Томаз, отчаянно ругаясь, подлетел к нему.

— Отдай голову, я ее наметил! Вор, ты вырвал у меня из рук!

— От'езжай, князь, здесь туман, могу принять тебя за турка.

И Георгий, высоко подняв трофей, промчался мимо изумленного Томаза.

Турки с отчаяньем, усеивая своими трупами долину, прорвали цепь грузин и бежали к границе.

Осская конница, привстав на стремена и выхватив из мохнатых чехлов пищали, с гиканьем рассыпалась по долине, преследуя турок.

Медленно надвигались сумерки, солнце кровавым рубином падало за Триоледские горы.

Разгоряченные дружинники хотели броситься в погоню за турками, но полководцы, боясь неожиданностей, приказали всем подняться на горы.

Георгий осознал одно: Ярали самовольно бросил в бой последний резерв, предназначенный для прикрытия отступления царя. Картлия была спасена, но Георгий с ужасом понял — им жертвовали...

Ликующие дружинники окружили стоянку.

Князья ждали раз'яснений, но Георгий, до прихода Ярали, сам недоумевая, упорно молчал.

— Дорогой князь, мой верный полководец, — обратился он к подошедшему Ярали, на одежде которого пятнами застыли кровь и грязь, — князья желают знать... Да, да... Расскажи подробно, как ты выполнил мой приказ...

Георгий говорил едко, но возбужденные событиями, никто не обратил на это внимания.

— Наблюдая битву, я желал одного — поскорее увидеть царя в безопасности. Прискакавший чапар передал приказ, сначала поразивший меня, но, зная мудрость Георгия X, я понял: царь жертвует собой ради Картлии. Замечательный же план поджечь лес взялся выполнить твой чапар...

— Где чапар? — быстро прервал Георгий...

Ярали оглянулся. Саакадзе выступил вперед и бросил к ногам Георгия жирную голову Омар-паши. Несколько мгнове-

ний два Георгия пристально смотрели друг другу в глаза.

— Великий царь, я, не теряя времени, точно выполнил твое желание... Я сразу понял мудрую мысль... Разве царь Картлии мог поступить иначе? Огненный заслон отрезал приближающихся турок, а дружины доблестного Ярали замкнули кольцо. Не было сомнений: твой план был гибелью турок и спасением Картлии...

Георгий продолжал пристально смотреть на Саакадзе. Он понял — Саакадзе в оправдание обосновывает великую дерзость...

Баграт, Амилахвари и Магаладзе наперебой рассказывали, как царь перехитрил всех, скрыв смелый план, с которым князья, конечно, не согласились бы, и не обращая внимания на мольбу уехать, спокойно смотрел на сражение.

По рядам дружин перекатывалась молва о подвиге царя, и они с возбужденными криками «ваша, ваша»[1] теснились к стоянке.

«Значит, у молодца, — думал Георгий, — мозгов больше, чем у всех князей, вместе взятых».

Такое предположение особенно обрадовало, и успокоенный тем, что только его именем этот исполин мог выкинуть такую штуку, ласково сказал:

— Да, да... Мне сразу понравился твой рост, но я не успел узнать, откуда и кто ты.

— Я — Георгий Саакадзе, твой крестьянин из даба Наставн... Князь Херхеулидзе зачислил меня в дружину, позволь же службой тебе оправдать доверие начальника.

«Так вот кто подсунул царю парня, — думали князья, — тогда понятно, почему хитрый Георгий поручил не нам выполнение тайного плана».

— Царь, этот самый качаги[2] взбунтовал против нас крестьян Наставн, — яростно прокричал Томаз, а теперь выхватил голову паши, над которой замахнулась моя сабля.

Георгий редко испытывал такое удовольствие. Тысяча возможностей промелькнула перед ним и самое важное — герой из народа, давно желанное оружие против князей.

— Да, да, я понимаю твое возмущение, князь, нельзя спорить с низшим, но голова паши сделала Саакадзе азнауром и ты в честном поединке можешь отомстить за нанесенное оскорбление.

Кровь ударила в голову Томаза, но он сжал губы и только в руке хрустнул эфес меча.

— Азнаур Саакадзе, — продолжал Георгий, будто не замечая гнева Томаза, — жалую тебе Наставн. Деревня, возростившая героя, должна принадлежать герою. Пусть твоя храбрость будет примером другим, а моя щедрость никогда не оскудевает. Да... да... Я никогда не обижаюсь, если у другого немного больше ума. По совету Херхеулидзе оставляю тебя в свите.

— Царь, ты щедро наградил героя, — произнес Нугзар, — но у меня с ним свои счеты. Он спас Эристави от бесчестия. Известно, убитого в сражении ждет слава, а обезглавленного позор. Благодаря Саакадзе, Зураб остался с головой.

Нугзар снял с себя золотую шашку.

— Молодой друг, прими в знак вечной дружбы шашку, я завоевал ею Арагвское княжество. Рассчитывай на меня. Все знают, как Нугзар держит слово.

Он обнял Георгия, поцеловал и одел на него оружие.

— Царь, еще для одного наставца-героя, Дато Кавтарадзе, прошу у тебя азнаурства.

Нугзар вытолкнул вперед Дато.

Георгий украдкой взглянул на Магаладзе.

— Отныне и ты азнаур. С рассветом отвезешь царице радостную весть. А ты, Саакадзе, не имеешь ли ко мне просьбы?

— Царь, ты осыпал меня милостями, прошу еще одну... Позволь доложить, турки в беспорядке бегут к границе... Их можно уменьшить наполовину.

Георгий, не скрывая восхищения, смотрел на Саакадзе, но князья, возмущенные, что не они подали блестящую мысль, шумно запротестовали.

[1] Боевой клич.
[2] Разбойник.

— Турки побеждены, незачем терять время и людей на бесплодную погоню.

Больше всех протестовал Баграт. Он понял, этой победой Георгий упрочил свой трон и единственное средство — не давать ему возвыситься новой удачей.

Георгий, всегда опасавшийся Баграта, поступал наперекор его советам, но без согласия князей продолжать войну невозможно. Он обратился к Эристави. Нугзар ответил, что хотя и рискованно, но он никогда не отказывался от такого случая, Мухран-батони также непрочь были принять участие, но для успеха необходимо согласие остальных князей.

Георгий невольно посмотрел в сторону Саакадзе.

— Жаль выпустить добычу, — сказал Саакадзе, — за турками тянутся огромные караваны верблюдов, нагруженные тюками и сундуками, думаю, не хурмой они набиты... Дозволь, царь, с твоими дружинниками отбить караваны.

Князья опешили, спор оборвался.

Георгий высказал предположение, что караваны нагружены персидским золотом, и он с удовольствием привезет такое богатство в Тбилиси.

Первым всполошился Магаладзе и словно прорвался поток: все наперерыв заговорили о необходимости тотчас отправиться в погоню. Алчность отодвинула другие интересы.

— Да, да... Херхеулидзе редко ошибается, — думал Георгий, — из Саакадзе можно сделать оружие для борьбы с князьями, — но вслух сказал:

— Необходимо выследить... Ярали, пошли лучников.

— Царь, преданные тебе наставцы, их товарищи, уже поскакали за турками. До рассвета получишь точные сведения.

— Оказывается, за нас всех думает азнаур Саакадзе, — засмеялся Георгий. — Да, да... Значит, люди могут отдыхать. Иди и ты, Георгий, в шатер моей свиты. Хороший рог вина никогда не повредит грузину.

Вскоре, кроме часовых, весь лагерь был мертвым сном. Не спали только в княжеских шатрах.

Георгий, положив между собой и Ладо папаху Нугзара, возбужденно передавал подробности. Но Ладо сердито отмахивался и предупреждал, если Георгий не оставит в покое уставшего человека, то он, Ладо, расскажет народу, по чьему сумасшедшему приказанию Ладо с дружинниками поджег лес. Впрочем, у него найдется и еще кое-что рассказать одураченному войску... Георгий знал, когда Ладо хочет спать, никакие события его не заинтересуют и нехотя замолчал. Через минуту Ладо услышал могучий храп и, заботливо прикрыв Георгия буркой, подумал: человеку необходим сон, а то на утро он напоминает мацони[1].

ГЛАВА ПЯТАЯ

Тихо в деревне, словно заснула, даже листья не шелохнутся. Только мохнатые волкодавы, высунув языки и тяжело дыша, вытянулись у порога саклей. По временам, приподнимая морды, они неодобрительно поглядывали на сонно бродивших кур.

Важно переваливаясь на сафьяновых лапках, спускалось к реке стадо дымчатых гусей. Где-то взвизгнул поросенок, покатилась шайка, беспокойно крякая, захлопали крыльями утки.

Под широким навесом на кирпичном полу сидел, сгорбившись, дед Дмитрия Сагиношвили. Он плоским молотком долбил баранью кожу. Рядом стоял медный чан с водою, куда старик опускал выдолбленный кусок. Другой кусок кожи, прибитый по краям гвоздиками, распластался на ореховой доске. Мерно отстукивали глухие удары по влажной коже, отзываясь в старческой голове.

— Эх, кто может знать, почему бог дает победу неверующим в него мусульманам... А, может, вернется здоровым, не всегда на войне плохо...

Сагиношвили поднял голову.

Кряхтя и припадая на палку, через улицу переходил старик. Он остановился, прислушался, прислонил к глазам руку и медленно направился к Сагиношвили.

— Жарко, не время кожу долбить, — прошамкал он, опускаясь на ступеньку.

[1] Вид простокваши.

— Знаю, не время, но внук должен с войны вернуться, наверно, без чувяк...

Он нерешительно посмотрел на соседа и быстро, словно боясь противоречий, повторил:

— Наверно, без чувяк... Дмитрий ловкий, его турок не достанет... А как же дружиннику без обуви?.. Без обуви нельзя... Я сам на войну пять раз ходил, а вот цел остался... Без обуви нельзя молодому, а Дмитрий любит мягкие... Смотри!..

Он с гордостью подвинул доску к старику.

— Настоящий сафьян. Хочу покрасить в синий цвет... А, может, в желтый?

— В желтый лучше, от солнца не так жарко... Я, когда восемьдесят пасох назад первый раз на войну пошел... Измаил Великий с нами дрался... О, о, сколько храбрецов легло на горячий песок... Очень жарко было, кровь сразу высыхала, а около мертвых через минуту стоять нельзя было... Больше от воздуха умирали...

— Я тоже думаю, в желтый лучше. На зверя хорошо ходить, зверь желтого не боится, — торопливо перебил Сагиношвили.

— Не боится? Зачем бояться, первый раз не страшно. Молодые вперед лезут, а кинжал любит, когда близко. Шашка тоже любит... Шестьдесят пасох назад на персов с царем Луарсабом ходил, от врага не прятался, но осторожным стал, уже много воевал... Окружили нас сарбазы, кто на горе был — там остался, кто внизу был — тут остался. Висят на уступах, как бараны перерезанные грузины... И персов не мало убитых, может, больше. Живым тоже плохо, только стоны, да свист шашек слышно... Вдруг персы мимо проскакали, я упал, а около меня голова катилась. Сначала думал — моя. Открыл глаза, смотрю Датико, сын соседа... Единственный был...

— Если сделать с острым носком, удобнее будет... Веселый мой Дмитрий, смеяться любит, бегать любит, а с острым носком удобнее бегать...

— Зачем бегать, иногда лучше лежать... Я тогда не знал, что лучше, думал — убит. И все понять не мог: если убит, почему пить хочу, а, может, потому пить хочу, что убит?.. Подняться не могу, тяжесть к земле придавила. С трудом глаза открыл, вижу, тело Датико меня душит, без головы остался, голова рядом лежит... Единственный сын был... Из горла капает мне в лицо кровь... Жажда круги в глазах зажгла, ум мутит... Если умер, зачем пить хочу? А кровь все льется, совсем голову мою залила, в рот капает, теплая... Много выпил... Плохо, а сбросить Датико не могу, единственный был... Уже не слышу грузин, только персы с криками рубят мертвым головы и в кучу складывают. Подошли ко мне двое: один голову Датико на пику одел, другой мою ищет... Никогда по-персидски не знал, а тут понял: перс, смеясь, сказал — мою голову шайтан унес... Потом долго тихо было...

— Скоро осень, охота начнется, мой Дмитрий любит охоту... Может, цаги[1] сделать? Цаги удобно... Если дождь, чулки сухие будут.

— Долго тихо было, только прохладнее стало. Глаза не могу открыть, кровь слепила... Может, я не убит? Тогда зачем на себе держать тяжесть? С трудом сбросил Датико, сразу легче стало. Глаза расцарапал, пока открыл... Луна красная, а по середине поля башня из голов грузин стоит и больше никого. Как встал, как побежал — не помню... Наверно, много бежал, может, ночь, может, неделю, не помню. В чужой деревне женщины и дети с криками, как птицы, разлетелись. Мужчины воду схватили... Холодную лили, теплую лили, а с головы красный ручей бежит... Когда отмыли, смеяться начали: «ты что, ишак, совсем не ранен, из чужой крови папаху себе сделал»... Зачем бога учить? Бог сам знает, как лучше... В желтую покрась, на мне тогда желтые были...

Тихо в деревне, точно неживая.

На мосту монотонно заскрипела арба. На плетень, обвитый черной ежевикой, взлетел петух, похлопал крыльями, загорланил, прислушался, вытянул шею, громче загорланил, заглянул к себе под крыло и вдруг остервенело принялся перебирать перья. Но скоро спрыгнув, по-

---

[1] Сапоги с твердой подошвой.

несся к навозу. Не найдя кур на привычном месте, беспокойно забегал по двору, остановился, наклонил голову, сердито замигал синеватыми веками и, сорвавшись, бросился к откосу.

Петух угадал, его семья работала на огороде.

Маро, повязанная белым платком, согнулась над стручками лобио. Тэкле, развевая по солнцу смолистые кудри, яростно выгоняла протестующих кур с грядок.

У кизилового плетня, следя за Тэкле, смеялись девочки. Она бросила кур и подбежала к подругам.

Захлебываясь, щебетали о похождениях вскормленного совместно любимца. Он совсем стал главным сборщиком. Вчера у тети Кетован вылакал молоко и, удирая, разбил кувшин. Хотя вслух и не высказывалась, но по улыбкам девочек чувствовалась гордость похождениями любимца.

Потом Тинатин побежала за голубой лентой, привезенной отцом из Гори. Тихонько позавидовали. Окончательно говорились пойти в воскресенье в Ванисхевский лес за кизилем.

Еще о многом хотелось поговорить, но сердитый оклик матерей вспугнул болтуний.

— Тэкле, отнеси отцу мацони и чурек, — не отрываясь от работы, сказала Маро.

— А яйца? Сорву огурцы, помидоры, с яйцами вкусно.

— Не надо, Тэкле, надсмотрщик увидит наше богатство, увеличит дань. Вечером дома покушает.

На плоской крыше изнемогали фрукты. Разостланные циновки сжимали темнокрасный инжир, бархатные персики, коричневые гулаби и терпкую комшу.

С карниза балкона свешивались нанизанные на шерстяные нитки кружочки яблок и половинчатые груши.

Нино, перегнувшись с крыши, окликнула Тэкле.

— Сегодня кисет кончила, беркута шелком вышила. Георгий доволен будет... Ничего не слышно?.. Подожди, покажу.

Длинно тянулся колокольный звон.

Воскресенье обнажало тревогу — вспоминали ушедших на войну. Спешили в церковь задобрить бога воском и молитвами.

Священник долго и нудно говорил о боге, смирении, покорности, уверял, что добродетель отмечается на небе и праведных ждет вечное блаженство.

Бледно мерцают лампады, в узкие окна настойчиво врывается солнечный луч. Тускнеют тоненькие огоньки. Где-то в углу всхлипывают.

Старуха в черном платке тревожно оглядела иконы, поспешно подошла к Георгию Победоносцу, решительно вытерла шершавой ладонью высохшие губы и, зажигая тоненькую свечу, быстро прошептала:

— Тебе одному верю, сына пожалей.

Голос ее оборвался. Она долго стояла перед иконой, разглядывая тонкие ноги белого коня Георгия Победоносца. Деловито выправила фитилек и, вздохнув, отошла в угол.

Люди с надеждою смотрели священнику в рот, уже не мечтая о вечном блаженстве, лишь бы теперь поскорей отпустил отдохнуть.

— Надо терпеть, — шепнула своей соседке бойкая женщина, — он всю неделю молчит. Воскресенье мы хотим отдохнуть, а он хороший человек, соскучился, пусть поговорит.

На нее зашикали, но вдруг, словно одна грудь, вздохнула церковь: священник кончил проповедь и хотел обратиться с воззванием пожертвовать на церковь, но крестьяне уже бросились к выходу. У всех было радостное чувство исполненного долга.

Спешили домой, запивали домашним вином горячий обед и ложились досыпать недоспанное за неделю.

Как всегда, по воскресеньям, сегодня у священника гости. Потряхивая толстым животом, степенно вошел нацвали. Переваливаясь гусыней, рядом семенила жена. Мягко ступая, раскланиваясь уже в дверях, скользнул в комнату гзири. Белая чеха, перехваченная посеребренным поясом, сияла самодовольством. Жена гзири в яркомалиновом платье,

слепящем глаза, жеманно уселась по заведенному порядку рядом с главным сборщиком, приходившим всегда первым и угрюмо молчавшим до самого обеда.

Ели много.

На большом блюде в янтарной лужице плавал румяный барашек. Пузатый кувшин булькал в чаши холодным кватисхевским вином. Поджаренные цыплята хрустели в цепких пальцах. Румяная Кето, жена священника, охая, пухлыми руками подняла нарядные букли и вытерла желтым платком влажные щеки. Биче[1] бросился к окнам закрывать ставни от назойливого солнца.

Разговор был обычный и даже война не отвлекла от любимой темы.

— Трудно стало, — нарушил, наконец, молчание, облизывая пальцы, сборщик. — Народ избаловался, работать ленится, а все жалуется: «доля мала».

— Доля мала? — брезгливо обронила жена гзири, — Магаладзе их отдать, перестали бы жаловаться.

Сборщик укоризненно посмотрел на широкий подол малинового платья и, точно боясь сбиться, поспешно продолжал:

— А сколько приходится лазить по подвалам, крышам, буйволятникам... Все прячут. Плохой народ пошел. Вчера у Сандро хромого в буйволятнике полкада[2] проса нашел. А Дмитрий безухий... Недаром ему лезгины уши отрезали... две головы овечьего сыра в подвале спрятал. Еще кричит, будто свою долю на зиму берег, за дурака считают. В мае уже сыр поели. Мое дело маленькое — припрятал незаконно, отдавай обратно государству.

Помолчали, зная, что государство в дележе отобранного не участвует. Но «законный» доход сборщика никого не огорчал.

Нацвали с удовольствием подумал о соленых слезах головки сыра, полученной в подарок только вчера.

Гзири, улыбаясь, вспомнил толстые ноги служанки, ставившей на верхнюю полку кувшин белого меда, присланного сборщиком на прошлой неделе.

Священник благодушно поглаживал бороду, высчитывал, какой приплод даст веселый поросенок, подаренный добросовестным сборщиком.

Вино распарило, пригибало к мутакам. На потных шеях расстегнули вороты. Тягучие разговоры сгущали день, душные слова облепили комнату, под потолком кружились осоловевшие мухи.

— В понедельник я полдеревни с корзиной обошла. Обманщицы божились, будто надсмотрщик на именины сына все яйца забрал. Пока искала, платье выпачкала, — жаловалась жена гзири.

— Пусть бог им простит, не надо сердиться, все любят хорошо покушать, — пропела Кето и, умиленная своей добротой, стыдливо опустила глаза.

Расширенные зрачки ее впились в опущенную руку проходившего бичи: недоеденный священником кусок барашка темнел в согнутых пальцах. Кето быстро направилась в кухню.

Не подозревая о зоркости стыдливо опущенных глаз, бичи жадно вцепился острыми зубами в обгрызок, но звонкая пощечина испортила ему аппетит. Мохнатый Герак, радостно лая, вмиг подхватил выпавший кусок.

— Ты скоро лопнешь, ишак, — кричала Кето. — Сколько едите, все мало, — набросилась она на остальных слуг, — целый день только о еде думаете, черту на обед себя готовите что ли?..

В кухню влетел юркий бичи и, захлебываясь, не переводя дыхания, выпалил:

— Госпожа, пусть мой начальник гзири скорее выйдет, дело есть в даба.

Около реки, полувысохшей от зноя, на каменистом берегу валялись поломанные прутья, глиняные черепки, клочья перемываемой шерсти, скорченные ветки, старый чувяк с разинутым ртом.

Рябые кругляки лежали как стадо овец. Давно в одну из бурь весеннего разлива издалека, может, из неведомой страны, сюда приплыло толстое бревно. Над ним долго стояли, осматривали, спорили и, наконец, отодвинули подальше, чтобы не унесло водой. Бревно, плотно улегшись между камнями, прижилось

[1] Мальчик слуга.
[2] Кад — 50 килограмм.

здесь, вместе с людьми старилось, врастало в землю и темнело с бегущими годами.

По праздникам сюда тянулись крестьяне. Старики плотно усаживались на бревно, любовно поглаживали твердую кору, точно радуясь целости друга.

Опершись на палки, молчали, радуясь покою, обводили ослабевшими глазами знакомую картину: реку, где купались детьми, поле, которому отдали все силы, мост, сохранивший следы былой удали.

Жили здесь долго, с землей расставались с трудом. То ли воздух здесь здоровый, то ли кости закалены, но жили здесь долго.

Заскрипит голос, закашляется и со вздохом кто-нибудь начнет: «Эх, эх, эх, плохие времена настали» и пойдут пересыпать воспоминаниями, и польется беседа знакомая, близкая, никогда не надоедавшая.

Сегодня особенно оживленно у реки. Уже не пришлось начинать с обычного «эх, эх, эх, плохие времена...» Времена, действительно, были плохие: много дней прошло, а с войны никаких известий.

Уже солнце покидало измученную землю, расстилая мягкое синеватое полотно, а старики все говорили о войне. Не слышалось задора, горячих споров мирных дней, когда хотели «утереть нос» молодежи. Страх за близких щемил. Содрогались, вспоминая тысячи опасностей кровавых боев.

Через мост, постукивая мелкими копытцами, к реке спустились овцы. Датуна остановился около стариков, ему услужливо подали кисет с табаком. Опустившись на камень, он, вздыхая, почистил мундштук и медленно стал набивать трубку. Все сосредоточенно смотрели на Датуна, ожидая новостей.

— Сколько шерсти в Тбилиси увозят, — подзадорил один.

— Прошлый год плохая шерсть была, овцы лезли, а сборщикам дела нет, давай шерсть, других слов не знают. А почему я должен три года в старой чехе ходить? — запальчиво вскрикнул Диасамидзе.

— Шерсть крестьянину нужна, — сочувственно вздохнул Датуна, — все из шерсти делаем... Чеху! Я без чулок на зиму остался...

— Доля! А проклятый мсахури спросил, хватает мне выданная доля? — перебил Бежан. «Сколько наработаешь, столько получишь», а сколько один человек может наработать?

— Один человек мало может сделать, — согласился дед Шхиидзе, — вот буйволятник у меня развалился...

— Что буйволятник, саклю хотел чинить, а сына на войну взяли.

— Эх, эх, эх, плохие времена...

— Да, времена у вас нехорошие...

Бесформенная тень, качаясь, легла на неровный берег. Перед изумленными глазами вырос двухгорбый верблюд, нагруженный тюками. Высокий человек с шафрановым лицом, обрамленным черной вьющейся бородой, ловко спрыгнул с верблюда, окинул сидящих острым взглядом, небрежным жестом оправил стеганый полухалат, опоясанный широким джаркеси[1].

— Али-Баиндур, щедрый купец и ученый лекарь, с одинаковым удовольствием расстилающий тонкое сукно и вправляющий сломанные кости, приветствует почтенных мужей.

— Хорошо по-грузински говоришь... Что ж, садись, раз приехал, — подвинулся Сагиношвили.

— Вот видите, товар привез: тонкое сукно для чехи, мягкие папахи из ардебильской шерсти, настойку для волос, полосатые чулки, кораллы для девушек, вышитые платки, целебную мазь от зубной боли и плохого глаза, персидскую кисею — шаур за аршин, — душистый табак для трубок.

— Не время товар, война у нас...

— У храбрых грузин всегда война, жаль, народ беднеет... Попробуйте, какой табак привез, угощаю.

Али-Баиндур вынул из тюка пачку, обернутую в плотный холст, и щедро оделил всех. Аромат непривычного душистого табака развязал языки.

— Народ беднеет! А с чего богатеть? Нацвали давай, сборщикам давай, гзири давай...

[1] Персидский пояс.

— А зачем даете? В Персии народ для себя работает.

— Для себя? — расхохотались наставцы, — а князья у вас камни кушают?

— Наш мудрый Шах-Аббас простой народ больше любит, целые области отдает: работай, торгуй — твое дело.

— У нас мсахури[1] тоже свободны, к князьям близко стоят... Вот нацвали, гзири, сборщики, все они мсахури... Плохой народ...

— А зачем терпите? Уходить надо...

— А где лучше? Ты чужой, не знаешь... Хизан[2] тоже свободный, уходи, куда хочешь... Работал, работал и все бросай... Какой дурак уйдет?

— Дурак на месте сидит, а умный ищет, где лучше. К нам сколько народу пришло, все довольны. Великий Шах-Аббас целые деревни роздал, хозяйство, землю, баранту. Живи, богатей... А кто посмеет у нас снять с крестьянина шарвары и гулять палкой по удобному месту?..

— Ты что, сумасшедший?

Старики вскочили, потрясая кулаками, возмущенные перебивали друг друга. Глаза налились кровью. Али-Баиндур, усмехаясь, поглаживал бороду.

— Мы таких шуток не знаем, убить можем, — кричал Гедеваношвили, выбивая из трубки душистый табак.

— Такие шутки плохо пахнут! — прохрипел Шхиидзе, резко усаживаясь на место.

— Разве глехи[1] позволят это дело? — спокойно начал Кавтарадзе, на войне рядом деремся, а дома князьям ж... будем показывать?..

— Напрасно сердитесь, разве вас князья, как буйволов в ярмо не впрягают?

— Если виноваты, пусть наказывает. Князь — хозяин.

— А хозяин арапником не угощает? — сузил глаза Али-Баиндур.

— Арапником тоже ничего, кровь у него играет...

— Сверху может, но шарвары у нас каждый сам себе развязывает, когда ему нужно, — сочно сплюнул Сагиношвили.

— А в Персии каждый сам себе хозяин: земли много, скота много, не управляется — работников нанимает.

— Зачем нанимать? Глехи, если богатый, своих мана[2] имеет, — пробурчал молчавший до сих пор Бежан, — вот у Кавтарадзе два мана.

— Почему неправду говоришь? Не мана, а кма[3], на войне взял. Им князь

---

[1] Характерной чертой крепостного права в Грузии было деление крепостных на пять категорий, между которыми владельцами разжигался антагонизм. Мсахури образовались из потомственных крестьян, переходивших из рода в род одного господина и считавшихся неот'емлемой фамильной собственностью. Они занимали все высшие должности в княжествах: управляющих, начальников городской полиции, начальников дружин и т. п. Свита, советники, собеседники и высшая категория слуг жили целыми семьями в замках господина. Хозяйства мсахури налогами не облагались. Они также имели право владеть крепостными из остальных четырех категорий. Мсахури были самой надежной стражей крепостного права и в своей жестокости к остальным крепостным превосходили даже феодалов. Привилегии мсахури были наследственными. Феодал ни за какие проступки не мог лишить их привилегий, даже продавались и покупались они, не лишаясь мсахурства.

[2] Вторая категория крепостных, хизаны, пользовались наибольшей вольностью. Они состояли из крестьян, перебегавших из одного грузинского государства в другое, и иноземцев, переселявшихся в Грузию целыми семьями, — обычное явление при сменах династий, когда месть победителя распространялась даже на крестьян. Хизаны шли в кабалу за надел землей и хозяйством на правах временно обязанных и по закону Вахтанга V: «человек сам по себе свободен, но он зависит от земли и воды» — в любой момент могли уйти, оставляя все нажитое. Но если хизан выполнял обусловленное, изгнать его с отданной ему земли никто не мог.

[1] Третья категория крепостных, глехи, цвет грузинского крестьянства, имели наследственную оседлость. Хотя глехи были полной собственностью государства и феодалов, их редко продавали, считая, что вложенный поколениями в хозяйство и землю труд дает им моральное право на землю. Право это, освященное вековым обычаем, было для феодалов сильнее закона.

[2] Четвертая категория крепостных, мана, покупались или обменивались на скот, собак, ковры и по своему положению приближались к невольникам, но после установленного времени оседлости приобретали некоторые права.

[3] Пятая категория крепостных, кма, состояла из пленных в бою, пойманных воров, незаконнорожденных и должников. Рабы без всякой надежды на лучшее положение, кма, работали исключительно на господина, своего хозяйства иметь не могли, жили в большой

Качибадзе голову хотел срубить. Пожалел их, совсем мальчики были, себе в кма выпросил. Что ж, они никому не мешают...

— Не мешают? — неожиданно вскочил Шаликошвили, а зачем твой проклятый кма на мою Нато смотрит? Я ему вместо Качибадзе голову оторву.

— По вашему закону все мужчины смотрят на чужих женщин, почему же кма не может? — заинтересовался Али-Баиндур.

— Равные могут смотреть, а презренные кма не смеют, наши дочери за кма замуж не выходят, их сейчас же гзири в кма должен переписать и мужчины не женятся, тоже переписывают... Никто не хочет в рабов превратиться, — охотно раз'яснил Гедеваношвили.

— А много у вас в деревне кма? — быстро спросил Али-Баиндур.

— Много, семейств сто будет... Около баштанов за деревней живут, на царских огородах работают. Мы кма в Настави не пускаем, пусть отдельно живут... Пятнадцать пасох назад сын Вашакишвили на дочери кма женился, большая хатабала была, отец с горя умер... Пусть отдельно живут.

— А мана женятся на ваших дочерях?

— Мана могут... Только зачем нашим девушкам за неравных итти? У нас свое дело, у них свое... Мы к ним в гости не ходим, зачем дружбу водить с чужими? — добродушно сказал Диасамидзе.

— Как с чужими? — искренно поразился Али-Баиндур, разве мана не грузины?

— Грузины, и кма много грузин, мы тоже грузины, а почему азнауры к себе не приглашают? Орел—птица, воробей—птица, зачем не дружат? — насмешливо спросил Кавтарадзе.

— У нас кто выше, тому Шах-Аббас земли и скота больше дает... Уже солнце прячется, пора намаз делать... А далеко баштаны? Там народ бедный, дешевле за ночлег возьмет.

— Мы тоже небогатые, но от гостя ничего не берем, у кого хочешь живи... и верблюд твой сыт будет, — сказал старик Сагиношвили.

— Да, вы — народ хороший... Вот недавно армяне из Грузии тайно перебрались. Шах-Аббас в работе[1] Джульфы их устроил. Разбогатели, свои поместья накупили, все купцы... А в Грузии котлы лудили...

— Что ж, счастливые они, — вздохнул Бежан.

— Если захотите и вы счастливыми будете... Около Исфагани большой рабат есть, Гасанабат[2], одни грузины живут. Шах-Аббас грузин больше всех любит. Богатый народ... Многие ханами стали, другие караван-сараи открыли, а кто не хочет, хозяйство большое имеет, жены шелковые платья носят, тасагран[3] из зеленого бархата с алмазной булавкой. На свадьбу ханы в гости приезжают... Богато живут, только для себя работают... Говорить громко не надо, я здесь несколько дней торговать буду... Подумайте... Есть один щедрый купец и ученый лекарь, научит, как перебраться в Персию...

— Ты что народ смущаешь? — неожиданно нарушил беседу грозный окрик.

Гзири, оторванный от обеда у священника слугою, прибежавшим с доносом, учащенно дышал.

— Торговать приехал, плати нацвали пошлину и торгуй, мы с Персией в дружбе, а народ приехал смущать, на себя сердись, пятки подкую.

Гзири тяжело опустил руку на плечо Али-Баиндура.

Крестьяне угрюмо молчали. Многие собирались потихоньку скрыться, но вдруг бухнул церковный колокол. Все вздрогнули. Неурочный удар колокола означал радость или большое несчастье.

Гзири, выпустив «купца», бросился через мост, мужчины, роняя палки и шапки, бежали за ним, одурев неслись женщины и дети.

скученности в полуразвалившихся саклях, содержались впроголодь, в лохмотьях, несли самую тяжелую работу и презирались как господином, так и всеми крестьянами.

[1] Предместье.
[2] Грузинское предместье.
[3] Головной убор в виде обруча, к которому прикрепляется вуаль.

Али-Баиндур, быстро вскочив на верблюда, исчез в надвигающейся темноте.

Около церкви Элизбар Таткиридзе с перевязанной рукой, лихо стоя на коне, надрываясь, кричал:

— Победа, победа!.. Турки бегут... большая добыча осталась... Наставцы молодцы... Победа!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тбилиси пробуждался. Клубы серо-фиолетового тумана, согнанного увядающей осенью, ползли по багровым деревьям Мта-Цминда. Падал дождик. Косые полосы укутывали сонный город, перепрыгивали заборы, хлестались о каменные мосты.

Но лохмотьями расползлись облака. Порозовело. Фаланга диких гусей, увлекаемая вожаками, беспокойно перекликаясь, пронеслась за Мхатские холмы.

Тбилиси пробуждался. Дрогнули ставни, запоздалые капельки усеяли подоконники. Отрывисто скрипнули калитки. Щелкая кнутами, потянулись тулухчи[1], фонтанная вода хлюпала в пузатых мехах, перекинутых через спины катров[2].

День распахнул над Сеид-Абадом полы синего халата.

Засуетились пурни[3], румяный запах выпеченных чуреков вырвался на улицу. В полутемных торнах[4] продавцы, нахлобучив бараньи шапки, с засученными рукавами развешивали на веревках хрустящие лаваши, а остывшие, сложенные пополам, лежали на стойках около чашечных весов.

Прошел мулла в белой чалме, остановился, заглянул в мясную лавку, где деловито вешали на железных крюках здесь же зарезанных баранов. Через узкую улицу протискивался караван ишаков с древесным углем. Черномазый погонщик залюбовался цирюльником, ловко намыливающим голову молодому татарину. Ишаки разбрелись под навесы, угощаясь душистой зеленью, искусно разложенной на деревянных чашах. Крики, удары палок возмущенных владельцев оторвали погонщика от увлекательного зрелища. Кулачная расправа, сдобренная отборной бранью, на минуту задержала движение улицы. Караван одногорбых верблюдов, врезавшись в середину, запутал перепуганных ишаков, лошадей, навьюченных огромными корзинами, и толпы людей, с криками прижимавшихся к стенкам.

Из темных глубин скученных лавочек выплывали пирамиды фруктов, восточные пряности, груды ковров, шелковой ткани, горы папах, седел, чеканное оружие, кованые сундуки, наполненные позументами, поясами, золотыми кистями, и серебряные украшения.

Запах кожи, яблок, сыра, пота, вина, навоза рвался из кривых удушливых улиц.

Сразу оглушал перестук молотков, придающих разнообразные формы медным котлам, кувшинам, кастрюлям, блюдам, кофейникам и подносам.

Шипели в харчевнях сочные куски баранины, в овальных котлах томился пилав, на раскаленных жаровнях плавало в масле сладкое вздутое тесто. Вокруг толпились с красными лицами приезжие и местные торговцы. Торопливые глаза следили за вертящимся шампуром.

В угловом духане взвизгнула зурна, полилось пение. Запах вина, хаши[1] и проперченного шашлыка гостеприимно указывал на вход в «Золотой Верблюд».

В дальней сводчатой комнате, облокотившись на низкий столик, сидели два пожилых грузина в расстегнутых чехах и широких, волнами спадающих к мягким цаги шарварах. Они нехотя прихлебывали из глиняных чашек красное вино. Образцы кожи, железа, готовых стремян лежали на столике.

Напротив за отдельным столиком, аппетитно поедая жареную курицу, приправленную орехами, и запивая янтарным вином, незаметно следил за говорившими человек с шафрановым лицом, обрамленным черной бородой. На богатой черкеске играло золотое оружие

— Значит, Нико, через неделю пятьсот штук готовы будут, половину вырежем узором, половину так возьмешь.

---

[1] Водолазы.
[2] Помесь лошади с ослом.
[3] Пекарня.
[4] Пекарня для выпечки лаваша.

[1] Суп из бараньей требухи.

— Что ж, можно, дешевле посчитаешь.

— Все дешево любите. Богатые амкары, а торгуетесь, как зеленщики.

— Пожалуйста, Васо, для царского седла из толстого серебра сделай, у царя Георгия тяжелая нога.

— Рука тоже ничего... Хорошо с войны вчера вернулся, — поморщился от глотка вина Васо, — много работы будет... Сколько лошадей вели, сколько пленных гнали... Пах, пах, пах... Жаль, для пленных подковы не нужны.

— Не ты один несчастный, Васо, седла им тоже не нужны.

Нико с досадой отодвинул чашу.

— Всем работы хватит, давно не было такого горячего времени. Вот новые котлы, подносы, кувшины велели принести в Метехи. Амкарство медников большой доход получит.

— Нам тоже кожаные кисеты доставить нужно, царь марчили дружинникам будет раздавать, — вздохнул Нико.

— Все раздает дружинникам, князьям, только амкары ничего не получают, да еще сами подарки должны нести. Налог плати, за товар плати, туда, сюда, ничего не остается...

Васо брезгливо выплеснул на пол вино и шумно поставил чашу на стол.

— Вчера думал племянника встретить... Своих детей не имею, как сын мне. Оруженосец он при молодом Амилахвари. Любит его князь Андукапар, еще деды мсахури были. Землю имеет, хороших баранов разводит, мана есть, невесту в нашем амкарстве подыскиваю...

— Что ж, приехал?

Васо резко оттолкнул от себя чашу.

— Нет. Помнишь Микадзе мясника, который зимою палец себе отрубил. Его сын в четвертой дружине шел, говорит, мой Сандро с караваном едет... С ума сошел сегодня Пануш. Кизил в кувшине раздавил что ли?..

— Уксус, ишачий сын, вместо вина продает, а шауры на зуб пробует.

— Вижу, вам духанщик испортил день... Примите от черкесского князя Али-Баиндура угощение.

Он налил в чаши вино из своего кувшина.

Амкары услужливо пододвинули скамью Али-Баиндура. Рассыпаясь во взаимных пожеланиях, чокались и, с наслаждением вытирая усы, шумно ставили чаши.

— По делу к нам приехал, уважаемый князь?

— Немного по делу, немного на праздник посмотреть... Молодец царь Георгий, хорошую охоту туркам устроил. Теперь Персию не мешает ущипнуть.

— Э, князь, зачем щипать? Мы первые не лезем, а к нам придут — не спрячемся... Не всегда война удачна. Страна разоряется, заказов мало... Нет, с Персией дружить надо. Прошлую пасху исфаганский купец приезжал. Немножко на тебя был похож... Большой караван разных изделий увез.

— Да, уважаемый князь, в Персии железа мало, большие заказы берем... Вот пять лет новых людей в амкарство не принимали, а весной пришлось принять, много работы, сами не успели... Да, праздник веселый будет, хорошо сделал, что в Тбилиси приехал.

— А вы тоже собираетесь праздновать?

— Как не собираемся, — вскрикнули в один голос, — завтра увидишь! Базары закроются, все амкары в праздничных одеждах на Ванскую площадь придут. Мелик[1] с купцами, тбилисский моурав[2] с нацвали и гзири, весь город пойдет царя поздравить...

— Каждое амкарство по своему ремеслу подарки понесет...

— Впереди каждого амкарства собственное знамя, а потом на бархатных носилках подарки... Вот наше амкарство белое сафьяновое седло с золотыми звездами приготовило.

— А вы что понесете, подковы? — чуть улыбнулся Али-Баиндур.

— Завтра увидишь, — уклончиво ответил Васо, — вот золотые ряды хвастались золотым рогом, а мастера по костяным изделиям тоже рог сделали из слонового бивня... Неприятное дело вышло.

---

[1] Купеческий староста.

[2] Имеет разное значение, в данном случае — губернатор.

— Дураки, потому неприятное, — самодовольно покачал головою Нико.

— Дураки? А вот обувщики белые сафьяновые цаги с золотыми звездами завтра царю несут...

— Э, дорогой, мы сговорились...

— А насчет белой одежды для охоты царю тоже сговорились? — ехидно прищурился Васо.

Нико вытаращил глаза.

— Белая, говоришь? Хорошо... Может, папаху тоже белую приготовили, оружие тоже белое, может, буйвола тоже белого поведут?..

Заметив улыбку Баиндура, рассердился.

— А по какому делу, уважаемый князь, приехал?

— Хочу для своего аула седла и подковы закупить.

Амкары быстро переглянулись. Лица покраснели, движения сделались гибче, пальцы беспокойно пощипывали бороды.

— Позволь, высокочтимый князь, ответное угощение поставить.

Опять быстро переглянулись и Васо бросился в другую комнату, где продолжала визжать зурна. Вскоре на столе шипела баранина, появился кувшин с янтарным вином. На медном подносе подали коровий сыр, зелень и горийские яблоки. Амкары наперебой угощали «князя».

— А много у вас, почтенные амкары, готовых седел и уздечек имеется?

— Много, князь, на три тысячи лошадей наберем, а если больше нужно, ждать не заставим. Я староста нашего амкарства, люблю, чтобы кипела работа.

— Я тоже, высокочтимый князь, староста, — вставил Васо. — Подковами Сурамское ущелье наполним и еще на хорошего коня останется...

— А не знаете ли, уважаемые старосты, найдется ли здесь оружие и сукно? Ардонскую конницу думаем вооружить... Беспокойные у нас соседи...

— Оружия не очень много, — покосившись на золотую шашку, ответил Нико, — пищали и сабли на войну взяли, а кинжалы есть. Насчет сукна и шелка купцов спроси... Хурджины кожаные не возьмешь ли, князь? Прошлый месяц хороший товар достали.

— Почему нет, хурджины тоже возьму... Поговорить надо... Где живете?

В комнату вошел толстый духанщик и медленно стал убирать кувшины.

— На улице новостей нет, Пануш?

— Почему нет? Караван с турецким золотом в Метехи едет, много дружинников... Еще вина дать? Шашлык может быть? Только что молодого барашка зарезал...

Но Али-Баиндур быстро встал. Амкары, схватив шапки, бросились за ним на улицу.

Огромный караван верблюдов и лошадей, нагруженных тюками, коваными сундуками, плетеными корзинами в плотном кольце дружинников медленно передвигался по загруженным улицам.

Впереди, сопровождаемый военачальниками, ехал Ярали, сбоку гарцовали азнауры, позади каравана тянулись наставцы во главе с Саакадзе. Твеладцы, держа на перевес копья, замыкали караван.

Выкрикивая приветствия, возбужденные торговцы раздавали фрукты, сладости, табак. Духанщики с бурдючками под мышкой теснились к дружинникам, угощая вином. С плоских крыш звенели даира, песни, летели цветы, шутки, смех...

Али-Баиндур, стоя у дверей духана, прищурясь, измерял глазами тянувшийся караван.

— Веселый наш народ, в Метехи золото везем, а у них праздник, — шутил Ладо.

— А ты по слезам соскучился? — поинтересовался Сагиношвили.

— Дорогой Ладо, спрячь своего коня, зачем огорчать тбилисцев, — хохотал Даутбег.

— От такого коня и чорт заплачет, — серьезно поддакнул Шхиидзе.

— Хорошо вам смеяться, а мой Ладо двух буйволов отдал за этого «зайца», — хохотал с товарищами Саакадзе. Не огорчайся, Ладо, наверно, от царя хорошего коня получишь.

— На что мне другой конь? Разве мой «заяц» от ваших скакунов в сражении отставал? Жаль, не могу подарить ему царскую конюшню.

Ладо не на шутку рассердился.

— Как видно, твой конь не хуже буйволов будет сидеть у тебя на шее, — вздохнул Саакадзе.

— Зато ни один двуногий ишак не посмеет это сделать.

— Смотрите, друзья, мы спорим, а Дато и яблоки ест, и вино пьет, и женщинам глаза на крышу бросает, размахивая арапником, — кричал Вашакошвили.

Пока наставцы перекидывались шутками, а ликующие тбилисцы надрывались в приветствиях, караван, обогнув мост, вползал в железную пасть Метехского замка.

Ржание коней не мешало беседе в маленьком, приветливо окруженном тенистыми акациями, домике старшего конюха Арчила. Георгий и Ладо, выкупавшись в Куре, сидели в чистом платье, с удовольствием поедая обед.

Для наставцев Херхеулидзе отвел отдельное помещение, но Саакадзе, по настоянию Ладо, устроился у Арчила.

— Давай, Арчил, выпьем за здоровье азнаура Саакадзе... Какой хатабала будет в Настави, когда Георгий приедет их господином....

— Никогда я не буду господином, — вспыхнул Саакадзе, — поделю землю и отпущу людей на свободу.

— Хорошее желание, — покачал головой Арчил, — но разве тебе неизвестно, что крестьяне, возведенные в азнаурство, только лично владеют пожалованной землей, а продавать или дарить закон запрещает. Получив от тебя вольную, наставцы лишаются права на свою землю и хозяйство и вынуждены будут пойти к князьям в кабалу. Такая щедрость, дорогой друг, не приносит радости. Нельзя сгонять людей с насиженного места.

— Как, — изумился Георгий, — я не могу распорядиться подарком царя? Тогда что это за подарок.

— Подарок хороший, но пока не получишь в руки царскую грамоту, скрепленную клятвой, не верь в азнаурство.

— Что ты, Арчил, царь при всех обещал! Или слова царя дешевле навоза?

— Нет, зачем? Дороже!

Арчил и Ладо дружно расхохотались.

— Но слова светлейших одну цену с навозом имеют. Впрочем, тебе повезло, Георгий: князья не упустят случая испортить праздник Магаладзе: не только Настави, три имения царя под таким седлом проскачут... А ты, Георгий, не можешь вызвать зависти придворных. Эх, хорошо, когда гордые князья не обращают на нас внимания: значит, до голода и смерти еще далеко...

Георгий задумчиво смотрел на Арчила. На минуту еще сделалось страшно от своего возвышения.

Поздравление и прием подарков от послов Кахии, Гурии, Абхазии, Имеретии, Мингрелии заканчивался, когда Георгий Саакадзе, дружески подталкиваемый Херхеулидзе, вошел в приемный зал.

Огромные свечи, пылающие в оленьих рогах, блестящие костюмы, искры драгоценных камней и оранжевые птицы на потолке ослепляли Георгия. Еще утром изумил его присланный царем в подарок праздничный наряд азнаура. Казались сказочными шарвары из синего тонкого сукна с серебряными галунами, бархатный, цвета вишни, отделанный золотыми позументами короткий куладжи, бледно-желтая шелковая рубашка, нитка золотых бус на шее, серебряный пояс и желтые сафьяновые цаги. Теперь, оглядывая ослепительную роскошь князей, он понял, что одет в платье скромного азнаура. Даже дорогая шашка, подарок Нугзара, не привлекла внимания.

Словно из горных глубин долетело его имя. Качнулись разрисованные стены, дрогнул пол. Тяжело передвигая точно скованные ноги, пробирался Саакадзе сквозь ледяные провалы устремленных на него глаз. Ударил голос царя, белым знаменем развернулся в руках Бортома Шадберишвили пергаментный свиток, мелькали быстрые буквы, сознание ловило слова.

«... царь царей Картлии Георгий X дарует в полное и вечное владение своему крестьянину Георгию Саакадзе за оказанные им на войне услуги грамоту на звание азнаура. Также Георгию Саакадзе жалуется даба Настави со всеми землями, угодьями и крестьянами,

живущими на земле Настави. Дарственную грамоту скрепляю письменной клятвой...

... Кто из адамого рода, царь или царица, великий или малый нарушит эту клятву, на того да прогневится бог, необ'ятный и бесконечный отец, сын и святой дух, да постигнет его проказа гиезия, удавление Иуды, поражение громом Диоскара, трепет Каина, поглощение заживо землею Дофана и Авирона, да заедят его черви подобно Ироду, да сбудутся над ним проклятия сто восьмого псалма и никакими покаянием да не избавится душа его от ада. Аминь».

Я царь Горгий X утвердил.

Мы о христе Картлийский Каталикос Дементий законно утверждаю.

Сие, потомок царей, царевич Луарсаб утвердил.

В год Хроникона 292, от рожд. Христова 1603».

Не прошло и часа, как новые азнауры в праздничной одежде толпились на дворе, нетерпеливо ожидая начала пира. Охваченная беспредельной радостью, молодежь не думала ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне...

За стенами Метехи таинственно жужжал город. Доносились отдаленные звуки зурны, длинные языки факелов облизывали синий воздух.

Предложение Гедеваношвили сократить время игрой «в два удара» встретили дружным хохотом. Сагиношвили ехидно заинтересовался, не получил ли Ростом, как великий полководец, две пары праздничных шарвар, иначе он не рисковал бы остаться голым. Но Дато, стараясь не прикасаться к пыльной стене, уверял, что на царском пиру, одетый или голый Ростом будет одинаково замечен. Шутка понравилась, долго и дружно хохотали, делали разные предположения, но предупрежденные Херхеулидзе, решили явиться на пир, не повредив одежды.

Мимо них прошел разодетый Сандро. Сагиношвили окликнул телохранителя князя Амилахвари, с которым сдружился во время сопровождения каравана.

Сандро, поздоровавшись, предложил пойти с ним на праздник амкаров, где будут танцы, угощение, а его дядя, староста амкарства кожевников, устроит их на лучшие места в шествии масхара[1].

Решив аккуратно вернуться к началу пира, обрадованные азнауры побежали к Арчилу за Георгием, с утра, по мнению Даутбека, похожего на вареную форель.

Затканная звездами темная ночь свисала над багровыми пятнами пылающих факелов. В черных изгибах улиц кружились фантастические толпы. Кабаньи морды скалили острые клыки на ощетинившихся волков, ловкими прыжками барс сбивал с ног рогатого оленя, зайцы с испуганно выкаченными глазами вели на цепи яростно рычащую пантеру. Крылатые кони наскакивали на кривляющихся обезьян, бурый медведь, рыча, дергал за хвост воющих чертей. Двугорбый верблюд нежно прижимался к пятнистой корове, лающая собака и мяукающая кошка вели под руки пронзительно кричащего осла, лев, обнявшись с ягненком, изображали влюбленных, лисицы, виляя хвостом, шныряли между гиенами.

Под исступленный визг зурны, раскатистые удары дапи[2], звон дайры в прыгающих языках факелов раскачивались, плясали, пели, кричали, прощая шутки и вольности.

Ошеломленные наставцы, сначала тесно обнявшись, неслись вперед, увлекаемые общей свалкой, но быстро освоившись, приняли живейшее участие в безудержном весельи.

У аспарезии, в глубине темной калитки, таинственно скрылись Диасамидзе и Гогоришвили. Дато, воспламененный песнями женщин, быстро взобравшись по ковру на крышу, понесся в бешеной лезгинке, обжигая дыханием свою случайную даму.

Саакадзе и «князь» Али-Баиндур, подружившись у старосты кожевников, развлекались выдергиванием у пищавшей лисицы хвоста. Гедеваношвили, Сандро и Шаликошвили качали дико воющего чорта.

Сагиношвили, увлеченный обезьянами, хохотал на всю улицу, но радость испор-

[1] Шут, шутовство.
[2] В виде барабана.

тил кусок яблока, запущенный в него облезлой коровой. Сагиношвили, размахнувшись, отпустил увесистую пощечину неучтивому животному, но корова не преминула боднуть его в бок.

Под мяуканье и рычание разгорелся поединок. Крики Гедиваношвили и Сандро, звавших Дмитрия, тонули в общем исступлении и ярости Сагиношвили.

Кавтарадзе резко оборвал танец и впился острым взглядом в стройного чубукчи, кичившегося придворной одеждой. Окружающие восторгались чубукчи, искусно подражавшим женскому голосу. Заметив пристальный взгляд Кавтарадзе, чубукчи проворно сполз с крыши. Дато змеей скользнул за ним.

Напрасно подбежавшие Ростом и Сандро старались разнять сильные пальцы.

— Задушу, — исступленно кричал Дато, — проклятый вор, лучше отдай браслет, я узнал твой липкий голос... Презренный, ты позавидовал подарку царицы, ты заманул меня в компанию качаги... за...

Сандро, усмехнувшись, на ухо посоветовал Дато, во избежание больших неприятностей, оставить в покое любимого слугу Шадимана, тем более настало время возвратиться в замок.

Дато, с презрением плюнув в лицо чубукчи, стал ожесточенно протискиваться с друзьями сквозь кривляющиеся маски.

В комнате азнауров их встретили уже собравшиеся наставцы. Отсутствовал только Дмитрий. Взволнованные друзья решили отправиться на поиски, но вдруг дверь широко распахнулась и в комнату стрелой влетел Сагиношвили. На нем клочьями висела изодранная одежда.

Все остолбенели.

Оглушительный удар серебряного колокола привел друзей еще в большее замешательство. Дато с проклятием помчался к Херхеулидзе выпрашивать «ослиной голове» новую одежду.

Вскоре наставские азнауры под гордым предводительством Сагиношвили поднимались по дворцовой лестнице.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

У рассеченного молнией дуба, обогряющего листьями разветвление Тваладской дороги, Саакадзе, Сагиношвили, Гедеваношвили, Кавтарадзе и Ладо свернули к Наставн...

Под звонкими копытами пронеслись крутые повороты Гостибекского ущелья и навстречу первому дыму близкого Настави взлетели пять лихих папах.

Дато, нетерпеливо поводя плечами, мечтал о встрече с красавицами в пылающих лентах, с острыми глазами, возбуждающими радость, о первой лезгинке тут же на дороге при в'езде в Настави под бешенство сазандари.

Сагиношвили вздыхал об уничтоженном без него вине, на что Ладо утешительно похлопывал по трясущемуся сбоку в хуржине бурдюку.

Ростом досадовал на болтливость Диасамидзе, после которого нечем будет удивить даже ребенка.

Георгий предлагал отцов новых азнауров подбросить до верхушки острого камня. Сагиношвили одобрил, но требовал для деда равных почестей, так как дед и отец его весят вместе столько, сколько один Вано Кавтарадзе.

Ростом считал необходимым дядю Бежана посадить на украшенного зеленью коня и с зурной проводить до дома.

Ладо категорически протестовал, не надо никого выделять, лучше всех отцов напоить вином и пусть каждый добирается домой, как сможет. Смеясь и предугадывая встречу, натягивая повода, спускались наставцы к долине, наполненной солнцем. Но действительность обманула их; они широко раскрыли глаза и рты.

В безмолвной тишине все Настави от стариков до детей гвоздями торчали по обеим сторонам дороги.

Священник в торжественном облачении с выпуклыми ангелочками на скучной голубой парче, с плоской иконой Георгия Победоносца, взлетающего на полустертом коне к потускневшим звездам, с дутым серебряным крестом, выдвинутым навстречу под'езжающим, стоял впереди. Около него, изогнувшись, приторно стояли нацвали, гзири с дружинниками, старшие и младшие надсмотрщики. Позади, у груды камней, в стороне от всех, испуганно жался поселок кма.

Азнауры хотели броситься к родным, но тень властно поднятого креста пересекла дорогу. Потекла проповедь о покорности новому господину, удостоенному великой царской милости. Саакадзе нетерпеливо повел глазами и увидел на возвышенном месте Тэкле и мать, окруженных женами священника, гзири, нацвали, сборщиков. Тэкле восторженно смотрела на брата, а Маро, подавленная вниманием людей, еще вчера не удостаивавших ее ответным поклоном, робко смахивала слезы, мешавшие ясно видеть сына. Праздничный костюм Бежана широко свисал лишними складками. Осторожные пальцы застыли на новой шапке. Он боялся повернуться, боялся зацепить длинным кинжалом белую чеху нацвали.

— Что это такое? — с недоумением прошептал Георгий.

— Не видишь, ишаки встречу тебе устроили, — умышленно зевнул Ладо.

Георгий оглянулся на товарищей.

Сагиношвили, сдерживая смех, проговорил:

— Кушай на здоровье, Георгий.

— Убирайся к шайтану в кисет, — огрызнулся Саакадзе.

Взмыленные кони сердито раздували ноздри.

— Если священник через «полтора часа» не кончит, я на него коня пущу, — яростно кусал губы Дмитрий.

Только Ростом молчал.

— Саакадзе — владетель Настави, — вдруг понял он, — а родные азнауров — собственность Георгия.

Ростом покосился на товарища, но кроме недоумения ничего не увидел.

...— А под ветвями чинара Нино, «золотая Нино», — радостно вздохнул Георгий, — но почему опущены ресницы? А вот дядя Датуна, сегодня же обрадую табаком, но что с ним, почему горбится? А вот отец Дато, дядя Вано, тоже печальный, несчастье какое случилось или не рады нам?

Георгий быстро оглянулся на шопот Ростома и Дато. Друзья умолкли, избегая его взгляда.

Ладо гневно вытер затылок синим платком.

— С ума что ли сошел? Люди с родными хотят поздороваться, а он, серебряный чорт, о покорности на жаре говорит. Совести в нем нет.

Услышал ли священник шопот или взор Кето напомнил ему сказанное об аде, но он поднял крест. Молодежь двинулась вперед. Священник строго оглянулся, подошел к Саакадзе и, благословив Георгия, кротко попросил быть снисходительным господином, так как перед богом все равны.

Георгий выслушал священника, стиснув зубы. Мгновение и Тэкле сидела на крепкой руке, а счастливая Маро, приподнявшись, старалась достать лицо сына.

Бежан, как приросший, стоял между нацвали и старшим сборщиком. Пятки у него горели, он не смел двинуться, длинный кинжал, как на зло, цеплялся за белую чеху нацвали. Наконец, Георгий выручил отца.

Священник недоуменно переглянулся с гзири и нацвали, те презрительно пожали плечами. Саакадзе не только не ответил на торжественную проповедь, но даже не поблагодарил за встречу.

Саакадзе поспешил поздороваться с наставцами, но перед ним все расступались и склонялись.

— Что это значит? — изумился Георгий.

Ему не ответили. Низко кланялись, топтались на месте, снимали папахи.

— Дядя Вано, будь здоров!

— Будь здоров, Георгий, — смущенно ответил Кавтарадзе. — Что ж, поздравляю, повезло тебе... Вот мой Дато тоже азнаур...

Он замялся и как-то неловко зашел за чью-то спину.

— Что с ними случилось, — тоскливо оглянулся Георгий. — Где та радостная встреча, о которой мечтали на Негойских высотах?

Оглянулся.

Товарищи, окруженные родными, не замечали его.

Подошел Элизбар Таткиридзе. Рот кривился улыбкой, перевязанная рука беспокойно двигалась на груди. Обрадованный Георгий бросился к нему и, обняв, горячо поцеловал.

Элизбар, повеселев, радостно крикнул:

— Э, Георгий, ты такой же друг остался. Спасибо, не забыл в царском списке Элизбара... А мне вот руку вонючей травой перевязывают. Отстал от вас, жаль, на метехский пир не попал... Говорят, царь без тебя жить не может, скоро в князья пожалует... Теперь неинтересно нас видеть...

— Тебе, Элизбар, руку или голову вонючей травой перевязывают? Дороже всего мне родные и товарищи.

И добавил тише:

— Приходи, Элизбар, поговорим. Что тут случилось?

Дед Сагиношвили тяжело опираясь на палку, подошел к Георгию, поклонившись, почтительно произнес:

— Отпусти, господин, домой, с утра народ томится, гзири согнал тебя встречать, устали...

Побагровел Георгий, нагайка хрустнула в пальцах... Сорвавшись, он схватил Тэкле, за ним, едва поспевая, бежали Маро и Бежан. Народ, облегченно вздохнув, поспешно расходился.

В сакле в глаза Георгию бросилось изобилие еды. Груды всевозможных яств скрыли скатерть. На большом подносе скалил зубы зажаренный барашек.

— Старший сборщик прислал, — пояснила Маро, уловив недоуменный взгляд сына, — а жареную индейку нацвали. Сладкое тесто с вареньем жена священника приготовила, а гзири бурдюк вина сам принес, а вот блюдо гозинаки подарок надсмотрщика... Что случилось, сын мой? Неужели правду говорят, царь тебе Настави подарил...

— Правда, моя мама... но что здесь случилось? Почему народ на себя не похож?

Маро не успела ответить. Ожесточенно ругаясь, вошел Ладо.

— Хороший праздник, бросил коня и убежал. Конечно, Ладо двоих может таскать. Хотел заставить пузатого нацвали привести коней, да боялся — зайдет в саклю, — обед станет кислым. О, о, о... Маро молодец, сколько наготовила. Ну-ка, Георгий, покажем азнаурский аппетит.

— Уж показали... Видел, как встретили?

— А ты думал целоваться с тобой полезут? Разве ишаки обязаны думать? Подошла ко мне старуха Черадзе, согнулась кошкой: «Попроси господина оставить нам двух баранов, говорят, все будет отнимать». Хорошее слово у меня на языке танцовало жаль не дали женского уха.

— Что ты ей ответил? — робко спросила Маро.

— Ответил? Хорошо ответил, ночь спать не будет.

Ладо расхохотался.

— Решил, говорю, новый господин Настави, азнаур Георгий Саакадзе, у всех мужчин головы обрить, пусть так ходят... Знаешь, Георгий, поверила: побледнела, зашаталась, долго крестилась, теперь по дабе Настави новость разносит.

— Это, друг, совсем не смешно, — задумчиво произнес Георгий.

— Э, дорогой, брось думать, давай лучше запьем грузинской водой царский барашек... Маро, признайся, откуда разбогатела? Бывшее начальство прислало, да?

Ладо хохотал.

— Подожди, Маро, еще многое вытрусят разжиревшие воры... Тэкле, не смотри скучной лисицей, азнаур Ладо не забыл для тебя подарков. Подожди, покушаем, увидишь. Мы с Георгием весь Тбилисский майдан запрятали в хуржины и три праздничные одежды, полученные Георгием от царя, тоже сюда поместились.

— Дорогой большой брат, потом покушаешь, раньше покажи подарки.

Тэкле обвилась вокруг шеи Георгия, и он только в этот момент почувствовал нахлынувшую радость. Из развязанных хуржин выплеснулся ворох разноцветных шелковых лент, кашемир разных цветов, зеленые и красные стеклянные бусы и мешок со сладостями. Маро, довольная, разглядывала синий шелк, бархатный тасаграй и тонкий личак. Бежан тут же примерил полный праздничный костюм и любовался кисетом с дорогим табаком.

Подарки Ладо ослепили Тэкле. Полный платок сладких петушков и полосатых сахарных палочек соперничали с

колечком с голубым камешком. В проворных зубах рассыпался оранжевый петушок.

Серебряный браслет и булавку с бирюзой для тасаграя Маро после тысячи восклицаний тщательно спрятала в стенном шкафу.

Бежан, напевая песенку о чудной жизни азнауров, набил табаком трубку из слоновой кости.

Но Ладо не забыл и других друзей: один набитый хуржини остался неразвязанным. Яркие ленты, бусы, сережки и сладости ждали детей деревни. Ладо предвкушал радость детей при виде сладкого петушка, куска халвы или ленты.

Маро, опьяненная, ходила около сына, точно не веря своему счастью, касалась черных волос, руки, лица. Бежан, ошеломленный, в пятнадцатый раз перекладывал одежду сына и не мог по вкусу примостить на стене шашку Нугзара. Тэкле носилась по комнате, успела разбить глиняный кувшин и перемеряла на голове все ленты.

Поздняя луна холодными бликами расплескалась по Настави, качалась по каменным стенам, кольнула глаза Георгия. Тихо встал. Протяжно зевнула дверь. Тартун одобрительно постучал хвостом. Георгий бесцельно постоял над ним и вышел на улицу.

— Я, кажется, им ничего не сделал, а, может, обиделись за принужденную встречу? Конечно, обиделись, завтра выяснится и мы посмеемся над глупостью гзири.

Георгий широко вдохнул ночную прохладу. Осторожно ступая, брел он по закоулкам близкого его сердцу Настави. Взбудораженные мысли теснили голову. Действительность принимала уродливые очертания. Кто-то заглушенно рыдал.

— Нино, — осознал Георгий и увидел на крыше согнутую фигуру. Нино испуганно метнулась в сторону. Длинная тень замерла у ее ног, и Георгий властно схватил беспомощную руку.

— «Буду ждать тебя вечно» — не твои ли эти слова или шумный ветер турецких сабель надул в уши пустые мысли о золотой Нино?

— Нет, Георгий, вся моя жизнь в данном обещании, но кто мог предвидеть такое возвышение? Разве дело азнаура, владетеля Настави, думать о дочери своего пастуха? Нино всегда была беднее других девушек, но глупостью никогда не страдала.

— Подожди, Нино, почему мое возвышение должно вызывать в любимых людях слезы? Ты первая должна была встретить меня с песней, чем я заслужил твою скорбь?

— Скорбь от предчувствия... Твое возвышение, Георгий, мое падение. Какими руками достать тебя?

— Никогда, Нино, не говори так, — задумчиво произнес Георгий. — Иначе, правда, могу разлюбить. Ничего не могу сделать с собою, не люблю рабские души. Будь тверда, если хочешь моей любви.

— Слушай, Георгий, и на всю жизнь запомни слова твоей Нино, да, твоей... Мое сердце для другого не забьется... Георгий, ты солнце, воздух, только тобою буду дышать до последнего часа. Но ты не знаешь, у каждого человека своя судьба, пусть случится предначертанное богом... Не сопротивляйся, Георгий, и не думай обо мне.

— Нет, только о моей Нино буду думать, сейчас дадим клятву друг другу в верности. Я кля...

— Постой, Георгий, не клянись. Прими мою клятву, а сам не клянись... Я верю тебе и, если угодно богу, Нино будет счастлива... Клянусь святым Георгием, будешь ли моим мужем или нет, никогда рука другого не коснется меня, сердце не забьется для другого, мысль не остановится на другом и до конца жизни только тебя, Георгий, будут видеть мои глаза... Ты же свободен во всем... Ничто не изменит моей клятвы...

— Хорошо, я клясться и говорить не буду, но Нино мою никому не отдам. Пусть никогда не плачут эти глаза.

— Ты больше не услышишь плача Нино.

В расширенных зрачках всколыхнулись зеленые огни. Сжались руки, испуганной птицей забилось сердце.

Глубокая чаша опрокинула голубой воздух. Растаяли острые звезды. У плет-

ня, почесываясь, закряхтел дед Сагиношвили. Георгий и Нино, душась смехом, быстро скатились с земляной крыши.

В просторной сакле Вано Кавтарадзе с утра собрались отцы новых азнауров. Вопрос был важный, необходимо до появления Георгия на улицу вынести решение.

На предложение отца пойти взглянуть — не поднялась ли вода в Кавтури, Дато пожал плечами и, взяв папаху, зашагал к Сагиношвили, где собравшиеся друзья обсуждали вчерашнее событие.

...Некоторых по дружбе и так отпустит.

— Отпустит? С твоим внуком он дружен, может, тебя и отпустит, на что ему старики...

— С твоим сыном, Вано, тоже дружен, — не сдавался дед Сагиношвили.

— О нас нечего думать. Дато уедет, Амши — богатая деревня... Родителям царь грамоты не дал!.. Вот у меня: я работал, пять сыновей работали, два кма работали, жена работала, две дочки — красавицы будут — с птицей возились... Зачем ему дарить? Шесть коров имею и буйвола, у каждого сына лошадь на конюшне, двадцать баранов, четыре козы, пчел много! Все своими руками нажил, а теперь уходи? Какое сердце должен иметь, чтобы уйти!?

— Мой Дмитрий говорит, Георгий всех отпустить...

— Э, отец, конечно, отпустит, ступай, куда хочешь, а хозяйство?

— Дмитрий дурак, думает, на него похожи друзья.

Отец Сагиношвили сокрушенно махнул рукой.

— Вот мой Элизбар тоже дурак, — вздохнул Таткиридзе, — вчера его Георгий в гости звал. Сегодня побежал, а Бежан в саклю не пустил — «спит еще мой азнаур»... Давно ли за навозом ко мне бегал, а теперь сына в саклю не пускает... Эх, плохо, когда свой господином становится... Что теперь будет? У меня тоже три коровы, желтая отелиться должна, четыре буйвола, овцы есть, лошади тоже... птицы много... Жена индюшек любит, двадцать пар выкормила! Землю хорошую царь Элизбару отвел, речка рядом шумит, лес густой, поле удобное, но что на голой земле делать? Даже сакли нет... Придется здесь оставаться, а Георгия упросить надел в аренду взять...

— Я тоже так думал, а мой Шалико слышать не хочет, — вздохнул Диасамидзе, — поедем на новую землю, саклю выстроим, а что делать с голой саклей без хозяйства?

— Поедем?! А разве тебе царь тоже вольную дал? Разве твой Шалико не знает, он один вольный, а все его родные — собственность Георгия, — волновался Гогоришвили. — Я согласен уйти, Даудбеку сто марчили царь подарил, как-нибудь устроимся. Лучше на голой земле, да свободным быть, семья наша небольшая... Но разве отпустит?

— Хорошо иногда о свободе думать, — с досадой сплюнул Гедевановшвили. — У тебя почти хозяйства нет. Одна корова и шесть хвостатых овец — большое богатство! У меня после Вано первое хозяйство: пять коров имею, теленок растет, три коня, как ветер, пятнадцать курдючных овец, пятьдесят кур имеритинской породы, двадцать гусей! Какой огород сделал, канавы провел, три кма имею, — все это бросай и на голую землю иди!? Если даже отпустит, не пойду.

— Человек всегда жадный. Вот Вано не на голую землю, а уходить не хочет. Амша — богатая деревня, можно скот набрать. Саклю хорошую взять, почему не уходить?

Гогоришвили нервно выбил из трубки пепел.

— Пусть свободу даст, сейчас уйду с семьей, — повторил он страстно.

— Подожди накушаешься еще свободой! У Георгия всегда твердый характер был... А в Амши не пойду! Зачем свое бросать, а чужое отнимать? Пусть сыну подать платят, сколько следует, а мне чужое не надо, свое имею, — спокойно говорил Кавтарадзе.

— Да, Вано, Дато подать получит, у него будет чем азнаурство поддерживать, а мы что должны делать? Как сына держать? — вздохнул Гедевановшвили.

Это обстоятельство еще больше усилило плохое настроение. Как отцы не спорили, как не решали, все получалось

плохо. Царским крестьянам жилось лучше княжеских, но крестьянам мелкого азнаура приходилось впрягаться в ярмо для поддержания азнаурского достоинства. Не найдя выхода, порешили отдаться на божью волю и уныло разошлись по домам.

Озадачена была и молодежь. В Тбилиси не задумывались над случившимся, но теперь растерялись. Как действовать дальше, как держаться с главарем неразрывной «дружины барсов», которому царь отдал в руки судьбу родных. Только Сагиношвили возмущался странным отношением к Георгию.

— Катры, — горячился Дмитрий, — не знаете Георгия. Какой был, таким и останется.

— Ты не понимаешь, Дмитрий, у тебя прямой характер. Мы сами должны облегчить действия Георгия. Стесненный дружбой, он не сможет поступить с нашими родными, как, наверно, уже решил. Выйдет, мы задабривали его.

— Плевать хотел на богатство Бежана, — возмутился Даутбек. — Мне отца жаль, заплакал, думал — ему царь вольную дал... За сто марчили выкуплю отца, уйдем, пусть мать и сестра пока останутся. Половину земли в аренду сдам, вот азнаур Качибадзе уже предлагает за обработку другой половины. Урожай снимем, продадим, мать и сестру выкупим, а зимой охотой можно жить, говорят, зайцев много.

— Счастливый Даутбек, отца гордого имеешь, — сокрушенно покачал головой Дато — я сегодня со своим поссорился: в Амшу без хозяйства уходить не хочет. У нас деньги есть, больше трехсот марчили набрали. Кма продать — все семейство выкупить можно, а там подать, сейчас как раз сбор идет, отец каждый день в Амшу ездит... Что еще надо? А вот не уходит, как поступить — не знаю.

— Ростом прав, — прервал неловкое молчание Диасамидзе, — не будем мешать Георгию, уедем к Дато в Амшу на несколько дней.

— А я говорю, вы изменники, в такое время бросать друга, — горячился Сагиношвили, — можете ехать хоть к...., а я сейчас пойду к Георгию.

— Иди, иди, — расхохотался Гогоришвили, — вот Элизбар первый хотел представиться господину Настави, даже в саклю не пустили. Так и ушел, не увидев владетеля.

— Бежан саклю не успел починить, может, потому не пустили, — серьезно добавил Шалико.

Сагиношвили с изумлением смотрел на друзей.

— Поедем, Дмитрий, с нами. Что делать? Положение меняет людей. Георгий лучше других, но зачем заискивать? А если ты один останешься, смеяться будут: Дмитрий хорошо свое дело делает, — убеждал Кавтарадзе.

— Голову вместе с шапкой оторву, кто про меня так скажет, — вскочил Дмитрий, — едем, пусть подавится Настави... Первый к нам придет.

— Вот слова настоящего азнаура, — рассмеялся довольный Ростом.

Через полчаса, точно гонимые врагами, взмахивая нагайками, бешено мчались в Амшу молчаливые всадники.

Георгий не сразу узнал голос отца. Сдернул с головы бурку, оглядел пустую комнату. Говорили у наружных дверей. Он не верил своим ушам. Приподнялся на тахте, крепко потер лицо, от изумления крик застрял в горле.

...— Зачем беспокоитесь, сборщик знает, сколько у кого можно взять. Правда, первое время больше возьмем. Раньше саклю хотел чинить, теперь новую будем строить. Кма много, пусть работают. Около церкви думаю строить... Вот Кавтарадзе лес заготовили, возьмем его, пусть новый у сына в Амше достанет. Скоро зима, мы ждать не можем.

Голос у Бежана был твердый, уверенный, с легким презрением к говорящему.

— Кавтарадзе богатые, у них всего много, а мы, ты ведь знаешь Бежан, все сборщик отнимал, — плакался другой, — две овцы остались, если заберете...

— Скучно тебя слушать, Захария. На сборщика жалуетесь, а сами в подвалах и ямах сыр прячете... Меня не обманете, сам обойду. Что полагается господину — надо отдавать... Каждому его доля будет выдаваться... Сколько наработа-

ешь, столько и получишь... Что тебе, Кето?

— Вот, дядя Бежан, ты велел белый мед принести, все собрали... Богом клянусь, больше нет...

— Один кувшин?! По-твоему выходит дядя Бежан совсем дурак. Убирайся отсюда. Сборщик знает, как надо учить вас.

Ошеломленный Георгий с трудом поднялся, хлопнул дверью и застыл на пороге. Кухня была завалена: грудами лежали резаная птица, молочные поросята, свежий сыр, взбитое масло, упругие фрукты.

С шумом распахнулась дверь, Георгий вышел на двор. Худенький старик с проворностью ребенка выскочил на улицу и скрылся за углом дома. Георгий смотрел во все глаза на отца. Одетый в праздничный костюм, с белой дымящейся трубкой в зубах, с затуманенными глазами, он был опьянен счастьем и властью.

Георгий понял: разговором делу не поможешь, надо немедленно что-то предпринять, на что-то решиться, но взволнованные мысли не находили выхода.

— Где мать и Тэкле?

— Жена гзири за ними пришла, ее девушки платье для Маро и Тэкле шьют, синее шелковое, твой подарок... Мерять пошли... Долго спал, дорогой. Маро не хотела уходить, ждала, когда проснешься, но жена гзири сказала, иначе к воскресенью готово не будет... В воскресенье о твоем здоровьи молебствие отслужит священник, потом к нему обедать пойдем, — захлебывался от радости Бежан.

— Где Ладо?

— Ладо с утра сердитый был, детей ждал, а кто посмеет у дома азнаура крик поднимать?.. Ушел... Куда же ты? Все приготовлено в саду, Маро сейчас придет... За двумя кма послал, пусть работают — Маро трудно одной...

Упоенный, он продолжал говорить, не заметив, как Георгий широко зашагал по необычно пустым улицам...

— Уехал? — переспросил Георгий деда Сагиношвили, — куда уехал?

Но ни дед, ни родители остальных друзей не знали, куда ускакали сыновья. Особенно поразил Георгия дом Кавтарадзе, где он любил бывать. При его появлении семья разбежалась, в доме поднялась суматоха... Гораздо позже Георгий понял: прятали ковры и другие вещи.

Вано вышел к нему, долго кланялся, просил азнаура оказать честь войти в дом.

— Что ты, дадя Вано, точно первый раз меня видишь. Как живешь, здоровы у тебя?

— Здоровы... Только плохо в этом году, война была, много сборщик взял... Семья большая, не знаю, как зиму будем.

— Не беспокойся, дядя Вано, проживем.

Георгий удивился. Кавтарадзе никогда не жаловались. Сборщики, дружившие с богатыми, получали щедрые подарки и облагали их гораздо меньше бедняков.

Хуже дело обстояло у Гогоришвили. Всегда радостно его встречавшие они вышли к Георгию с каменными лицами.

— Хозяйство свое пришел проверять? Не беспокойся, ничего не скроем, — холодно сказала мать Даутбека.

Саакадзе посмотрел на них и молча вышел на улицу.

У дверей большой сакли стояла с прялкой бабо Кетеван. Она когда-то дружила с бабо Зара.

Георгий безотчетно, как и в детстве, подошел к ней.

— Бабо Кетеван, дай яблоко.

Кетеван засмеялась.

— Только за яблоки бабо помнишь? У, лезгин...

Бурча, зашла в комнату и быстро вернулась, держа в руках золотой ранет.

— На, Тэкле половину отдай.

Георгий засмеялся: в течение шести лет бабо Кетеван повторяла одно и то же. Он разломил яблоко и предложил бабо самой выбрать половину для Тэкле. Кетеван испытующе посмотрела и, вздохнув, сказала:

— Одинаковые, ешь, какую хочешь.

Георгий с наслаждением вонзил крепкие зубы в рассыпчатую мякоть.

Из сакли выбежала молодая женщина, за нею, шлепая чувяками, вытянул ис-

пуганное лицо мужчина. Женщина резко оттолкнула старуху.

— Из ума выжила, — прошипела женщина, — войди, господин, в дом, хоть весь сад возьми, твое...

Георгий посмотрел на женщину. Мелькнули пройденные годы: вот она под смех соседей выгнав его из сада, с палкой преследует по улице. Недоеденное яблоко упало на дорогу...

Маро, расстроенная, встретила Георгия. Не все ли равно, в каком платье помолиться за такого сына?.

Георгий нежно обнял мать. Она заплакала.

— Нехорошо, Георгий, Ладо из дома убежал, ты голодным ходишь. Соседи прячутся, никто поздравить не пришел... Первые кланяются. Жены гзири, надсмотрщика, нацвали проходу не дают, вертят лисьими хвостами. Где раньше были?..

— Что-то надо сделать, — стучало в голове Георгия.

Бежан рассердился.

— С ума сошла! Горе большое! Есть о чем плакать. Соседи первыми кланяются? Пусть кланяются. Раньше перед всеми голову гнул, теперь пусть жирный Кавтарадзе немного буйволиную шею согнет, и Гедеваношвили тоже пусть кланяется, и гзири тоже, и нацвали... Пусть все кланяются владетелям Настави.

— Когда от доброго сердца кланяются, ничего, а когда завидуют, ненавидят, боятся, такой поклон хуже вражды, — сокрушалась Маро. — Пойдем, Георгий, в сад, там кушанье приготовлено... Два кма пришли работать, мать и сын... Вот самой делать нечего. Бежан велел, — добавила она виновато.

В саду под диким каштаном с еще неопавшими листьями стояли из грубо сколоченных досок узкий стол и скамьи. Георгий с отвращением оглядел явства, обильно расставленные на цветном полотне. Заметив опечаленное лицо матери, молча сел.

— Гзири не отпустили Тэкле, оставили играть с их детьми, потом приведут, — отрывисто говорила Маро.

Бежан самодовольно, с жадностью поедал все, на что натыкался глаз.

Хлопнула дверь сакли, в сад вошел Ладо. Георгий быстро поднял и также быстро опустил голову.

Ладо молча подошел, сел, вынул трубку, молча набил и закурил.

Бежан, без умолку говоривший, налил вино и хвастливо заявил:

— Нацвали большой бурдюк в подарок прислал.

Ладо молча продолжал курить.

— Сейчас горячий шашлык будет, — захлебывался Бежан. — Эй, Дарче!

Подбежал изнуренный мальчик. Бесцветные лохмотья едва прикрывали коричневое тело. Он согнул голову, точно готовясь принять удар.

— Шашлык принеси, дурак, и скажи матери, пусть еще два шампура сделает.

Мальчик, стремглав, побежал обратно.

Георгий посмотрел на Ладо, но тот, как истукан, продолжал молча курить.

Злоба росла, давила, кулаки сжимались, глаза застилал туман.

Прибежал Дарче, на глиняном блюде шипел шашлык. Глаза Дарче безумно блуждали, в углах рта пузырилась голодная слюна. Он дрожащими руками поставил блюдо перед Бежаном.

Георгий взглянул на мальчика.

— Садись, ешь!

Дарче непонимающе мигал глазами.

— Ешь, говорю! — стукнул кулаком Георгий.

Посуда подпрыгнула, расплескивая и разбрызгивая содержимое. Бежан кинулся поднимать опрокинувшийся кувшин. Дарче, полумертвый, упал на скамью. Георгий подвинул ему блюдо с шашлыком.

— Ешь, пока сыт не будешь!

Дарче взял кусок мяса, от страха пальцы никак не попадали в рот.

— Добавь для смелости вина, Георгий, — повеселел Ладо.

— Это вино слишком дорогое для кма, — обиделся Бежан.

Георгий не ответив, налил в чашу вино и подвинул к Дарче.

— А, ну, покажи, мужчиной растешь или собакой, — сказал Георгий.

Дарче, стуча зубами, расплескивая половину, поспешными, неправильными глотками опорожнил чашу.

— Молодец, — подбодрил Ладо, — завтра две выпьешь.

Бежан брезгливо косился на испуганного, жадно глотающего мясо Дарче.

— Не надо сразу много, заболеет, — вздохнула Маро, решительно отодвинув блюдо. — Будешь сыт у нас и одежду завтра найду... Мать тоже сейчас кушает, — добавила она, — угадывая мысли сына.

— Большая у вас семья, Дарче? — спросил Георгий.

— Нет, господин. Отец, мать, еще два брата есть и сестра, бабушка тоже есть. Сестра больная, ногами плохо ходит, люди, говорят, от голода. Бабушка тоже не работает, старая, на их долю надсмотрщик не дает, нашу кушают. Нам тоже мало дают, нехватает, а работаем много. У кого все здоровые и работают, тому лучше. Одежду тоже не дают, нашу носят. Пусть носят, лишь бы не умерла сестра, жалко. Одна у нас и очень красивая, господин, только ноги плохо ходят, от голода, говорят...

Мальчик испуганно замолк и вскочил из-за стола.

Маро тихонько вытерла слезы.

— Дарче, ты сколько можешь на себе внести? — спросил Георгий.

— Сколько прикажешь, господин, разве я смею отказываться?!

Георгий рассмеялся.

— Сегодня ты в первый раз выиграл своею покорностью. Видел еду в черной сакле? Все унеси домой. Раз не перетащишь, второй приходи... И чтоб я больше не видел, отец, соседское добро у нас, — вдруг набросился он на отца. — Так разве должен начинать азнаур?

— Стыдно, Бежан, — подхватил Ладо, — от людей стыдно... Иди, Дарче, исполни приказание господина. Постой, возьми мою лошадь и хуржини. Завтра приходи. А мать пусть домой идет, если сестра больная, дома работать некому... Другую женщину, здоровую, приведи... Не терплю, когда шашлык слезами пахнет... Завтра на коне вернешься, смотри, на ночь саман не забудь дать.

Мальчик, слегка пошатываясь от вина, радостно направился к сакле. Маро, улыбаясь сыну, поспешила за ним.

— Значит, опять голодными будем сидеть? Какой ты господин, если у тебя пустая сакля и презренный кма домой тащит лучшую еду? Думаешь, спасибо тебе скажут? Много о нас думали? Сухой палки никто не дал. Смотри, какой амбар у надсмотрщика, сборщика, а ты, владелец Настави, с пустыми подвалами... Над кем люди смеяться будут, не знаю... Думал, к старости бог счастье послал, — заплакал вдруг Бежан.

— Не плачь, отец, я погорячился... От надсмотрщика и сборщика награбленное заберем, а соседей не трогай. Все тебе доставлю: саклю высокую построим, ковры из Тбилиси привезем, работать больше не будешь. Людей много, накормим, с удовольствием у нас останутся... Эх, отец, хочу, чтоб кругом все смеялось...

— Сын мой, гзири, нацвали и старший сборщик идут, — запыхавшись, проговорила Маро.

Бежан по привычке вскочил, одергивая одежду.

— Садись, отец, пусть сюда придут. Не уходи, Ладо, послушаем, что им надо.

— Всегда Ладо неприятное должен видеть. До сих пор тошнит, так на царском пиру об'елся князьями. Не хотел итти, как пьявки с Арчилом пристали. И теперь, второй день не могу бурдюк открыть. Только хотел притащить, гзири пожаловал... Все равно, что мышь в бурдюк упала.

Гзири, нацвали и старший сборщик, кланяясь, бегло оглядели стол.

— Садитесь, — не вставая, сказал Георгий, — по делу пришли или в гости?

— Как пожелаешь, азнаур, процедил гзири.

— Если по делу, говорите, — точно не расслышал Георгий.

— Как дальше будем? — спросил сборщик, теперь мы твои мсахури... Почти все в Тбилиси отправили, а зима длинная. Конечно, если бы знали о царской милости, задержали бы отправку.

— Неудобно тебе здесь. Пока новую саклю выстроишь, возьми мою, я временно к Кавтарадзе перееду, сегодня приглашал, — сладко пропел нацвали.

— Спасибо, пока здесь поживу... Значит, все в Тбилиси отправили?

— Все, Георгий.

— А почему кма от голода шатаются?

— Они всегда, господин, шатаются, сколько не давай, мало. А умирать не хотят. Сколько стариков, сосчитать страшно, даром хлеб кушают... На всех долю даем.

— А старики мсахури... воздухом живут или долю кма получают? — вспылил Ладо.

— Как можно нас с презренными кма сравнивать, — обиделся нацвали.

— Постой, Ладо... Что же ты предлагаешь, ведь надо зиму народ прокормить.

— Можно, господин, сорок кма продать. Управляющий Магаладзе хорошую цену давал, десять девушек им нужны, тридцать парней. Можно подкормить кма дней десять-пятнадцать, еще дороже возьмем..

— А сколько мсахури за кма можно получить?

— За десять кма одного мсахури, — с гордостью ответил гзири.

— Хорошо, выбери четырех мсахури и продай Магаладзе, — спокойно проговорил Георгий.

Пришедшие опешили.

— Шутишь, господин, зачем продавать мсахури, когда нужны кма... Можно, конечно, не продавать кма, но чем кормить будем?

— Чем до сих пор кормили...

— До сих пор государство кормило... Трудно азнауру сразу такое хозяйство поднять...

— Почему трудно, — перебил сборщик, — можно еще раз обложить деревни. Я с Бежаном говорил, твое слово ждем, весь дом наполним... Если с каждой сакли по две овцы взять, корову, буйвола, долю хлеба уменьшить...

— Пока ничего не делайте, подумаю два дня.

Георгий встал, давая понять, что разговор окончен.

На улице нацвали, гзири и сборщик дали волю накипевшему гневу. Долго плевались. У нацвали брезгливо свисала нижняя губа.

— Не только покушать, по чашке вина не поднес, будто не грузин.

Гзири с ненавистью посмотрел на нацвали.

— Есть о чем говорить. Сейчас видно глехи, мсахур знал бы, как обращаться. Случайного азнаура необходимо научить приличию...

Сборщик таинственно оглянулся.

— Конечно, в Тбилиси ничего не отправлено, надо потихоньку вывезти. Жаль, священник знает, ему придется часть уделить. Завтра воскресенье, народ долго спать будет, ночью арбы отправим.

Гзири хмуро почесал затылок.

— Сразу нельзя, часть в субботу, часть в воскресенье. Люди свои, будто за дровами поедут. Пусть новый владелец попросит от голода народ спасти. Научится с мсахури обращаться, без них чихнуть не сумеет. Все по-старому останется: Георгий в Тбилиси уедет, а Бежан — пустая тыква, как хочешь верти, еще лучше жизнь пойдет...

Обсудив положение, повеселели и, обогнув церковь, постучали в двери священника.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Полбурдюка тбилисского вина не способствовало охлаждению жаркого спора о достоинствах редкого коня.

Ладо горячился.

— Где и когда прославленные скакуны «великих» азнауров обгоняли его «облезлого зайца»?

Георгий добродушно согласился.

— «Заяц», действительно, от страха всегда был впереди.

Ладо обомлел.

К Георгию почти вернулось хорошее настроение. Он целый день не выходил из дома, втайне поджидая друзей.

— Мирян, Нико и Бакур пришли, поговори, Георгий. Люди не понимают, что устал, скажут, от богатства гордый... Поговори, мой сын.

Георгий безнадежно махнул рукой, встал и пошел навстречу трем старикам. Еще издали, сняв шапки, они униженно кланялись.

Георгий нахмурился. Что с наставца-

ми? На людей перестали походить, кланяются, боятся.

Налитые чаши старики приняли от Георгия с благоговением.

— Тысяча пожеланий доброму господину!

Застенчиво вытерли губы, робко топтались на месте. Георгий с трудом уговорил их сесть. Видно не в гости пришли, наставцы, раз так кланяются.

— Ты теперь большой человек, Георгий, от тебя зависим, все твои. Мы понимаем, азнаур должен хорошо жить.

— Вы понимаете, а я ничего не понимаю, что вам всем от меня нужно?

— По совести владей, Георгий. Конечно, от родителей друзей тебе неудобно брать, а почему мы должны отвечать?

— Но разве я уже от вас отбираю?

— Только приехал... Сборщик говорит, будешь брать, дом тебе надо азнаурский держать... Вот Вано Кавтарадзе — первый богач, у него ничего не возьмешь, а у меня возьмешь... От сборщика прятать трудно было, все же прятали, а от тебя ничего не спрячешь, хорошо дорогу знаешь.

— Что вам нужно? Говорю, ничего от вас не беру.

— Хотим по справедливости... Выбраны мы от даба, хотим по справедливости... У Сагиношвили возьми, у Гедеваношвили возьми...

— Я ни у кого брать не хочу, идите домой.

— Первый день не возьмешь, через месяц все отнимешь. Знаем мы... Много кругом азнауров, все так делают, и ты, Георгий, тоже должен так делать, на то ты азнаурство получил.

— На то азнаурство получил, чтобы друзей грабить?

— Друзей не хочешь, а нас можно? Друзья твои сами азнаурами стали, а родители за спины сыновей прячутся, почему мы должны отвечать. По совести бери, Георгий, мы все работаем... По совести просим.

Мирян, Нико и Бакур встали, низко пригнули головы.

Георгий вскочил.

— Идите домой, я ни у кого ничего не возьму.

— Выборные мы, Георгий, от всего Настави выбраны, пока не скажешь, сколько брать будешь, не уйдем.

Взбешенный Георгий бросился в саклю. Свернувшись на тахте, тихо всхлипывала Тэкле.

— Мой большой брат, разве я не азнаурка? Кето говорит — Георгий азнаур, Матарс тоже азнаур, а мы — крестьянки, собственность братьев. Хочу тоже быть азнауркой, буду каждый день ленту менять. Воскресенье одену красную... У меня много лент, даже на постный день есть, коричневая, а крестьянка не смеет наряжаться.

Георгий прижал к себе Тэкле. Только теперь он во всей полноте понял свое положение. Да, конечно, мать, отец и это дорогое дитя — его собственность. Случись с ним плохое — государство снова закабаляет их.

Издалека неслись брань Ладо, скрипучий голос отца и плаксивое причитание стариков. Георгий схватился за голову, — так продолжаться не может, надо обдумать, решить.

...— пока Георгий не скажет, сколько будет брать, не уйдем. Выборные мы...

Георгий выскочил из сакли. Метнулась в сторону сорванная дверь. Грохнул плетень. Пришпоренный конь вихрем помчался через Настави. Брызгами разлетелся Кавтурский брод, скатилась вниз глухая тропа, ветер рвал гриву, о раскаленные подковы стучали камни. Ветер рвал мысли раскаленной головы. Прозвенели слова Арчила, оранжевой птицей взлетела царская грамота... Почему разбежались друзья, прячутся соседи? Мсахури предлагают грабить... Все боятся, дрожат, умоляют...

Свистнул арапник.

Конь бешено мчался через ущелья, камни реки, не поспевая за бушующими мыслями. Сквозь расселины уползало мутное солнце. Гордый джайран застыл на остром выступе, падали прохладные тени. Тише и тише стучали копыта коня...

Георгий выпрямился на седле. Вдали маячили всадники. Рука сжала поводья. Он свернул с дороги, поднялся в гору и неожиданно в'ехал в поселок кма. Приплюснутые грязные сакли угрюмо мол-

чали. Прел навоз — здесь делали кизяки.

— Не нравится у нас, господин?

Георгий быстро обернулся: у крайней сакли стояла стройная девушка.

— Не нравится, — ответил Георгий.

Она тихо засмеялась. Смех больно отозвался в ушах.

— Как зовут тебя?

— Русудан.

— Русудан?!

Георгий вздрогнул. «Охотно принимаю тебя в число моих друзей» — вспомнилась другая Русудан.

— Ты любишь кого-нибудь?

— Люблю.

Девушка рванулась вперед, точно готовясь защитить свое право на чувство.

— Возьми себе в приданое, Русудан!

Георгий бросил кисет с царскими марчили, хлестнул коня и растаял в лиловом мраке.

В хмурую саклю Георгий вернулся возбужденным, счастливым, схватил мать и, несмотря на протесты, долго кружил ее по комнате, похлопал просиявшего отца, пощекотал завизжавшую Тэкле и властно бросил Ладо:

— Я им покажу! Саманные головы!

Ладо сразу повеселел, засуетился, бросился помогать Маро с ужином.

Говорили о пустяках, смеялись каждому случаю, и измученная пережитым сакля заснула крепким сном.

— Господин, господин, — царапал кто-то влажное окно.

Георгий поднялся, приблизил голову. В предрассветном сумраке странно качался Дарче.

— Что тебе, Дарче? — удивился Георгий.

— Выйди, господин, дело есть, — торопливым шопотом звал Дарче.

Георгий бесшумно вышел. Искаженное ужасом, лицо Дарче белым пятном мелькнуло в темноте. Зубы безвольно стучали.

— Господин, хлеб, хлеб увозят. Горе нам, кма с голоду умрут... Горе нам, господин.

— Где увозят? Откуда ты знаешь? Не дрожи так. Никто с голоду не умрет. Садись, говори спокойно.

— Господин, коня хотел привести... Ладо велел. Давно думал на коня сесть, а тут счастье, конь дома... Как все ели, господин, от радости плакали... Сестра говорит — ноги сразу тяжелее стали... А я кушать не мог, конь покоя не дает. А сегодня господин Ладо тоже лошадь дал... Когда совсем ночь пришла, думаю, кругом поеду, как дружинник, с рассветом коня приведу... Только выехал на дорогу, слышу — арбы скрипят. Испугался, господин, соскочил с коня, думаю, поймают на коне господина, плохо будет, спрятал за уступ коня, а сам смотрю... Пять арб зерна повезли нацвали и гзири. Я их узнал, господин... Пять арб хлеба увезли. Горе нам, кма еще доли не получили. Все уже получили, только кма не получили. Сборщик сказал, скоро выдаст и не дает. Орехи в лесу собираем, каштаны варим, больше ничего нет. Долю не выдал, а потом скажет: «Долю задержал, никто не сдох», еще меньше даст. Теперь, господин, умрут кма, в Тбилиси нашу долю вывезли... Теперь все умрем...

Мальчик тихо завыл. Георгий некоторое время молчал, затем похлопал Дарче по плечу.

— Зайди в саклю и ложись спать. Не плачь, все кма двойную долю получат, в Настави голодных не будет больше... Смотри, никому не говори об арбах. Хочешь быть дружинником, научись молчать, и конь у тебя будет.

Распоряжение гзири собраться на церковной площади взволновало наставцев. Окруженный народом, гзири только разводил руками. Рано утром Ладо передал ему приказание Саакадзе. Что задумал возгордившийся глехи, трудно сказать. Даже кма велел собрать. Вчера выборных слушать не хотел, сегодня торжественное молебствие отложил. Священник за народ стал просить, — нахмурился. Такие сведения не утешили. Еще более взволновала дерзость Саакадзе: в церковь он не пришел. Маро, Бежан и Тэкле сияли на почетном месте, — еще бы, всем теперь на голову сядут. Ладо тоже не был в церкви. Первым заметил это Дмитрий Сагиношвили. Его мучила мысль о встрече с Георгием. Утром

друзья ожидали Саакадзе, но он ни к кому не пошел и к себе не звал. Священника сжигало нетерпение, и не успели наставцы перекрестить лба, обедня закончилась и народ повалил на площадь.

Прошло пять минут, потом семь. Гзири куда-то поехал, откуда-то вернулся, никто ничего не знал. Народ волновался, перешептывался, напряжение дошло до крайности.

— Что же он не едет, с ума сошел людей в праздник мучить, — хмурился Дмитрий.

— Едет, едет, — вдруг крикнули на бугорке.

Толпа заколыхалась.

На Георгии гордо сидела одежда, в которой он получил царскую грамоту. Шашка Нугзара предостерегающе сверкала. На окаменевшем лице горели два черных угля. Рядом на своем любимце в азнаурском платье ехал Ладо. Сияющий Дарче, разодетый, гарцовал на подаренном Ладо царском жеребце.

Саакадзе в'ехал в середину круга, осадил коня, оглядел всех, скользнул взглядом по лицам друзей и заговорил властным голосом.

— Когда я возвращался в Наставн, думал иначе с вами встретиться. Но вы сами определили мое место. Хорошо, пусть будет так. Да, с вами говорит господин и он вам покажет умение быть господином... Он вас отучит, мамадзагла, быть рабами... Кавтарадзе, Гедевановшвили, Диасамидзе, Сагиношвили, Гогоришвили, Чхеидзе, Башакошвили, Шаликошвили и Таткиридзе с детьми, женами и стариками отныне вольные, идите, куда хотите. Хозяйство до последней курицы возьмите с собою. Вами нажитое — ваше.

Толпа замерла.

— Кто имеет сакли в наделах сыновей, пусть теперь уходит, мне сакли нужны. Кто не имеет, на одну зиму разрешаю остаться.

Он помолчал. Народ затаил дыхание, ждал. Слышно было, как ласточка пролетела, только азнауры едва сдерживали Дмитрия, рвавшегося к Саакадзе.

— Никому неизвестен завтрашний день, хочу прочно укрепить ваши права, — продолжал Георгий. — Вы знаете, не все в моей власти, не все могу сделать, но возможное сделаю. Глехи и хизан перевожу в мсахури... Потом подумаю, как увеличить благосостояние всех. Ни у кого не собираюсь отбирать, пусть каждый владеет своим добром.

Толпа качнулась, загудела, наваливалась, но Саакадзе поднял руку. Улыбка не тронула окаменелое лицо, стальной голос не гнулся. Он оглядел жалкую толпу кма.

— Кто староста кма, выходи.

Кма дрогнули, сжались.

Седой старик с покорными глазами робко вышел вперед.

— Сколько семейств кма?

— Сорок семейств, господин, сто пятьдесят душ, стариков много. Что делать, не хотят умирать, богу тоже не нужны.

— Стой тут, старик... Крепко запомните, наставцы, в моем владении никогда не будет ни мана, ни кма. С сегодняшнего дня всех мана и кма переписываю в глехи и перевожу в Наставн.

Георгий, сдерживая шарахнувшегося коня, дал утихнуть поднявшейся буре. Слова восторга, недоверия, страха стрелами врывались в гул. Многие кма рыдали, многие упали на землю.

— Кто не хочет жить с моими новыми глехами, может уходить, всем вольную дам...

Площадь затихла. Георгий сверкнул глазами.

— Старик, больных теперь же переведи в Наставн, место найдем, здоровые пусть на зиму сакли починят, весной новые выстроим... Теперь главное... Люди, в Наставн есть предатели. Не успел я принять владение, — уже мое добро воруют.

— Кто, кто ворует?

Толпа угрожающе надвинулась.

— Мое и долю голодных кма... Нацвали, гзири и сборщик — воры: для себя ночью вывезли пять арб зерна...

Взлетели сжатые кулаки, сыпались проклятия, остервенело плевались, бросали папахи, замелькали палки, жалобно причитывали женщины.

— Если через три дня не получу украденное обратно, нацвали, гзири и сборщик с семействами будут проданы Магаладзе.

— Мсахури мы, не кма, почему обращаешься как с собаками? У тебя мы ничего не крали, — исступленно кричал выскочивший вперед гзири. Зерно везли? Кто видел? Пусть выйдет, скажет.

— Раз навсегда запомните: даром слов не бросаю и обратно не беру. Если через три дня арбы с хлебом не вернутся обратно, продам, как сказал... Дядя Датуна, сколько баранов пасешь?

— Теперь, господин...

— Я тебе покажу — господин. Ты что, хурма, мое имя забыл?

Взор метнулся и встретил синие глаза Нино. Теплая волна согрела сердце, чуть порозовели холодные щеки, губы дрогнули.

— Говори, дядя Датуна, сколько царских овец пас?

— Пятьсот пас...

— Пятьсот?! О, о, какой я богатый. Завтра всех на базар пригонишь.

— Георгий, теперь меньше осталось. Нацвали сто взял.

— Сто взял? Что нацвали со мною делиться во всем хочет?

В толпе засмеялись.

— Эй, свяжите воров — нацвали, гзири и сборщика.

Народ не шелохнулся.

Вперед выскочил Дмитрий Сагиношвили.

— Георгий, дай мне воров на полтора часа, прошу, собственные жены их не узнают... Хлеб увозить!? — вдруг исступленно закричал он, — отцы своим потом землю поливают, костями поле удобряют, а воры хлеб увозить будут? Чурек из них для собак сделаю... Окажи любезность, дай на полтора часа...

Толпа расступилась перед священником. Он осенил гудящую площадь крестом.

Народ смолк.

— Георгий, бог дает господину власть над людьми. Господин должен беречь, заботиться о своих людях, а ты что хочешь делать? Нехорошо начинаешь.

— Нехорошо? — загремел Георгий, — ты, отец, о боге говоришь, я богу подчиняюсь... тебе верю, ты к небу ближе стоишь, на греческом языке правду знаешь. Сейчас мы перед лицом не только бога, но и народа. Пусть еще один человек скажет, что нехорошо я начинаю.

— Кто скажет, четвертый вор будет... Прошу тебя, Георгий, дай мне их на полтора часа, — кричал Дмитрий.

— Никто не скажет, отец Симон. «Господин должен заботиться о своих людях», а я что делаю? Тебе люди верят. Почему ни разу не пошел посмотреть, как сорок семейств, благодаря трем ворам, с голоду умирают, почему им не сказал — не по-христиански поступаете?.. А когда воров наказывают, ты заступаешься? Я плохо начинаю, да, может, не плохо кончу.

Георгий выхватил шашку и приподнялся на стременах.

— Клянусь кровавой шашкой рубить головы врагам народа.

Толпа восторженно бросилась вперед.

— Царский нацвали, у тебя ключи от амбаров, сушилен и сараев, где шерсть и шелк? Ладо, возьми ключи, везде стражу поставь, завтра осматривать буду... А сегодня выдай сорока семействам их долю.

Бежан заволновался.

— Сын мой, я тоже с Ладо пойду, хочу видеть, сколько кма получат.

— Для тебя, отец, другое дело найдется, а лучше Ладо никто не знает, сколько человек должен получить... Много буйволов и арб государственных было? Не помнишь? Плохо, нацвали все должен помнить... Отец, выбери людей. Дядю Датуна возьми, пусть он молодым пастухам баранов передаст. Сосчитайте, сколько у меня буйволов, коров, лошадей, овец, свиней и разных птиц, все сосчитайте. Через три дня на базарной площади новым глехам хозяйство раздавать буду, и новым мсахури — кто нуждается — помощь дам. Если дело есть, саклю мою все знают... Самая бедная, на краю Настави стоит...

Саакадзе хлестнул коня и, не оглядываясь, поскакал домой.

Радость и тревога перекатывались по площади. Толпа гудела, недоумевала. Георгий, еще недавно свой, близкий, казался чужим, властным, перевернувшим понятную жизнь. Радовались мсахурству, но пугало возвышение кма.

— Если так пойдет, какая радость от жизни?

— Нацвали, гзири и сборщик сильные были, а что с ними сделал?

— Правда, немного грабили всех, но привыкли к ним, все же сговаривались.

— Теперь новых назначит, может хуже будет.

— Вот, вот, Даутбек к себе их ведет.

— Несчастные!

— Знал Георгий кому в саклю дать.

— Да, давно вражда между Гогоришвили и сборщиком.

— Крепко будет стеречь бедных старик Гогоришвили.

— А кма? Посмотрите, как побежали за Ладо... О, о, Ладо все им отдаст.

— Мы работали, а презренные рабы получат.

— Где правда, где правда?

— А как со священником плохо говорил?

— Совести в нем нет.

— Бог не должен простому человеку такую власть давать...

— Не слушайте, не слушайте, люди, богатые всегда недовольны, даже гзири жалеют.

— Георгий сказал, ничего отнимать не будет.

— Может, даже немного прибавит.

— Конечно, прибавит. Чем мы хуже кма?

— У меня буйвола нет, два барана и куры — все хозяйство.

— Георгий обещал на базаре хозяйство кма раздавать.

— Мы тоже пойдем, пусть нам тоже даст.

— Конечно, мсахури хорошо, но без хозяйства на что мсахури?

— Хозяйство будем просить.

— Кто теперь гзири будет?

— А нацвали? Хорошо кому-нибудь будет.

— Сборщика тоже меняет.

— Надсмотрщика тоже.

— Бежана видели? Как сумасшедший.

— Будешь сумасшедшим!

— Люди, люди, бегите к амбарам, что Ладо делает! Сколько раздает!

— Из кма стражу везде ставит.

— О, о, где раздает?

Все бежали, метались, кричали.

У священника голосили, проклинали, рвали на себе одежду жены арестованных.

У Дато дружина «барсов» думала, спорила, протестовала и под угрозу и брань Сагиношвили пошла к Георгию.

— Бросили?

— И хорошо сделали! Разве ты один не лучше понял? Вот мы целый день, как утки, в вине плавали, три бурдюка выпили, по тебе скучали, но решили не мешать. Как хочешь, так и поступай.

— Выходит, еще вам спасибо должен сказать.

— Конечно, спасибо! Когда человек один, он больше думает, а когда человек думает, он всегда прав.

— Как в пустыне остался, только Ладо рядом. Испугались все, убежали. Князя не боялись бы. Какие вы друзья, если испугались?

— Не испугались, а обрадовались. К князьям народ привык, знает желание князя, а своего не знает. Вот ты, Георгий, вольную нашим родным дал. Не убежали б, тоже дал. Думаешь, приятно было бы твоей добротой пользоваться? А сейчас из-за выгоды ненужных людей на свободу отпустил. Ты думаешь, я тебя не понял? Вот моя семья богатая. Отец умел со сборщиком дружить, его сборщик не грабил. Восемь мужчин работали. Много работали, много имели. Если бы здесь остались, ты бы тоже от наших родных не брал. Какая тебе польза? Землю даром занимают, саклю занимают. Вот уйдем, ты кма сюда возьмешь. Из молодых дружину выберешь верную, как кинжал, из стариков преданных сторожей сделаешь... Скажи, неправду говорю?

Георгий незаметно улыбнулся.

— Правду, Ростом, ты угадал: сто пятьдесят верных людей приобрел, и дружину себе создам, и все должности по хозяйству между ними распределю, а хозяйствами никого не обижу. Настави наше местом радости станет.

— Э, э, Георгий, не очень веселись, будь осторожен, друг. Ты что. один здесь живешь? Разве кругом нет князей, азнауров? Где научился кма в глехи переводить, какой пример для крестьян

даешь? Думаешь, молчать князья будут? Вспомни мое слово, царь с тобою большой разговор поведет.

— Пусть поведет, о своем народе большие новости узнает, Дато. Князей не боюсь, на собственной земле я хозяин, а если мой пример не по душе князьям, еще лучше. За эти дни сто лет прожил... Давно мысли, как маджары[1] бродили, только не понимал, а народ ударил по голове, сразу понял. Точно спал до сих пор, а теперь проснулся и... никогда больше не засну. Значит, правда, кто выше сидит, тому виднее. Если азнаур может дать жизнь одной дабе, сколько может дать полководец?

— У Магаладзе, Георгий, много осчастливленных полководцами.

— Ты не понимаешь, Даутбек, я не о князьях, о народном полководце говорю, а если для народа нужно своему стать князем, он должен стать им... Монахом, разбойником, предателем, — ни от чего не смеет отказываться.

— Не слушай их, Георгий, — вспылил Сагиношвили, — до войны барсами ходили, азнаурские платья надели — буйволами смотрят. Как ты будешь, так и я у себя заведу. Мы тоже не очень бедные. В моем наделе маленькая деревня, десять семейств, все кма, угли для Тбилиси жгут. Черные, как черти. Надсмотрщик мсахури в хорошей сакле живет.

— Я тоже, Георгий, сейчас уйду, отец очень хочет. Только думаю, нехорошо пустые сакли оставлять, трудно тебе сразу будет. Пусть кто уходит, немного хозяйства для новых глехи оставит. Мы сколько сможем, дадим.

— Ты дурак, Даутбек, — горячился Сагиношвили, — я видел твой надел. Даже сакли нет, в разваленном сарае старый кма под циновкой умирает. Это он, Георгий, от гордости уходит, а я отца с семейством отправлю, а с дедом на зиму здесь решил остаться. Время трудное, как можно тебя одного бросить? Вчера им говорил. Спорят... Как же, около княгинь лезгинку протанцевали, сразу царскими советниками стали. Головы от ума распухли. А если по совести поступать, никто на зиму уходить

[1] Молодое вино.

не смеет. Семейства пусть уйдут, а нам здесь дело есть. Или нам вместе больше ничего не суждено?

— Дмитрий прав, — задумчиво произнес Дато, — мы не должны рассыпаться. Пусть семейства выедут. У тебя, Дмитрий, сакля просторная, поместимся. Да, мне кажется, всем часто уезжать придется, а кто здесь останется, помогать будет. Ты как думаешь, Георгий?

— Не знаю, друзья, может, Дмитрий не прав, может, лучше для вас оставить меня. Сейчас мне страшно стало... Может, устал, только чувствую, не остановлюсь, глаза конца не видят, мыслям предела нет. Может, плохо это. Пока не поздно, уходите от меня, лучше для вас.

— Нам, Георгий, не пристало у мангала чулки сушить. Или вместе на гору, или в пропасть вместе, — весело сказал Элизбар.

— Еще день, еще ночь жужжит взбудораженное Настави. Забыли еду, забыли сон. Ошалело мечутся толпы, жестикулируют, охают, возмущаются, радуются, остервенело курят, плюют, спорят...

По улицам, на базаре, у реки беспокойно мычит скот; передвигаются блеющие овцы, недоуменно топчутся козы, визжат перегруженные арбы, свистят длинные кнуты.

За притихшей церковью разгоряченные мальчишки играют «в избиение гзири, сборщика и нацвали».

Ладо, Бежан, Датуна и три выборных из деревни подсчитывали хозяйство. Украденное зерно вернулось с полдороги. Припасов и хлеба нашли довольно много, но буйволов только пятнадцать пар, коней под стражей гзири десять, коров совсем не было, свиней сто штук. Зато в открытые двери сараев выползли опухшие тюки с белой, золотой и черной шерстью, готовой к отправке. Оживил приказ Георгия проверить хозяйства мсахури. Считали до поздней луны. Бежан вернулся домой сумрачным, ночью метался в жару, бредил. Царь много имеет, князья сколько хотят, но мсахури откуда столько взял? До сих пор мсахурский скот считали царским. Оказалось, один нацвали имел большое стадо коров, свиней, овец, восемь буйволов, а

от птиц двор нельзя было пройти, подвалы ломились от сыра, масла и меда. Много кувшинов было подготовлено к отправке в Тбилиси.

— Сколько лет грабил Настави, чтобы в таком богатстве плавать, — покачал головою Ладо.

Рассветало. На базарной площади уже толпился народ. Отпущенные на свободу арестованные гзири, нацвали и сборщик держались в стороне. Точно веником вымели с их лиц самодовольство. Они поняли, — Георгий не на шутку считает себя хозяином Настави.

Раздача хозяйств бывшим кма поразила народ не щедростью, а справедливостью. Половину отобранного хозяйства, нечестно присвоенного нацвали, гзири, старшим сборщиком и надсмотрщиком тут же раздали наиболее нуждающимся.

Отцу Георгий выделил в полную собственность большое хозяйство. Бежан успокоился и только уменьшенная Георгием наполовину подать огорчила его. Он также не одобрял распоряжения сына выделять из установленной подати приданое девушкам Настави.

Под изумленные восклицания Георгий заявил — гзири, нацвали и сборщик выбираются наставцами и утверждаются ими только на один год, надсмотрщик же совсем упраздняется. Крестьяне сами должны работать и чем больше сделают, тем больше будут иметь.

Настави благословляло Георгия. Нацвали, гзири и сборщик, обрадованные мягким решением Георгия, откупились и уехали в Тбилиси торговать: они достаточно скопили марчили за время своей власти.

Георгий отдался устройству владения, вникая во все мелочи. Увеличил стражу, построил общественные амбары, шерстепрядильню, поправил осевший мост, и вскоре Настави нельзя было узнать. Нацвали, гзири и сборщик занялись приведением в порядок расхищенного хозяйства. За базарной площадью, в большом саду, спешно строили для Георгия просторную саклю в два этажа. Жизнь кипела: чинились сакли, сараи, подвозились дрова, готовились к зиме.

Торжественно проводили семьи азнауров, покидающих Настави. Резали баранов, песнями вспоминали старину, танцовали у костров. В саклю Кавтарадзе переехало семейство Дарче. Долго ругался Дато, наконец, убедил отца оставить часть хозяйства новым жильцам. Немало поскандалили со своими отцами и другие азнауры. Наконец, все порешили оставить шестую часть хозяйства. В Настави, по личной просьбе Георгия, зазимовали Гогоришвили, приступившие уже к постройке сакли на своем наделе. Георгий убедил взять в помощь десять новых глехи. Старик Гогоришвили согласился управлять Настави на время отсутствия Георгия.

Бежан целый день метался от постройки к амбару, от амбара к хлеву. На него напал страх, вдруг сказочное богатство окажется сном. Ни брань Ладо, ни упреки Маро не помогали, Бежан упорно стерег свое богатство. Георгий молчал, он чувствовал в чем-то правоту отца и прощал ему внезапно выросшую жадность и даже жестокость, но твердо отстранил Бежана от общественных дел, уверив, что за обширным хозяйством должен следить сам хозяин.

Наставцы, многозначительно щурясь, поговаривали о скорой свадьбе Георгия и счастливой Нино, дочери Датуна, ставшего большим человеком. Заведуя складами и сортировкой шерсти, Датуна ходил в новой чохе и дым важно дымился из его глиняной трубочки.

Нино застенчиво пряталась в сакле, куда под разными предлогами часто заглядывал Георгий. Взбудораженная Тэкле не отходила от Нино, поминутно покрывая лицо любимицы страстными поцелуями.

— Георгий, сегодня хорошая погода, поедем со мной, дело есть.

Дато легко спрыгнул с коня, замотал повода за кол и сел на скамью у изгороди сакли Саакадзе. Георгий пристально посмотрел на друга и пошел седлать коня. Выехали рысью. Молча проехали хлопотливую даба.

— Георгий, одно слово хочу сказать...

— Говори, почему смущаешься?

— Не женись теперь... рано. Нино —

красавица, волосы золотые, сердце золотое, но иногда золото вниз тянет... Тебе сейчас нельзя вниз, еще не крепко наверху сидишь.

Саакадзе, вспыхнув, отвернулся.

— Сам об этом думал... Не знаю, как сказать тебе... Иногда жить без Нино не могу, иногда несколько дней не помню... Вчера руки ей целовал, чуть не плакал от любви, а сегодня тебя спокойно слушаю... Вот посмотри, кисет подарила.

Георгий вынул кисет, вышитый разноцветным бисером. Беркут странно блеснул в солнечных лучах. Дато на дне кисета увидел золотой локон Нино, вздохнул и вернул Георгию кисет. Долго молчали.

— Думаю, Георгий, у себя постоянную дружину завести... Ты как скажешь?

— Непременно заведи... Оружия у нас мало, надо оружие достать. Общее ученье заведем, в год два раза состязания будем устраивать... Кто с нами, с народом, дружбу ведет, не будет у того дружбы с князьями...

Из цикла „Бумкомбинат“

1. Приезд бригады

Мы вышли рано утром из вагона.
Встал паровоз как вкопанный с разгона
С багровой бляхой на груди. Наш путь
Лежал в просветах елочек и кочек,
По доскам, там, где чавкая клокочет
К зиме разболтанная как-нибудь
Строительная грязь.
Один товарищ
Воскликнул:
— Здравствуй, сонный городок!
Ты через час проснешься, чай заваришь,
Услышишь длинный заводской гудок.
Досчатый мир! Ты заново обструган.
Ты пахнешь глиной и паленой хвоей.
Дай руку и веди меня, как друга! —

Нас было четверо. Другие двое
Над болтуном посмеивались так:
«Официально чувствуя, ты прав!
Ты, может быть, оркестра ждешь, простак?
Не зная броду, ты суешься в дружбу?
Не зная броду, начинаешь оду?
И запах дегтя плохо розобрав,
Предчувствуешь большую бочку меда?»

Так вяло мы беседовали. Вдруг
Из черноты редевшей ночи встал
Оправленный в стекло, огонь, металл,
Кусок завода, будущий наш друг.

Как неожиданно! Поставив точку
На скуке пустяковых разговоров.
Своим челом одно лишь выражая:
Желанье жить! Когда-нибудь потом
Мы перечислим по частям и точно
Всех этих скреп переплетенных ворох,
Оравших словно женщина, рожая
Свое дитя, — многооконный дом.

О, ничего особенного! Сила
В контрасте между ним и чахлым краем.
Земля сапог еще не износила,
В которых шла, лопатой ковыряя
Суглинок этой пустоши. Еще
Глушит ее некошенный лопух.
Еще плетень уперся ей в плечо.
Еще у каждой лужи глаз распух
От потасовок.
Но грядущий век
Здесь начерно построен как барак.
Он не смыкает воспаленных век.
Его гудок вопит в дожди, во мрак,
За Ладогу.
Но стойте! Может статься,
Я начал не с того конца и зря.
Завод стоит не для манифестаций
Перед писателями смысла века.
И век не только рифма к человеку!
А между тем нас встретила заря.

2. Силовая станция

Дождь сечет рябое русло
Серой северной реки.
За рекой моргают тускло
В нимбе влаги огоньки.

Что ж это за муть такая?
Чей там контур за дождем,
Растворяясь, истекая,
Сам в себе неубежден?

Вот по слякоти вареной
Блики мутные влача,
Дивной сталью вороненой
Отливает часть плеча.

Напряги, товарищ, зренье!
Разгадай иль разгляди,
Как неясное строенье
Прорастает сквозь дожди.

Пусть оно споет нам! Слушай
Сердце ночи заводской!
— Я любую хлябь и сушу
Подыму одной рукой.
— Служит мне любое пламя.
Ключ от всех замков мне дан.
Сплав сложу я штабелями.
Брошу в пекло колчедан.
— В бункерах щепа сухая
Мною на ночь заперта.
Обо мне всю ночь вздыхая,
В турмах злится кислота.
— Это пращуры бумаги
Спят в соитьи огневом.
Это сцежи рыжей влаги
Мнятся невским рукавом.
— Я на каждый зов отвечу
Ржаньем лошадиных сил.
Я приду к тебе навстречу,
Сколь б ты ни колесил.
— Сколько тонн руды чугунной,
Сколько центнеров зерна,
Сколько лет горячки юной
Потребить должна страна.
— Сколько угля кочегарам,
Сколько света городам,
Сколько музыки садам,
Сколько воздуха ангарам,
Сколько тяги поездам, —
Все достану, все раздам.
— Я казалась громовержцем
В баснословные года.
А теперь я буду сердцем,
Люди, вашего труда.
— Спутанные змеи молний
В ковкий скрючены магнит.
Легкой власти он исполнен
И друзьям не изменит.
— Так возьми! Гордись победой!
Удержи меня в горсти!
Все, чем беден, мне поведай!
Строй! Учись! Дыши! Расти!

3. Кино

Не в залах на башнях утопий,
Где время — стеклянный кумир, —
На торфе построен, на топи
Социалистический мир.
И тощий народец веселый
Несет на заре топоры,
Мостит и стругает поселок
Своей переходной поры.
Вот клубная сцена. Потемки.
Стрекочет, моргает экран.
И вот Броненосец Потемкин
В пробоинах памятных ран
Сквозь мглу двадцатипятилетья
С одесского рейда пришел.
И славой исхлестан, как плетью,
Кровавый полощется шелк.
Быть может, цепляясь за тросы,
Предвидя расстрел без суда,
Мятежные смотрят матросы
Оттуда, с экрана — сюда!
И чуют ли, черти, как любо,
Как душно, хоть вешай топор,
В каморке досчатого клуба,
Где струны срывает тапер.
Где столько пространства на узком
Простенке вместилось сейчас.
Где время настояно сгустком
И катится к горлу.

Пав. Антокольский

Красный треугольник

Рассказ

Ю. Бессонов

Шея верблюда напомнила генералу огромную змею, придавленную тяжелым камнем. Она раскачивалась, как бы не в силах выбраться из-под горбатого туловища и беспомощно опускалась к земле. Молодой казак, дергая бурунчук, привязанный к продетой сквозь носовой хрящ животного ключке, палкой бил верблюда по уродливой морде, заставляя его подняться. Верблюд не хотел подчиниться, он отплевывался и кричал. Уже несколько раз отдавал генерал по отряду приказы, в которых запрещалось бить животных, и теперь был взбешен.

Разрывая тонкий шелк терлика[1] о жесткие, как проволочные заграждения, кусты чия, он подбежал к походной коновязи.

Щурясь от солнца и опустив к земле плюшевые морды, стояли пузатые толстоногие монгольские лошади. Они дремали, изредка встряхивая, казалось продернутым сквозь их ноздри, коновязным канатом и, отгоняя назойливых мух, часто вздрагивали лоснящимися телами.

Под опрокинутой двуколкой дремал дневальный. Заметив генерала, он вскочил и гаркнул «смирно». Генерал приблизился к погонщику верблюда и, снижая голос до шопота, спросил:

— Зачем ты бил верблюда?

Казак виновато замигал:

— Не встает, ваше превосходительство, все меры спробывал — не встает. Клади мало, а нести не хотит...

— Сними вьюк, — коротко и гневно сказал генерал. Он внезапно покраснел и его желтые брови вздрагивали как крылья подстреленной птицы.

Кладь, запакованная в суровые наволоки для солдатских матрацев, сползала медленно и в ней что-то громыхало тупым металлическим звоном.

На облинявшей спине верблюда зияла круглая бурая рана. Генерал нагнулся над животным. У краев раны в гнойной желтоватой каше копошились белые черви.

Генерал взмахнул рукой, будто готовясь нанести удар, и лицо его исказилось злобой.

— Двадцать плетей, — закричал он, — доложи вахмистру... Верблюда отведи в околодок... — Генерал круто повернулся и пошел мимо коновязи к командирским юртам. Когда его фигура скрылась за походным амуничником, казак ткнул верблюда в бок тупым носком сапога и выругался.

— Зараза! Кабы молчаливая скотина была, поддал бы ей за плети что надо, а то ведь захайлает несусветно... — Он сплюнул, подошел к дневальному, вновь занявшему наблюдательный пост под двуколкой и, присев на корточки, сокрушенно сказал:

— Ноне казачья задница вдешеве, — скотину кнутом не огладь. Кожу сдерут поркой. Видно тварь человека дороже стала.

— Кнут казаку силу приподает, — ответил насмешливо дневальный, — от него один прок: в седле крепче сидеть

[1] Терлик — монгольский халат.

будешь, — не набьет с привычки-то. Чо забижаешься. На то приказ был, не трожь скотину — она чувствует.

— А человек не чувствует, — закричал визгливо погонщик, — казаку, что провинка плети, под шашку с выкладкой на солнцепек... Федьку Гурулева солнцем убило, как под шашкой стоял, а что сделал: на дневальстве заснул...

— Не ори, паря, сдурел что ли, услышит кто из начальства, еще всадят уму в зад, — сказал невозмутимо дневальный и зевнул. — Ты молодой, учись... Военную науку превзойти без порки нельзя. Военная наука требует прилежания...

— Был бы в России беспременно убег бы, — сказал задумчиво погонщик, — подался бы до дому, а куды отсюда пойдешь. Степь. Одно слово Монголия. Здесь русскому человеку нету простора... На погибель, дядя, идем, — понизил он голос и тревожно обернулся, — в пески... Казаки болтают: — генерал промеж собой разговаривает ночами. Птичьи кости смотрит... ворожит... Ламский халат одел, в Доцан молиться ездит... Всех под монгольскую веру подвести хочет.

— Мольчи паря, — остановил его дневальный, — пора така настала, что трава человека слышит, да другому сказывает. Ты думу думай, а мольчи — так лучше будет, от греха. А до погибели, помни, народ не допустит — к границе свернем. Ты на стариков гляди, так и делай... Вот про монгольскую веру правильно говорят... Он и выпороть тебя приказал за веру... У них разумение такое: как человек помрет, дух его в скотину входит... За то он тебя и наказал, что верблюда бил, ты, скажем, скотину учишь, а ему может в чердак раздумье взбрело, что его бабку по морде возишь — вишь как выходит...

— Чудно, — сказал погонщик, — будто с понятьем человек, а как дите малое, али, что бурят; тот и вша убить боится. По ихнему, значит, грех... Поймает насекомую, на землю бросит, а убить не моги.

— Ладно, — прервал дневальный, — веди свою скотинку к фельдшеру... Пусть ожог смажет. А то вернется генерал, тогда пощады не будет. Иди...

— Они разнузданы и дики, — говорил генерал коменданту, — они привыкли все критиковать и ничем не довольны. Они злы и у них подлые души... Их можно держать в повиновении только страхом.

Генерал тяжело опустился на койку. Не докурив папиросы, он бросил ее на земляной пол юрты и тотчас же достал новую.

Дым папиросы вздрагивал, падал тяжелыми клубами на плечи генерала и ползал сизым туманом в глубоких складках терлика. В юрте был полумрак, и камни очага, освещенные слабым пламенем тлеющих углей, казались огромными красными грибами.

— Мои приказы нарушаются на каждом шагу... Офицеры пьют и не следят за солдатами, — продолжал желчно генерал. — Юнкера водят в свои юрты монгольских девушек и платят им за любовь по фунту сахару. Сейчас же проверьте лагерь и чтобы к вечеру не было ни одной женщины...

— Слушаюсь, — хрипло ответил комендант, — но, ваше превосходительство, патрулям вменяется в обязанность не подпускать к лагерю женщин, и я не знаю, как монголки могут проникнуть к палаткам юнкеров...

— А вы должны знать, — повысил генерал голос, — осматривайте после отбоя палатки...

— Комендант стоял у дверей и записывал в полевую книжку распоряжения генерала. Его лицо, заросшее грязной щетиной бороды, было неопрятно и помято. Низкий наморщенный лоб нависал прямо над широкими желтыми скулами, а маленькие глаза, вдавленные на самое дно глубоких орбит, были злы и беспокойны.

Отсветы раскаленных углей очага неровно освещали голову коменданта и, дочерна сгущая тени глазных впадин, ломали линии губ и носа.

«Он похож на прокаженного, — подумал генерал — у него львиная пасть и черные щеки», — и как бы боясь заразиться, он отодвинулся на конец койки.

— У меня больше нет распоряжений. Вы свободны, капитан!

— Разрешите доложить, ваше превосходительство, — комендант взял под козырек. (Он поднимал руку медленно, казалось с трудом, как будто выжимал гирю.) — Сегодня в отряд приехал барон Нуренгаузен. Он сообщил, что бежал от большевиков и хочет представиться вам.

— Кто он такой?

— Говорят, бывший якутский губернатор. Он думает предложить свои услуги.

— Пусть явится к начальнику штаба, — генерал нетерпеливо мотнул головой. — Я никого не хочу принимать сегодня...

— С ним женщина, — осторожно сказал комендант, — разрешите ее пока оставить в лагере?

— Женщина? — удивился генерал.

— Это его жена. Она все время говорит непонятные вещи о душе и мальчиках и требует немедленного свидания с вами. Она говорит, что должна передать вам много каких-то особенно важных сообщений.

— Мне сообщения из Сибири, — встревожился генерал, — хорошо. Оставьте ее в лагере.

— Но они с мужем нарушают правила внутреннего порядка. Они беспрерывно ссорятся и так кричат, что мне пришлось поставить к их юрте дневального, чтобы он не допускал любопытных. Юрта барона Нуренгаузена недалеко от юнкерской роты, и я боюсь, что это отразится на дисциплине.

— Предупредите барона, что армия не семейный дом, а мне не докладывайте о пустяках. Идите.

Спина коменданта на момент загородила выход и в юрте стало совсем темно. Когда ее створчатая дверь захлопнулась за капитаном, генерал облегченно вздохнул. Ему хотелось побыть одному. Он был зол, а доклад коменданта еще больше расстраивал его. Генерал вытянулся на койке и закрыл глаза.

«Нужно что-то делать, — думал он.— Монголия бедна, — она не может долго кормить войск... Чтобы достать провиант и деньги, нужна победа, а для победы нужны солдаты, которых становится все меньше. Казаки бегут из отряда, перебегают к красным, уходят в степь, гибнут, а все-таки бегут... Почему?..» Внезапно генерал вспомнил пленного комиссара. Избитый палками, отплевываясь кровью, комиссар хрипел, с непримиримой ненавистью смотря на генерала.

— «Останешься один... Тебя повесят твои же казаки... Они ненавидят, но пока еще боятся... Они поймут, что сильнее тебя, и придут к нам...»

Генерал ощутил удушие, как будто кто-то сжал ему горло. Он вздрогнул и приподнялся на койке — пробормотал: «Нервы... Развинтился». Схватил стоящую на столе флягу, жадно выпил воды и, стараясь успокоить себя, подумал:

«Не в том дело, плох командный состав, не может в руках держать людей и упала дисциплина... Это без боев солдат обнаглел и распустился... Дисциплину можно теперь поднять только войной и хлебом».

Генерал напрягал волю, чтобы подчинить себе разыгравшиеся нервы, но ничего не выходило.

— Ты солдат, — у тебя не должно быть нервов, — твердил он, — слышишь, ты солдат.

Казалось, что стоит только взять себя в руки — успокоиться и тотчас же придет ясное и нужное решение.

Генерал несколько раз глубоко вздохнул, закрыл глаза и старался не о чем не думать. Но ничего не помогало — нервы не подчинялись. В висках стучала кровь. Затылок ломило, как будто в него кто-то вбил тупой гвоздь.

Наконец, поняв тщетность попыток справиться со своими нервами, генерал встал, распахнул дверь и подошел к низкому деревянному столу, сколоченному в углу юрты. Опустившись около него, он достал из внутреннего кармана халата тетрадь, раскрыл ее и записал: «25-го мая 1921 г. Все мои письма остались без ответа. Хутухта боится поднять монголов для священной войны с красными — он не верит в наши силы. Китайские дзянь-дзюни заняты своими ссорами и забывают, что время не терпит, и если я буду разбит, то револю-

ция ворвется к ним. Третий посыльный к киргизам не возвратился...

Чем кончится мой поход? Последние донесения не были утешительны. Говорят, солдаты большевиков—лучшие солдаты». Генерал отложил карандаш и задумался. Он провел несколько раз ладонью по своей белобрысой голове и стал перелистывать тетрадь.

Остановился на засаленной и помятой странице. Прочел: «25-го марта 1921 г. Сегодня — я ходил к ворожее. Она гадала на птичьих костях и сказала, что революция будет разбита через 148 дней. Когда женщина в исступлении упала у костра, я видел ее ноги. Они были очень длинные и тонкие. Я тогда испытал странное волнение и мне стало так душно, что я разорвал ворот терлика. Гадалка была похожа на египтянку... Потом мне рассказывали, что ее мать цыганка, а отец монгол. Какие странные сочетания кровей и рас».

«Мне тридцать четыре года, а я еще не знал любви», — прочел генерал ниже. «В полках недовольны, что я запретил присутствовать в лагере женщинам. Они не понимают, что воин должен быть аскетом. Женщина делает человека добрым, а воин должен быть зол. Женщина не может любить злых людей, потому что ее нужно постоянно прощать — она целиком порочна, а прощать может только добрый... Я отдал себя делу распространения религии великого Будды и делу борьбы с революцией. Я отказался от женщины и этим вырастил свою ненависть. Так было нужно потому, что ненависть дает силу»...

У юрты кто-то крикнул:

— Разрешите войти, ваше превосходительство.

Генерал закрыл тетрадь и обернулся. В дверях стоял денщик коменданта и держал в руках дымящийся котелок с супом.

— Их благородие господин комендант прислали вам томатного супу, — сказал солдат.

— Поставь здесь, — указал генерал на конец стола и вспомнил, что еще ничего с утра не ел.

Солдат неуклюже пролез в узкую дверь юрты. Как будто бы боясь приблизиться к столу, он вытянул насколько мог руки и поставил котелок. Его короткие пальцы были неприятно пухлы и казались отмороженными. Когда он сгибал их, осторожно придерживая дужку котелка, серая кожа на суставах натягивалась и было такое впечатление, что вот-вот она лопнет и из трещин выльется гной и вода.

Генерал брезгливо сморщился и заторопил солдата:

— Скорее, чего ты там возишься!

Денщик покраснел и попятился к выходу.

— Виноват, ваше дитство...

— Скажи коменданту, — вдруг неожиданно для себя сказал генерал, — чтобы вечером он прислал ко мне жену этого барона Нуренгаузена... Я приму ее.

Солдат еще сильней покраснел. Как свежее тавро обозначился на правой его щеке розовый шрам.

— Слушаюсь, — сказал он глухо и вышел из юрты. Генерал с'ел несколько ложек кислого супа и отодвинул котелок. Он почувствовал тошноту и озноб.

«Опять малярия», подумал он, запахнул плотнее терлик и прилег на койку.

Стараясь побороть мучительную тошноту, генерал закрыл глаза и тотчас же перед ним встал непроницаемой стеной розовый густой и душный туман. Не хватало воздуха. А вбитый в затылок гвоздь раскалывал череп.

Заросли дерису, тощие и сухие, как птичьи скелеты, рисовали на фиолетовом вечернем небе замысловатый китайский узор. Разбросанные в пади черные юрты и выцветшие походные палатки столпились у подошвы лысой сопки, опаленной Гобийскими жаркими ветрами. Издали лагерь напоминал гигантское болото с беспорядочно разбросанными кочками.

Краса и гордость ургинского отряда — юнкера, собравшись у пылящих костров, пели ходовую в белых полках песенку про веселого господина, у которого была маленькая жена.

Генерал проснулся от непонятной тревоги. Он вскочил, прислушался к юнкерскому пению и, как будто успокоившись, снова прилег на койку.

«Мне что-то нужно было сделать сейчас», подумал он и тотчас же встал. Подошел к столу и, только увидев лежащий дневник, вспомнил:

— Ах, да, скоро ко мне должна притти жена Нуренгаузена. Что она хочет передать?..

Воспоминания о жене барона привели к мысли о падающей в отряде дисциплине, о чем говорил комендант, и генерал решил не откладывая сейчас же написать строгий приказ, которым обратить внимание «господ офицеров» на необходимость применения крутых мер к нарушающим требования воинских уставов.

Он сел к столу и на вырванном из дневника листе бумаги написал:

«Приказ
по особому Ургинскому отряду

1

Рыба начинает портиться с головы; армия — с командного состава. Господа офицеры забыли, что родина их гибнет, они предаются вину и развлечениям. В ночь на 23-е мая мною у палаток юнкеров были обнаружены женщины-монголки и двое пьяных офицеров: сотник Зубаков и хорунжий Нефедов. Такое поведение господ офицеров в момент похода для спасения России от революционной заразы считаю недостойным офицерского мундира, позорящим русскую армию. Приказываю наложить на сотника Зубакова и хорунжего Нефедова дисциплинарное взыскание — по 50 розог каждому перед строем. Предупреждаю, малейшее нарушение правил устава повлечет за собой суровую кару. Господа офицеры должны постоянно помнить о чести, выпавшей на их долю — быть застрельщиками в деле спасения родины, и должны служить образцом дисциплинированности для солдат вверенных им частей.

2

Мною замечено, что некоторые начальники частей в походе забывают основное правило обеспечения тыла и не ведут разведки населения, поэтому в поселках, по которым проходит отряд, остаются невыкорчеванными гнезда большевистской заразы. Приказываю во время похода наряжать специальные патрули для проведения разведки населения и обысков. Всех комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с их семьями, имущество их конфисковать. Разрешаю часть добра обнаруженных коммунистов обращать в личную собственность казаков, производящих разведку. Предупреждаю, за исполнение этого приказа ответственны все офицеры от начальника части до командиров взводов».

Генерал подписал приказ, запечатал его и хотел уже вызвать вестового, чтобы тот отнес пакет начальнику штаба, но раздумал, разорвал конверт и, аккуратно свернув исписанный листок, положил его в боковой карман халата.

«Одно и то же, — подумал он. — Сколько уже было таких приказов. К ним привыкли и они не производят никакого впечатления. Нужны действия, а не приказы»...

И сейчас явилась привычная мысль: «Без войны и победы исправить ничего нельзя».

— Нужно немедленно двигать части, иначе они разложатся и тогда сбудутся слова этого комиссара — они повесят нас, — генерал вздрогнул. — Завтра прикажу начальнику штаба составить приказ на поход, — решил он, — но куда итти?

Было два хода. Один на восток, а другой на запад. Восток был заманчив. — Революционные китайские войска, плохо вооруженные и малочисленные, не представляли военной силы, и подвижный отряд генерала мог легко держаться против них. Самое же главное, как думал генерал, было выждать время и кормиться. Но этот ход был закрыт. Его загораживало японское командование и Чжан Цзо-лин, которые по каким-то соображениям, очевидно, желая использовать генерала против Советской России, не давали своего согласия на вторжение отряда в пределы Китая, хотя бы и для борьбы против революционных войск. Оставался свободным один ход — на запад по Селенге к

границам Советского Союза. И генерал принужден был остановиться на нем.

Обдумывая план похода, он машинально сунул за пазуху дневник и вышел из юрты.

В низинах клубились сумерки. От костров лагеря тянуло едким дымом аргала. Генерал обошел палатки и вышел в степь.

Поход в Забайкалье пугал его. Он не надеялся на верность казаков и боялся, что с приближением отряда к русской границе усилится дезертирство. Кроме того трудно было найти способ оградить солдат от влияния Красной армии, которое окончательно могло разложить части и вызвать бунт.

Единственным средством для морального укрепления войск генерал считал пополнение полков монголами.

— Они лучшие солдаты, — говорил он часто начальнику штаба, — у них высоко ценится долг и верность, а потом они еще не заражены пагубной европейской культурой...

Но мобилизовать монгольское население генерал не мог, а добровольцы, несмотря на блага, обещанные им, поступали медленно.

Чтобы привлечь монголов в отряд, необходимо было заставить Богдо-Гыгэна Хутухту выпустить воззвание о священной войне с русскими революционерами, но осторожный монах несколько раз отказывал в этом генералу или просто отмалчивался. Он благословлял генерала на поход, провозгласил его возрожденным богом войны, подарил павлинье перо, старался поднять авторитет генерала среди монголов, но от решительных действий воздерживался. И теперь генерал, шагая по зарослям чернотравья, вновь отыскивал способы побудить Богдо-Гыгэна к подписанию нужного обращения к монгольским и киргизским кочевникам.

Незаметно генерал отошел далеко от лагеря. Заросли чернотравья остались позади, растительность стала чахлой и скоро потянулись гуджиры (солонцы), подернутые редкой полынью и листвой, блестящей от налета соляной пыли. Соль выступала на поверхность земли белыми полосами. Они показались генералу странно знакомыми. Он остановился и внимательно осмотрел поляну.

«Похоже на рассыпанную известь, — подумал он, — но где я это мог видеть...» — и мгновенно вспомнил:

— Похороны Штрема! Да так было на похоронах Саши Штрема. Тогда свирепствовала эпидемия холеры. Его хоронили, а за гробом шли двое людей в белых халатах и посыпали дорогу известью, и она ложилась такими же полосами, как эта соль.

Генерал вздрогнул:

— Почему мне вспомнились похороны... Гадалка не хотела сказать, сколько времени еще проживу я...

Суеверный страх вползал холодный и сковывающий.

«Может быть ее подговорили молчать, чтобы усыпить мою бдительность», — подумал генерал и вспомнил о нескольких доносах, недавно полученных им. В доносах услужливые подчиненные советовали генералу теперь быть особенно осторожным, так как многие, даже из самых близких ему людей, хотят его гибели.

«Они не верят в победу», — писалось в доносах, «боятся красных и хотят вашей смертью заслужить себе прощение у большевиков».

— Все, все ненавидят меня, — пробормотал генерал с внезапно вспыхнувшей злобой. — Кругом убийцы и негодяи... Но я научу их...

Он обернулся, боясь, что его мог ктонибудь услышать.

Огромная луна сияющим животом исполинского бурхана выкатилась на вершину холма. Степь стала голубой и прозрачной. Соль под ногами генерала блестела, как стеклянный песок. Она заставила вновь вспомнить юнкера Штрема. «На поминках люди сначала плакали, а потом пили и смеялись. Сестра Штрема была непонятно спокойна, как будто похоронили не ее брата».

Незаметно генерал стал думать вслух.

— Зачем я тогда говорил с ней... Это было глупо... Я поцеловал ее руку, а она засмеялась и крикнула: «Юнкер Штернберг, только что похоронили моего брата и вашего друга, перестаньте — мне противно».

Генералу живо представилось девичье смеющееся лицо и слегка косящие глаза сестры Штрема. Шевельнулась затаенная обида. И как бы стряхивая ее, генерал усмехнулся. Он достал тетрадь и при свете луны записал:

«Гостиная Штремов и монгольские степи... Воспоминания — враги. Они всегда сентиментальны и расслабляют... Нужно быть сильным во что бы то ни стало, а это так трудно. Я вспомнил Лидию Штрем... Тогда я был юношей и кажется мог любить... Но как оскорбительно, когда женщина смеется»...

Генерал вдруг подернул плечами, как будто ему за ворот попала холодная вода, захлопнул тетрадь и сунул ее обратно за пазуху.

«Озноб усиливается, лучше пойти лечь», — подумал он, повернул и побрел в направлении к лагерю.

По мутному светлому пятну на войлочной стене генерал понял, что в юрте горит огонь. Около юрты приплясывал молодой казак. Он отбивал дробь и тонким бабьим голосом подпевал:

Ох, девочка евреечка,
Скажи мне, сколько времечка.
Ох, времечка девятый час —
Пойдем на станцию сейчас.

«Распустились, — раздраженно подумал генерал, — даже на дневальстве стоять как следует не могут». Но он сдержался и не сделал замечания дневальному, а только подозвал его и спросил:

— Кто у меня в юрте?

— Барыня с России, — браво крикнул казак, — они пели сначала, теперь молчат, видно заснувши.

Юрту едва освещал небольшой светильник, сделанный из деревянной плошки. В ней было налито растопленное баранье сало и торчал тощий фитиль. Конец фитиля раздвоился и был похож на горящий язык змеи. Сало шипело и потрескивало. По стенам юрты ползали тени. Они горбились и вздрагивали, все время меняя свои размеры. Огонь то замирал, то вспыхивал ярче. В углу юрты на койке спала жена Нуренгаузена. На черной подушке от казачьего седла лицо ее казалось мертвенно бледным, как слепок из белой глины.

Генерал вошел и долго смотрел на женщину.

Ее ноги свисали с койки и, освещенные пламенем очага, колени казались красными, как будто с них сняли кожу.

«Как ее разбудить», — подумал генерал и шагнул к столу. Он, стараясь убрать нагар, стал поправлять фитиль, но уронил его в чашку. Сало зашипело, и фитиль погас. Тени метнулись и упали на пол, а навстречу им поднялся розовый свет от раскаленных углей очага.

Генерал вздрогнул от неожиданности и с лихорадочной быстротой зажег спичку. Он выловил фитиль и принялся его разжигать. Намокший шнур трещал и метал рыжие искры.

Только третьей спичкой удалось генералу разжечь светильник. Он облегченно вздохнул и бросил на стол ненужную спичечную коробку. Она упала, стукнувшись о столешницу, и скатилась на пол.

Женщина приоткрыла глаза и поднялась. Увидев генерала, она быстро села и поправила платье.

— Я заснула у вас. Комендант сказал, что вы примите меня вечером. Я пришла и с минуты на минуту ждала вашего прихода, а потом незаметно задремала.

— Да я был занят, — ответил генерал и замялся, вспомнив прогулку по гуджирам.

Наступило неловкое молчание.

Генерал видел, что женщина с любопытством разглядывает его и злился, но не знал, с чего начать вдруг показавшийся ему совсем ненужным разговор.

Он молчал, ожидая сообщений из Сибири. И женщина поняла, что сейчас нужно говорить о главной цели ее прихода.

— Я знаю, что вы буддист, — сказала она, — и поэтому хотела встречи с вами.

Генерал насторожился. Он взглянул прямо в лицо женщине и только теперь заметил, что один ее глаз косит, как у испуганной лошади, отчего кажется, что она смотрит куда-то в сторону, а не на собеседника, и лицо ее от этого делается молодым и наивным.

— Еще в Петрограде я была знакома с Тартаковым, и он приобщил меня к желтой мудрости... Теперь я встретила его здесь, и он рассказывал о вас многое. Я поняла, что вы избранник... вы ведете величайшую борьбу за торжество духа.

Женщина встала с койки и подошла к генералу. Она порывисто дышала и ее широкие ноздри вздрагивали как веки ястреба.

— Мы будем друзьями! Мы будем друзьями!.. Я приехала сюда, чтобы помогать вам.

Генерал вновь почувствовал сильный озноб. Кровь бурно приливала к вискам. Слова плавали, плохо уловимые и непонятные. Голова кружилась. Он подошел к койке и сел.

— Я узнала о вас еще в Иркутске, — торопясь говорила женщина. — На одном из наших вечеров мне было откровение. Мои мальчики открыли мне все.

— Какие мальчики? — как будто очнулся генерал. Он сидел, подперев щеку рукой, и отсутствующим взглядом смотрел на женщину.

— Мои умершие брат и сын... Они там, — подняла жена Нуренгаузена руку к дымовому отверстию в потолке юрты. — И оттуда они дают мне приказы — руководят моей жизнью.

Генерал машинально посмотрел на потолок, куда показывала женщина.

«Умершие мальчики, — подумал он,— руководят жизнью живых. Какая чепуха!» Он хотел ухватиться за эту мысль и понять смысл слов жены Нуренгаузена, но она не дала ему опомниться.

— Недавно мальчики открыли мне мою «Карму» («назначение» на языке окультистов). Я должна помогать человеку — перерожденцу Чингисхана. Это вы! Это вы! — почти закричала она. — Воин в Монголии! Ах, воин в Монголии. О, как это прекрасно!

Генерал взял руку женщины и, в приливе невероятной и неосознанной нежности, поцеловал. Он дрожал от волнения и приступа малярии. Голос жены Нуренгаузена показался ему страшно знакомым, как будто он слышал его когда-то очень давно, и, поддаваясь этому внезапному чувству, генерал сказал:

— Я не знаю, кто вы, но мне кажется, что я видел вас когда-то, — может быть в детстве...

— Нет, милый, — перебила его женщина, — это родство душ! Я чувствую трепет, у меня ноет под ногами... Это флюиды... Милый,—она судорожно прижалась к плечу генерала, — мы видались когда-то там, — женщина опять подняла руку к потолку.

— Вы говорите, а мне вспоминается Петроград, — продолжал генерал, не слушая ее, — то время, когда я был еще в морском училище.

Вдруг он пристально взглянул на женщину и, что-то припоминая, спросил:

— Постойте, постойте, как ваша девичья фамилия?

— Штрем, — ответила женщина.

— Лидочка Штрем, — вскрикнул генерал и вскочил.

— Как? Как, вы меня знаете, — залепетала удивленно женщина. Кто же тогда вы?

— Я — Штернберг. Помните юнкера Штернберга — друг вашего брата!

— Михаил Штернберг, — протянула, все еще не понимая, Лидочка, но ведь у вас другая фамилия... и как вы изменились...

— У меня две фамилии, — ответил генерал. Он прошелся несколько раз по юрте, потом опять присел на койку и сказал:

— Как странно, я только сегодня вспоминал вас.

— Это предзнаменование, — начала было Лидочка, но генерал прервал ее.

— Как вы попали в Сибирь и зачем приехали сюда?

Он стал сух и почти резок.

— Дайте мне папироску, — сказала разочарованно Лидочка и подобрала под себя ноги, удобней усаживаясь на койке. — Я расскажу по порядку, все сначала, тогда может быть вы поймете. — Лидочка закурила папиросу.

— Очень скоро после смерти Саши я вышла замуж за барона Нуренгаузена. Сначала мы жили в Петербурге, а потом уехали в Сибирь. Муж был назначен туда губернатором. — Лидочка вздохнула

и жалобно посмотрела на генерала. — О, что это была за жизнь. Я сразу после замужества поняла, что мы чужие люди. И если бы не ребенок, я бы наверно ушла... Потом ребенок умер... Это было уже во время Колчака. Мы жили в Иркутске. И здесь я поняла всю пустоту моей жизни. Мне дал указание мой мальчик. Он говорил мне: «Не страдай, все земное неважно, стремись познать истину». Я слышала его голос каждую ночь.

Лидочка увлекалась. Рассказы медиумов она передавала генералу за факты, происшедшие с ней. Глаза ее блестели, на щеках появился румянец.

— Я встретила «сознательного друга». Он раньше был офицером, а когда пришли большевики, мы собирались у него. Он обладал невероятной силой и мог вызывать оттуда, — Лидочка закатила глаза к небу, — кого хотел. В ту ночь, когда мне было откровение, пришел старик. У него были блестящие одежды и они переливались — как вода. — Лидочка развела руками, — он был огромный и занял почти всю комнату. Нам стало страшно, и мы вскрикнули: «Почему он такой большой», но друг сказал: «Я урегулирую сейчас», он сделал рукой пассы и старик принял размеры нормального человека. Мы смотрели восхищенные — это было и жутко, и прекрасно.

— Человека,—переспросил генерал,— думая о чем-то другом, — кто же он был?

— Гелиогобал, — вскрикнула в восхищении Лидочка, — он пережил восемь перерождений, и последнее было самое изысканное!

— Как звали его, — удивился генерал.

— Гелиогобал. Он был воин, а может быть фараон или цезарь. Когда-то очень давно — в древности — так сказал «сознательный друг». Ты знаешь — Лидочка внезапно перешла на ты — у него были такие красивые одежды! Мы, женщины, всегда остаемся женщинами, — продолжала она, — я шепнула соседке: «Какой это материал!» Гелиогобал услышал. Он приблизился, протянул руку и ко мне в ладони полился сверкающий материал, плотный и тяжелый.

«Небесный креп-де-шин», воскликнула я. — «Это небесный креп-де-шин». Я посмотрела на Гелиогобала — он стоял и улыбался ,и я поняла, что угадала — это был, действительно, небесный креп-де-шин.

Лидочка задорно взглянула на генерала и усмехнулась:

— Я такая, у меня невероятная интуиция. Я могу познать все...

Генерал, казалось, не слушал женщину. Он сидел, опустив голову, и жадно курил папиросу за папиросой. Тени, рожденные шатающимся пламенем светильника, раскалывали голову генерала пополам, и чудилось, что у него два лица, — одно уже мертвое, затянутое сумраком, а другое — еще живое с блестящим, часто мигающим глазом.

Видя, что генерал не поражен ее рассказом, Лидочка поворочалась на койке, обиженно вздохнула и продолжала:

— Но мы — такие люди, мы не поняты... Даже мой муж будто бы и культурный человек — окончил лицей, стихи писал, а ничего не может понять. Он говорит, что я истеричка, а «сознательный друг» — фокусник. Но я прощаю ему потому, что «понять — значит простить», — он в этих делах просто невежда. — Она покосилась на генерала, но он опять не ответил.

— Ты знаешь, — сказала она, — я из-за своих исканий даже терплю издевательство и лицемерие. В муже сильно еще животное начало, и он ревнует меня даже к «сознательному другу». При посторонних он ласков со мной, бегает вокруг и кричит:

— «Лидочка! Лидочка! Не холодно ли тебе, Лидочка, ах, удобно ли тебе, Лидочка, а ночами на него находит ревность и он щиплет меня за ноги»...

Лидочка потянулась по-кошачьи и прижалась к генералу.

— Мне едва удалось его уговорить бежать к тебе. Когда пришли большевики, он приспособился и стал делать бумажные цветы, а потом продавал их на базаре крестьянам. У него был учитель — хромой китаец, и они все вечера завивали лепестки розанов моей плойкой.

— Ах, как я была одинока, — воскликнула она, хрустнув пальцами, — ты знаешь, одиночество — это страшный бич...

— Одиночество, — встрепенулся генерал, как будто Лидочка подслушала его самую тяжелую мысль, — ты спрашиваешь, знакомо ли мне одиночество? Да кто может знать его так, как я. Одиночество и величие одно и то же. Они ходят рядом. Одиночество — это тень величия.

Генерал вскочил и заходил по юрте. Юрта была маленькая и он мог делать взад и вперед только по два шага, беспрерывно натыкаясь то на войлочную стену, то на койку. Было такое впечатление, что генерал кружится на одном месте. Он говорил глухо и беспрерывно курил, разбрасывая по полу недокуренные папиросы, похожие на белых дымящихся червей. Забыв о присутствии Лидочки, он, казалось, говорил сам с собой. Лидочка же, стараясь обратить на себя внимание, то сокрушенно покачивала головой, то наклоняла ее к плечу и делала большие удивленные глаза.

— Я один, — говорил генерал, — я один веду борьбу. Со мной нет никого, кроме моей ненависти. Солдаты боятся меня и хотят моей смерти — я знаю это, и могу командовать ими только потому, что они трусливы и жалки...

Генерал опустился на койку и тотчас же вновь встал. Он волновался все сильнее, и горло его пересохло, отчего голос хрипел и срывался.

— Мои офицеры целиком порочны и пусты... Они с тем — кто победит, и если я завтра буду разбит — они поступят на службу к врагам, снимут погоны и нацепят большевистские нарукавники с красными звездами, а потом может быть помогут вешать меня.

У генерала передернулось лицо.

— Как я ненавижу их, ненавижу больше чем большевиков, — прохрипел он, — у тех есть хоть продуктивная сила и жажда победы... И у них есть удивительные солдаты!

Я помню однажды разведка поймала комиссара. Его привели ко мне. Он был маленький и тощий, как еврейский продавец воздуха, но был храбр и почти дик. Его удалось взять только потому, что браунинг дал осечку, и этот мальчишка не успел переменить обойму. Я поражался, откуда в нем была такая сила. На допросе у меня он говорил, что революцию остановить нельзя, говорил и улыбался, а мне казалось, что он издевается надо мной...

Генерал задумался на секунду и тотчас же заговорил снова:

— Я приказал забить его палками. И когда двое казаков били его у моей юрты, я вышел и смотрел. Мне хотелось увидеть его слезы, или заставить просить пощады... Он умер быстро и совсем не кричал. Это мне казалось странным — другие почти все кричат.

Генерал посмотрел на Лидочку. Она отползала к стене. Глаза ее были испуганно расширены, а нижняя челюсть мелко дрожала.

— Зачем, зачем ты сделал это? — шептала она, — значит правда то, что говорят о тебе они.

— Ты пугаешься, — наклонился генерал к женщине. — Разве жестокость нужна для жестокости, а кровь для крови! Разве можно об'ездить коня без нагайки. Жестокость нужна, чтобы заставить народ повиноваться. Нужно, чтобы они боялись и каждую минуту дрожали за свое существование. Страх — единственное средство властвовать. Почему никто не обвиняет американцев за убийство преступников на электрическом стуле, — воскликнул генерал. — А мне нельзя умертвить несколько сотен негодяев, уничтожающих аристократов — носителей культуры... Смерть — всегда смерть; на виселице или под палкой — все равно.

Генерал увлекся, он уже почти кричал, как будто проповедывал тысячной толпе.

Лидочка оправилась от испуга, вызванного рассказом о комиссаре. Она вновь подвинулась к генералу и время от времени ласково поглаживала его руку.

— Россия — страна безверия и пессимизма, — выкрикивал генерал. — Ее нужно или переделать или уничтожить... Там интеллигенты и крестьяне анархичны до мозга костей, унылы и злы. У них

нет принципов. Они признают только то, что дает им выгоду, а теперь их окончательно разложили революционеры...

Возбуждение генерала иссякло, но щеки его все еще горели, разожженные малярией, а холодные рыбьи глаза расширились и скупо поблескивали, как осколки разбитой бутылки...

— Поэтому я решил создать в России орден военных буддистов. Только буддизм изменит торгашескую русскую душу... Но пока нельзя работать в России — она занята революционерами. Их нужно уничтожить и лишь тогда можно будет начать главное. — Генерал погас. Он уже не говорил, а с трудом волочил ленивые слова:

— Сейчас я работаю над созданием в Монголии Серединного царства. Оно соберет вокруг себя все монгольские народы: китайцев, бурят, киргизов, калмыков, монголов...

Это азиатское государство станет хранилищем мудрости и чистоты религии Будды. А потом величайшим походом, которого еще не видал мир, мы обрушимся на сумасшедшее человечество, гибнущее в судорогах революций...

— О, как это чудно, — воскликнула Лидочка, — я буду с тобой. О, это почти невероятно. Мы войдем в историю!

Генерал не ответил ей. Он сидел усталый и поблекший, спрятав лицо ладонями рук.

— Дай мне бумагу, — попросила Лидочка, — я запишу тебе на память...

Генерал протянул ей свой дневник.

Лидочка открыла чистую страницу и записала: «Ты прекрасен так же, как небесный креп-де-шин.

Люция».

Ниже, поставив скобку, Лидочка написала: «так зовут меня братья. Это мое неземное имя, но пусть никто кроме тебя из непосвященных не знает о нем.

Лидочка».

Она закрыла дневник и спрятала его под подушку.

— Ты завтра прочтешь. Сегодня с тобой я, а завтра это даст тебе силу.

Лидочка растянулась на койке.

— Теперь ты не один, теперь с тобой я.

Она восхищенно смотрела на генерала.

— Наконец-то я нашла тебя!

Генерал в порыве благодарности пожал руку женщине. Он испытывал непонятное волнение. Огромная нежность к Лидочке, никогда еще не пережитая им, заполнила его целиком. Он неумело и сконфуженно гладил рукой длинную ногу женщины.

— Мой, мой, — шептала Лидочка, отвечая на ласку генерала.

Юрта погрузилась в тишину, только изредка потрескивал светильник.

Потом Лидочка сказала:

— Милый, мне очень душно, я расстегну свое платье. А чтобы я не замерзла, ты дай мне халат. Тебе нужно освежиться, ты весь горишь.

Генерал молча снял терлик и передал его женщине. Он остался в голубой рубахе, опоясанной радугами зеленых подтяжек.

Лидочка сняла платье и одела халат, старательно подогнув рукава, которые свешивались, закрывая кисти рук.

— Иди же ко мне, иди, — шептала она, — милый, милый, мой Михаил, мой гений...

Генерал почувствовал холодный Лидочки рот у своих губ и, отвечая на поцелуй, обнял женщину.

— Необыкновенный, непонятный... Ах, какой хороший, — шептала Лидочка, покрывая лицо генерала поцелуями. — Да что же это такое. Какой ты чудный, — и на ее плечах вздрагивали и сверкали широкие генеральские погоны.

Монгол дневальный у юрты генерала пел о древних ханах, которые не могли насытиться войнами:

«Степь была красной, как луна в палы,
Степь была красней кровяной реки,
Степь была большой, как Сумбур-Улы (священная гора),
Почему не стало в степи богатых племен?»

Песнь сплетала легенду о храбрых и веселых воинах, которых заразили жестокие ханы жаждой славы. По всей степи рубились воины. Одни орды уничтожали других. И, наконец, не стало людей. Осталась только одна женщина.

Она шла по степи и плакала. Она искала себе мужа, потому что если не будет людей «кто же будет пасти стада». Но степь «была красной, как луна в палы», и степь была пустой, «как дырявый тулун» (мешок). И не могла найти женщина ни одного мужчины. На берегу «еще мутной от крови реки» встретила женщина «большого быка». Она, подумав, сделала его своим мужем и прижила с ним двоих детей.

И опять позеленела и расцвела степь, и опять появились храбрые всадники и веселые девушки.

Генерал проснулся. Он слушал песнь. Подумал:

«Эта история халхасского племени. Какой народ может создать такие песни, кроме монголов? Кто кроме скотовода согласится признать своим праотцом быка?»

Сверкающие солнечные стрелы вонзились в щели дверей. Утренняя прохлада вливала бодрость. Генерал потянулся и почувствовал свое тело упругим и здоровым. От вчерашнего приступа малярии не осталось следа.

— Проведу учение с кавалерией, — решил он и поднялся с койки.

На столе, свесив к полу рукава, лежал помятый терлик и к его вороту английской булавкой была приколота записка.

Сейчас же вспомнилась жена Нуренгаузена и вчерашняя ночь, пьяная приступами малярии.

Генерал сел на койке и, припоминая события ночи, осмотрел юрту. Весь пол был покрыт окурками, похожими на раздавленных белых гусениц. Они были помяты и каждый из них хранил на себе следы вчерашних безумств генерала.

«Хорошо, что она уже ушла», — подумал он о Лидочке, что бы я сейчас делал с ней.

Он сорвал с терлика записку и прочел.

Лидочка писала:

«Я не будила тебя, а ушла как только ты уснул. Я боялась, что Нуренгаузен поднимет тревогу, но я приду еще. А потом мы будем с тобой вместе. Помни, что мы заключили союз для восстановления царей и правды. Теперь это будет целью моей жизни.

О, как я люблю тебя. Ты мой храм, моя жизнь, мое солнце. Лидия».

Генерал скомкал записку и швырнул ее на пол.

— Какая гадость! Как это глупо, — бормотал он, внутренне краснея, — я ей говорил о себе... Какой-то бабе... Дурак! — Он вскочил и заметался по юрте.

— Она хочет восстанавливать царей... Она хочет... Ха-ха, — зло рассмеялся он. Его же мысли показались генералу теперь смешными и нелепыми, как пьяный бред. Иногда он останавливался, вспоминая какую-либо подробность из своей беседы с Лидочкой, и вновь начинал метаться, изрыгая проклятья по ее адресу и браня себя.

Раздражение, вызванное собственными поступками, перерастало в ненависть к жене Нуренгаузена.

— Я был болен, у меня был приступ малярии, — старался оправдать себя генерал... Нервы... Но она...

Он боялся выйти из юрты и встретиться с подчиненными. Ему казалось, что все уже знают о его свидании с Лидочкой и рассказывают друг другу про него анекдоты.

— Теперь окончательно падет дисциплина, у них есть повод обнаглеть, смеяться! «Ты мой храм, моя жизнь», — вспоминал он и рассеянно бормотал: — господи, какие бывают дуры, какие дуры!

Внезапно генерал вспомнил, что давал Лидочке дневник. Задыхаясь от стыда и злобы, он принялся искать тетрадь. На полу и под подушкой ее не было.

— Она взяла его с собой, — завопил генерал и опустился в изнеможении на койку.

— Они теперь, вместе с этим цветочным болваном, читают мои записи.

Генерал был раз'ярен. Он уже с трудом владел собой. Ему хотелось закричать, ломать вещи, стрелять — дать волю своим нервам.

Он чувствовал себя бессильным исправить что-либо и Лидочка из вчерашнего друга превращалась в непримиримого врага.

— Сейчас отдам распоряжение об ее аресте, — решил генерал. — Нужно вер-

нуть дневник, а ее выслать вон из лагеря, пока она еще не успела всем рассказать о нашей встрече... До чего я дошел со своими нервами...

Он уже распахнул дверь, чтобы позвать коменданта, но вспомнил, что не одет, и вернулся. Накинул на себя терлик. На столе валялся открытый дневник.

— Здесь, — облегченно вздохнул генерал, чувствуя мгновенную усталость.

Он схватил тетрадь. Бросилась в глаза Лидочкина запись. «Ты прекрасен так же, как небесный креп-де-шин, Люция».

— Это издевательство, — прошипел генерал, — так все опошлить...

Дневник и записанные в нем мысли стали сразу ненужными и стыдными. Но больше всего убивало генерала, что они теперь сделались достоянием всех.

— Уничтожить, сейчас же сжечь...

Генерал подошел к очагу и опустился на колени. Он принялся раздувать чуть тлеющие угли. Седой пепел, похожий на пыль, взлетел, оседая на волосы и усы генерала. Зажмурив глаза и собрав губы, генерал дул с остервенением. На лбу вспухли голубые вены, узловатые и тугие, как сухие корни саксаула. Когда над пеплом заколыхались синие перья огня, генерал осторожно положил на угли дневник. Он с тоской следил, как чернели переворачиваемые огнем страницы, и только когда вместо тетради распустился огромный черный цветок, генерал встал. Вдруг ему стало жаль сожженных мыслей. Он склонился над очагом. На остывающем пепле дрожали хрупкие листы и на них еще чудились знаки букв.

— Ничего не надо... Слабость, все слабость... лучше так.

Генерал сгорбился. Спрятал голову в плечи и присел на койку. Он долго сидел, смотря на сверкающее стремя седла, на котором лежал солнечный луч.

На двухверстной карте Забайкалья был нарисован красный треугольник. Основание его лежало на черной как телеграфная лента границе Советского Союза, а вершина терялась в зеленой глади Орхонских степей. Одно ребро треугольника совпало с голубой жилой Селенги, и река стала грязно-розовой, как будто вода в ней была смешана с кровью.

В треугольнике были расставлены точки, отдельные буквы, знаки орудий и пулеметов, а к его основанию летели синие стрелы, обозначающие направление удара, которым генерал хотел ворваться в пределы Союза. Навстречу синим стрелам щетинились такие же красные стрелы и жирными полосами перед ними была намечена линия возможных встреч с Красной армией.

Генерал разрабатывал план похода и наступления на русскую революцию.

На листке полевой книжки он делал заметки: «Правый фланг — бригада — полковник Резин. Левый — Архипов. Центр, главные силы — я; Митрофанов — пополам. Половина — мне; поровну флангам (нужно узнать, сколько снарядов). Пулеметный эскадрон — на охрану флангов».

Он посмотрел на красный треугольник, подумал и около углов при основании нарисовал вправо и влево еще по одной синей стрелке, обозначив их буквами П. Э.

План был окончен, но генерал оттягивал момент начала действий — он все ожидал, что Богдо-Гыгэн сдастся и выпустит воззвание к монголам.

Целое утро генерал волновался, вспоминая историю с Лидочкой. Он каждый момент ожидал ее прихода и всякий раз при этом испытывал чувство школьника, проболтавшего товарищам секрет, которого они не поняли и осмеяли.

Чтобы оградить себя от неприятного визита, генерал поставил к дверям юрты дневального и приказал ему никого не пускать.

Он до заката просидел над планом похода и, только окончив его, вызвал для доклада коменданта.

В то время как генерал рисовал на карте красный треугольник, к юрте два раза подходила Лидочка и требовала свидания с начальником отряда.

Генерал не пропустил ни одного слова из разговора дневального с Лидочкой, но не вышел, а наоборот старался не шуметь и, затаив дыхание, не шеве-

лясь, он просидел пока женщина не ушла. Он начинал бояться встречи с женой Нуренгаузена и не хотел выдать свое присутствие в юрте.

Вошел комендант. Он как всегда был сумрачен и угрюмо глядел на тупые носы своих сапог. Слушая приказания, он исподлобья взглядывал на генерала и тотчас же опускал глаза. Его огромное лицо было мокрым от пота и блестело как заезжанное седло.

— Я вызвал вас для доклада, — сказал генерал, не глядя на коменданта.

— Слушаюсь.

— Только короче — у меня должен быть сейчас еще начальник штаба, — генерал испытывал при коменданте неловкость и скорее хотел окончить его прием. Он знал, что капитану Пегову (так была фамилия коменданта) известно все, что происходит в лагере, и проведенная генералом ночь с женщиной не могла быть не замечена.

Комендант докладывал:

— Вчера ночью дежурный офицер — поручик Коротких, во время поверки караулов, обнаружил пропажу пулемета. Когда он выстроил караул, не оказалось двух человек и разводящего. Они бежали...

— Почему не доложили об этом мне вчера, — прервал его генерал, вскакивая с койки, — о таких происшествиях я приказывал докладывать немедленно!

— Так точно, ваше превосходительство, но вы были не один, — комендант поперхнулся. — Поручик Коротких не решился побеспокоить вас. Он три раза подходил к юрте, но...

— Хорошо, — отрезал генерал, — что вы предприняли?

— Отправил разведку в двух направлениях. Пока еще раз'езды не вернулись. Караульный начальник арестован. Производится дознание.

— Какое дознание? — побагровел генерал, — караульный начальник ответствен за состав караула... Повесить и об'явить войскам... Повесить на холме перед лагерем, чтобы все видели...

— Слушаюсь.

У генерала запрыгала губа, но, взяв себя в руки, он сказал почти спокойно:

— Что еще?

— В монгольской сотне вчера выдавали обмундирование, привезенное из Даурии. Монголы отказались надевать прорезиненные брезентовые сапоги, потому что на их подошве и голенищах клейма в виде красного треугольника.

— Почему? — удивился генерал.

— Какой-то лама рассказал им, что треугольник — страшный знак и его нельзя топтать. Я приказал арестовать ламу, не успели — он скрылся. Теперь монголы боятся и кричат, что будет плохо. Не исполняют приказания. Боясь за дисциплину, командир эскадрона приказал силой надеть сапоги на одного всадника. Казаки его повалили, надели сапоги. Он сначала кусался, потом заплакал... Лежит, не хочет вставать. Разули. Так ничего и не вышло.

— Выдайте прорезиненные сапоги казакам, а их старую обувь монгольскому эскадрону, — сказал раздраженно генерал, — я уже приказывал вам не докладывать мне о всяких пустяках...

— Ваше превосходительство, я бы не докладывал вам, если бы не случилось еще одного происшествия, — сказал комендант. — Вахмистра, который заставлял монголов надевать сапоги, нашли сегодня утром зарезанным. Кто зарезал, не выяснилось. В монгольском эскадроне на поверке не оказалось трех всадников. Они отлучились из лагеря, взяв с собой лошадей и оружие.

Капитан Пегов ожидал, что последнее сообщение вызовет у генерала взрыв негодования. Он, помня, что Штернберг требует, чтобы подчиненные во время внушения смотрели прямо в глаза начальнику, оторвался от своих сапог и взглянул на генерала.

С изумлением он заметил, что генерал был озабочен совершенно другим. Он, стиснув зубы и наморщив плоский лоб, напряженно рассматривал красный треугольник, нарисованный на карте. Из треугольника летел сноп разноцветных стрел.

«Пронесло», — подумал комендант, вновь опуская глаза. — Сегодня его больше интересует схема боев».

— Они говорят, что красный треугольник плохой знак, — задумчиво

сказал генерал, — я бы хотел видеть этого ламу...

— Никто не знает, где он.

— Постарайтесь отыскать.

— Странно. Красный треугольник, — генерал водил пальцем по карте и, как будто забыв о присутствии коменданта, бормотал: — но ведь, опустив фланги и выпятив середину, я могу сделать его почти сектором...

Вдруг лицо генерала исказилось, бесцветные глаза его выкатились из орбит, а правое плечо прыгало как у больного падучей. Он весь содрогался. Никогда еще не видел его комендант таким страшным.

— Слышите... Слышите... — генерал смотрел с ужасом на дверь.

У юрты послышался голос Лидочки.

— Вы мне врете, человек не может спать целый день. Пропустите меня. Я имею очень важные сообщения.

Дневальный молчал.

— Я не хочу, чтобы она входила сюда, — испуганно шептал генерал. — Выйдите и скажите, что я занят, чтобы она ушла... Скорее, она войдет, — он не мог оторвать глаз от створчатой двери юрты.

Комендант поспешно вышел.

Лидочка стояла, играя зеленым шелковым зонтиком. Она была невероятно пестрой. Ее платье казалось было сшито из разноцветных ярких лоскутков и отливало всеми цветами радуги.

«Как ярмарочная выставка ситцев», — подумал комендант.

— Ах, это вы, — воскликнула Лидочка, делая приятную улыбку, — как удачно, что мы встретились. Я к генералу.

— Он вас не примет сегодня, — сказал мрачно комендант, — он занят.

— Я подожду здесь пока не освободится.

— Идите и сидите в своей юрте, — сказал грубо Пегов, — я потом зайду и скажу, когда вы сможете увидеть его превосходительство.

Видя решительное и злое лицо коменданта, Лидочка сдалась.

— Хорошо, хорошо я пойду, — залепетала она, грозя коменданту игриво пальцем, — только не обманите... Не пускает, противный!

Женщина потрясла кудряшками и, раскачивая зонтиком, пошла к юрте Нуренгаузена.

Когда комендант вошел, генерала все еще трясло, но теперь глаза его сузились и были только злы.

— Я не хочу ее больше видеть, — сказал он с расстановкой, — слышите, капитан, — никогда. Она второй день пристает ко мне. Отрывает от дела. Я тысячу раз говорил, чтобы не было женщин в лагере, но вы все-таки допустили...

Лицо генерала снова начинало дергаться. Комендант понимал, что оправдываться все равно бесполезно — в такие минуты генерал был невменяем.

— Убрать! Сегодня же, и чтобы я больше не слышал о ней. — Поняли?

— Слушаюсь!

Пегов посмотрел на генерала и тот вдруг покраснел и отвернулся к стене. Комендант неловко переминался с ноги на ногу. Он понимал, что генералу стыдно, что история с Лидочкой беспокоит его, и не знал стоит ли докладывать дальше.

«Сегодня уберу ее, а завтра все «наладится», — подумал он и решив, что самое лучшее сейчас оставить генерала одного, заканчивая доклад, спросил:

— Какие распоряжения будут на завтра, ваше превосходительство?

— Да, — обрадовался Штернберг, — что кончен разговор о Лидочке, — завтра я буду осматривать готовность частей к дальнейшему походу. Больше ничего, вы свободны.

Комендант вышел из юрты и подозвал дневального.

— Если придет эта баба, не пускай к генералу. А будет лезть — коли ее. Понял?

— Так точно, понял.

— Передай и очередному дневальному, чтобы не пускал.

— Слушаюсь.

— Теперь убрать, а вчера... — усмехнулся комендант и посмотрел в сторону юрты Нуренгаузена. — Дорогая любовь.

Он вынул папиросу, закурил ее и, загребая вогнутыми внутрь носками, пошел к начальнику штаба договориться о приказании по поводу смотра частей.

Как всегда это бывает при инспекторских смотрах, генерал нашел бесчисленное множество упущений. Артиллерийские лошади почти все нуждались в перековке или расчистке копыт, в эскадроне генерал обнаружил заржавленные клинки; на учебной стрельбе пулеметы работали с частыми задержками, потому что оказались плохо собранными, а пулеметные ленты — слабо набитыми патронами.

Весь отряд был поставлен на ноги. Чистили конскую амуницию, мыли седельные потники, протирали снаряды, освобождая их от ржавчины и грязного орудийного сала, пристреливали винтовки...

Еще до восхода солнца генерал был уже готов производить смотр. Он всегда неожиданно и шумно появлялся то в одной, то в другой из частей своего отряда и не отдыхая бегал по лагерю до отбоя, когда совершенно разбитым от усталости возвращался к себе в юрту. Генерал не успевал даже обедать, а питался на ходу, доставая из-за пазухи куски вареной баранины, и ел ее, разрывая грязными пальцами.

В эти дни строгость его превзошла все пределы.

В подразделениях отряда почти не осталось не подвергнутых дисциплинарным взысканиям людей. После вечерней поверки, наказанные роты, пригибаясь к земле, в полном составе маршировали гусиным шагом вокруг коновязи, вызывая своим видом смех у приезжающих с провиантом и фуражом монгольских подводчиков.

Перед каждой офицерской юртой торчал поставленный под шашку казак, а около комендантской палатки не прекращались крики солдат, которых пороли за самые незначительные проступки. Поглядывая в сторону комендантского жилья, казаки острили, плохо сдерживая рвущуюся наружу ярость.

— Пыль с заду выбивают, для облегчения всадников,—коней, видно, генерал жалеет...

Они бродили по лагерю измученные и унылые. Каждый до того привык к наказаниям, что уже не боялся их.

Никто не был заражен энергией генерала и это печалило и злило его.

— Обленились, раз'елись, — ворчал Штернберг, — двигаться лень...

Во время осмотра артиллерийского дивизиона, генерал заметил казака, который чистил амуницию без всякого старания, едва лишь дотрагиваясь сальной тряпкой до покрышки хомута.

— Чего ты как вареный, — крикнул он.

Казак нехотя встал и посмотрел прямо в глаза генералу.

Спокойствие казака поразило Штернберга, он перестал кричать и сказал:

— Родину идешь спасать, а как работаешь. Торопиться нужно, чтобы все успеть. Красные ждать не будут...

— Слушаю, — сказал казак безразлично и опустил глаза.

— Что думает он сейчас, — старался угадать генерал, — я строю план похода, готовлюсь к боям, а он? — и сейчас же вспомнил слова пленного комиссара: «Они тебя ненавидят, но пока еще боятся».

«Их много, а около меня только кучка офицеров», — подумал генерал и испугался. Вслед за страхом пришла ненависть.

«Его нужно убить — он уже не боится. Он понял свою силу. Но нельзя же убить всех...»

Казак стоял, вытянув по швам руки, и ожидал, когда генерал разразится бранью.

— Или ты не хочешь спасать родину? — строго спросил Штернберг, отрываясь от своих мыслей.

— Так точно хочу, вашдитство, — уныло сказал казак, — как можно не хотеть...

Генералу показалось, что по лицу казака судорогой пробежала насмешливая улыбка, но он сейчас же спрятал ее и, сурово наморщив лоб, взял под козырек.

«Не верят мне, не верят, — с ужасом думал генерал, возвращаясь вечером к себе в юрту, — им нет дела до моих планов».

Он ярко ощутил пропасть, разделяющую его и солдат.

— Договориться нельзя — общих слов нет. Они все большевики, во всяком случае каждую минуту могут стать ими.

Весь вечер генерал старался придумать способ поднять боевой дух у солдат. Он понял, что с одной строгостью и лозунгом «за спасение родины от большевиков» воевать нельзя.

Уже в постели пришло решение: «нужно не только наказывать, но и награждать». «Я должен создать кадры довольных и преданных мне людей»...

На следующий день, утром, после молитвы, читали в полках приказ о производстве нескольких унтер-офицеров и фейерверкеров в прапорщики.

— Своих мало, — зубоскалили солдаты, — без мала на казака — два. Теперь ребят не узнаешь — их благородие стали. Тюха, Матюха, Колупай с братом.

Командиры, особенно кадровые, были тоже недовольны таким обильным производством солдат в офицеры. Ворчали: «Засоряет офицерскую среду хамьем — урожай на прапорщиков. Скоро командовать некем будет».

Недовольство генералом росло и вместо преданных людей появлялось все больше и больше врагов.

В частях не могли понять, что случилось с генералом. Он стал мягче и щедро раздавал награды.

В конной батарее был произведен в прапорщики только что выпоротый за грязное состояние пушек фейерверкер Кривых. Он ходил надутый и важный, как именинник, и все время поглядывал, на месте ли новенькие сверкающие погоны.

Бомбардир Чижик, еще не заслуживший производства, подошел к Кривых поздравить земляка.

— Проздравляю, — сказал он, — с чего бы такая милость. Ишь чином ублаготворил. — Он осклабился, — ребята говорят: «генерал как с баранухой спарился, подобрел, теперь скоро замиренне будет... Грехи отмаливать хочет».

— Хы-хы, — засмеялся Кривых, вспоминая жену барона Нуренгаузена и генерала, но вдруг спохватился, что он офицер и выкатывая глаза заревел.

— Что! Каки таки баранухи? Твое дело за собой смотреть. Сопи ноздрей да замолчь. Дела нет. Развинтили гайки!.. Иди три пушку препорученную, чтоб блестела как собачьи глаза...

Но через минуту Кривых, боясь, что такое обращение с земляками может плохо обернуться для него, уже заискивающе говорил обиженному Чижику:

— Федя, друг, не забижайся, сам понимаешь дело мое теперь такое — офицерское.

О всех разговорах, которые ходили в отряде, и о недовольстве офицеров комендант рассказал генералу.

Штернберг помрачнел. Он ушел в свою юрту и больше не появлялся в отряде. Он понял, что мост через пропасть ему перекинуть не удалось.

Вечером на горизонте клубились тучи. Они шли с запада, постепенно загромождая небо. В артиллерийском парке суетились казаки, покрывая брезентами пушечные снаряды.

— Ливня не миновать, — сказал солдат, натягивая на ящики конец огромного негнущегося брезента.

Другой посмотрел на небо и коротко ответил:

— Черно! Ни луны, ни костров. Слыхал: запретил генерал костры-то держать. Говорят красные недалеко.

— Ночь темная будет. Хорошо бы сегодня уйти... А?

— Рано, погоди ближе подойдем к России... Степь чужая — не дойдешь. Жди, вишь к чему дело идет — все ума набрались. Чо по одному, всем зараз надо...

Казаки укрыли снаряды от дождя и разбрелись по палаткам. Лагерь опустел. Как нахохленные степные совы, стояли часовые и дневальные, заранее подняв капюшоны неуклюжих брезентовых плащей. Было душно. Далекие молнии сверлили горизонт.

Генерал сидел на койке в юрте и прислушивался к глухому гулу приближающейся грозы. Помятая карта, с нарисованным красным треугольником, лежала на столе и тут же валялся неоконченный приказ на выступление в поход.

Генерал не мог решиться подписать его, но боялся и посоветоваться с кем-либо из командиров полков, потому, что подозревал в каждом изменника.

Целыми часами смотрел он на карту, отыскивая новых путей, которыми было бы легко провести отряд к Забайкалью — путей с обильными пастбищами и богатыми скотом улусами.

Красный треугольник на карте раздражал генерала. Всякий раз, взглядывая на него, Штернберг вспоминал слова ламы о несчастии, которое должно постигнуть каждого, носящего этот знак, и волновался.

— Мало ли какой вздор болтает выживший из ума монах, — пытался успокоить себя генерал, но ничего не выходило и суеверный страх мелкой дрожью щекотал его затылок. В конце-концов Штернберг не выдержал. Он подвинул к себе карту, взял карандаш и округлил треугольник, который теперь вытянулся, как длинное с очень заостренным концом яйцо.

«Так лучше», — по-ребячьи подумал генерал и успокоенный положил карту в карман.

Этот вечер Штернбергу было особенно не по себе. Его мучила непонятная тревога.

«Что такое со мной, — думал он, — доклад коменданта, — нет не то, пустяки, не первый раз».

Легче всего было обвинить свои нервы и генерал вздохнул: «Болен... С таким напряжением работать нельзя...»

Он хотел записать события последних дней, но вспомнил, что сжег дневник. На момент опять стало жаль клеенчатой тетради, в которой были собраны мысли — формулы для доказательства своей правоты. Генерал усмехнулся:

— Правота... Красные мешают мне жить, как хочу я, и я борюсь с ними, ненавижу их, и чем они будут сильнее, тем больше буду ненавидеть... К чему теперь нужны еще какие-то оправдания... Барон Нуренгаузен аристократ, а его заставили делать бумажные цветы; ему это не понравилось и он бежал ко мне, потому что надеется снова стать губернатором...

«Небесный креп-де-шин», — вдруг вспомнил генерал слова Лидочки и засмеялся.

— Чорт его знает, может быть действительно каждый должен придумывать свой «небесный креп-де-шин» для забавы, истории и самоутешения...

Генерал поразился. Он вспомнил о жене Нуренгаузена без всякого раздражения. Напротив того, он почувствовал, что скучает о ней и сразу нашел оправдание своей тревоге — ее рождало желание видеть Лидочку.

— Нет, нет, — сопротивлялся генерал, — я не должен делать этого...

Но жена Нуренгаузена не выходила из головы, и генерал волновался. Оставаться в юрте было невыносимо.

«Пойду проверю посты, — подумал он, обманывая себя, — нельзя солдат выпускать из рук ни на минуту»... — и вышел из юрты, уже зная, что идет искать жену Нуренгаузена.

Небо было затянуто тучами. С запада дул свежий ветер. На холме все еще торчала новенькая виселица и под ней качалось тело казненного караульного начальника.

«Нужно приказать убрать ее, — подумал генерал, — она уже надоела и ни на кого не производит впечатления».

Штернберг прошел мимо палаток комендантского взвода, остановился, как-будто решая, в какую сторону итти, и повернул к юрте Нуренгаузена.

Недалеко от юрты барона стоял дневальный. Увидав генерала, он вытянулся и отдал честь.

Генерал даже не заметил его.

«Если вон до той большой юрты, — сосредоточенно думал Штернберг, вглядываясь вперед, — пятьдесят или меньше шагов, то все будет хорошо... Я увижу Лидию, а потом будет победа, — если нет, значит нужно ждать»... — Он, стараясь делать большие шаги, прошел мимо дневального.

«Что-то вымеряет», — подумал удивленно тот, с любопытством следя за генералом.

Шагов оказалось сорок пять и генерал радостно улыбнулся: «Теперь он обязательно увидит Лидочку».

«Если она обиделась, — подумал Штернберг, — я извинюсь и скажу, что был очень занят...»

Он прошел несколько раз мимо юрты барона и заглянул в ее приоткрытую дверь. В юрте было темно и тихо.

— Подожду, скоро должны вернуться — уже поздно, — решил Штернберг и сейчас же заволновался:

— А, может быть комендант уже успел выслать ее из лагеря...

Это предположение расстроило генерала.

— Постоянно, когда не нужно торопятся, — ворчал он, поглядывая в сторону юрты коменданта, — рады воспользоваться любым предлогом, чтобы досадить мне...

Он стоял спиной к дневальному и вдруг кто-то сзади схватил его за карман терлика, где находился револьвер.

— Хотят разоружить... — мгновенно сообразил генерал, чувствуя как у него немеют колени, и рванулся в сторону. Содрогнувшись, он испуганно вскрикнул и выхватил браунинг. Обернулся. Перед ним стоял батарейный козел. Он разглядывал генерала и фыркая тряс редкой бородой, похожей на пучок сухой травы.

Козел напоминал больного старика: его глаза слезились, а нижняя губа беспомощно отвисла и дрожала. Он тянул к генералу горбоносую морду и нюхал воздух.

Сдерживая трусливую дрожь, Штернберг с невыразимой злобой смотрел на животное.

Появилось непреодолимое желание убить его.

— Стрелять нельзя — сбегутся казаки, — соображал он, а потом будут смеяться и говорить, что генерал боится козлов...

Он крикнул дневального. Казак подбежал.

— Руби! — приказал Штернберг, указывая на козла.

— Что прикажете, ваше превосходительство, — не понял казак.

— Сейчас же руби, — закричал искажаясь генерал, — руби его!

Казак нерешительно вынул шашку и ударил козла по косматой шее. Козел упал на колени. Он мотал головой, разбрызгивая пенистую слюну и кровь.

— Как сдохнет, прикажешь убрать, — сказал генерал и пошел к холму, около которого были расположены юнкерские палатки.

«Они своими доносами довели меня до предела подозрительности, — подумал он о коменданте и начальнике штаба, — мне везде чудятся предатели... — и снова вспомнил о Лидочке, — она говорила, что будет помогать мне... Зачем я поторопился».

Зайти к коменданту и спросить, где семья Нуренгаузена, генералу было стыдно, и он бродил по лагерю, с каждой минутой теряя терпение и надежду встретить Лидочку...

В степи около лагеря поднялся розовый столб костра.

— Жгут! — остановился генерал. — На постах греются после приказа: не держать костров.

Он повернул в сторону зарева и почти побежал, чтобы наказать дозорных... Распахнувшийся терлик вздувался сзади как синий парус, трава заплетала ноги...

— Я прикажу запороть их, — скоты!..

У костра сидел человек. Он грелся, вытянув над огнем руку. Огромное и тощее тело человека было сгорблено как склонившийся над добычей беркут.

— Эй, кто это? что здесь делаешь? — крикнул в недоумении генерал, останавливаясь.

Человек поднял от костра желтое и сухое, как обглоданная кость лицо. Он посмотрел на генерала и нехотя ответил:

— Я живу здесь и жду генерала Штернберга?

— Зачем? — генералу стало внезапно жарко.

— Мне больше негде жить, а генерал должен ответить за мою жену...

— Что? Что ты говоришь, — задохнулся Штернберг.

Человек узнал генерала и вскочил:

— Я Нуренгаузен, — закричал он. — Где моя жена?.. Куда вы увезли ее?..

— Нуренгаузен!.. — бормотал растерянно генерал, — я сам только что искал ее... Я не знаю... О чем вы говорите?

— Лжешь, — закричал угрожающе че-

ловек, — лжешь! Ты убил ее. После ночи, которую она была с тобой... больную истеричку... даже ее... даже ее, женщину... убийца!..

Тощий человек метался у костра. Он взмахивал руками и задыхаясь хватался за грудь, а за ним прыгала и кривлялась его чудовищная изломанная тень...

Нуренгаузен неожиданно выпрямился и шагнул к генералу.

— Не подходи! — пугаясь закричал тот, — я выстрелю... не подходи.

— Стреляй, стреляй, — ревел Нуренгаузен, разрывая ворот тужурки и оголяя грудь... — Убийца...

Но вдруг он заплакал и опускаясь на траву забормотал:

— Зачем она не послушалась меня... Кто бы ее тронул там... Они уже простили...

Генерал стоял ошеломленный — ему только сейчас пришло в голову, что Пегов мог убить Лидию.

— Проклятый! — закричал барон, вновь вскакивая на ноги. Он в злобном отчаянии схватил из костра горящую головешку и швырнул ее в генерала. Она пролетела над головой Штернберга и шипя упала в траву.

Генерал вздрогнув, отскочил в сторону. «Сумасшедший, — в страхе подумал он, шаг за шагом отступая от костра,— но что они сделали с его женой?».

Длинное тело Нуренгаузена раскачивалось над костром... Окутанный дымом, он был похож на камлающего шамана.

Штернберг, осторожно ступая, отходил все дальше и дальше. Уже минуя сопку, он увидел, как внезапно барон сгорбился, почти падая в костер, тело его содрогнулось и генерал услышал надрывный и хриплый кашель, похожий на собачий лай.

— Пегов убил Лидочку, — твердил генерал, — нет, этого не может быть... Я не приказывал... Но ведь я распорядился убрать ее, — вспоминал он, — а комендант мог понять... Да я и сам тогда думал так... хотел этого, — генерал ощутил возникшую пустоту, тело сделалось вялым, а сердце ныло, как будто кто-то его сжал в кулак...

Как в забытьи, он дошел до своей юрты, зажег светильник и присел на койку. Тишина пугала.

«Он сейчас придет», — думал с ужасом генерал о Нуренгаузене. Посмотрел на дверь.

— Ее чем-нибудь нужно загородить... Нет, он сумасшедший, он все равно ворвется. Лучше вызвать сейчас начальника штаба и мы просмотрим еще раз план похода...

Штернберг старался не вспоминать больше о Лидочке. Это было ему слишком тяжело. Он теперь знал наверное, что ее убили.

Штернберг уже встал, чтобы вызвать начальника штаба, но в это время около юрты послышались шаги.

— Нуренгаузен, — вздрогнул он. — Вот сейчас откроется дверь... Он хочет мстить... — Генерал отскочил к стене юрты и приготовился защищаться.

— Ваше превосходительство, можно зайтить?..

Генерал узнал голос денщика коменданта.

— Да, да, — крикнул он, чувствуя мгновенное облегчение.

Денщик вошел и опасливо покосился на браунинг, который генерал забыл спрятать.

— Я принес ужин...

— Ужин, — сказал не соображая генерал и вдруг криво усмехнулся, — с ядом или без яда. — Он вспомнил, как комендант убил одного из командиров полков, угостив его отравленным супом.

— Что прикажете? — солдат повернул свое обезображенное шрамом лицо к генералу.

«Он убил ее, — подумал Штернберг.— Он выполняет такие приказы Пегова» — Штернберг, собирая остатки воли, взглянул на солдата.

— Ты помнишь жену барона Нуренгаузена?

— Так точно, помню.

— Где она?

— Приказание вашего превосходительства исполнено.

— Как? — генерал с трудом сдерживал дрожь.

— Их благородие приказали без шума, — сказал шопотом солдат, боясь что его могут услышать снаружи юр-

ты. — Я отвел подальше, будто вы требовали ее, и петлей...

— Задушил! — вскрикнул генерал.

— Точно так, ващдитство... шума не было... никто не знает исчезла и все тут, — денщик улыбнулся.

— Исчезла, — повторил генерал и вдруг понял, что сейчас убьет денщика.

Солдат стоял перед ним тучный и страшный.

«Теперь он знает больше, чем следует подчиненному», — подумал генерал и поднял браунинг...

Денщик ахнул и растопыренной пятерней закрыл лицо. Штернберг увидел перед собой показавшуюся ему огромной жирную кисть руки, из-под которой смотрели испуганные глаза солдата, и нажал спусковой крючок...

Денщик с грохотом упал, вышибая головой дощатую дверь.

— Конвой! — заорал генерал, для чего-то вскакивая на койку. — Конвой ко мне...

Первый прибежал комендант. Он был растрепан и на ходу застегивал портупею.

— Этот негодяй хотел убить меня, его подкупили, — кричал генерал, указывая на труп солдата...

— Комендант угрюмо сопел, недоверчиво взглядывая то на лежащего денщика, то на мечущегося Штернберга и молчал.

К юрте собирался монгольский конвой. Монголы вбегали в юрту через тело денщика. В лагере заиграли «тревогу».

Генерал крикнул: «Кто поднял тревогу. Я не приказывал...»

Вбежал ад'ютант.

— Части двигаются на запад, — никто не знает куда, ваше превосходительство!

Генерал выбежал из юрты и столкнулся с начальником штаба.

По лагерю скакали конные, громыхала артиллерия.

Генерал услышал голос полковника Митрофанова.

— Справо поорудийно рысью маарш!

— Куда они едут? — соображал генерал и накинулся на начальника штаба.— Где сборный пункт, куда они едут? Почему не спросили меня.

— Не могу знать, ваше превосходительство, — отрапортовал начальник штаба. — Я не отдавал приказа.

— Где сборный пункт?.. Остановить части на сборном пункте, — приказал генерал.

Ад'ютант вскочил на коня и, бестолково задергав поводьями, поскакал в степь.

Монголы привели коня Штернберга.

— Вот сборный пункт, — показывал начальник штаба, освещая электрическим карманным фонарем карту. — Вот здесь... около кустов.

На карте генерал увидал нарисованный красный треугольник.

— Измените этот чертеж, — сказал он раздраженно, указывая на треугольник, опустите фланги...

— Но ведь это неважно — это схема.

— Очень важно, не рассуждайте, когда я говорю, — повысил голос генерал и взял из рук коновода поводья.

— Слушаюсь, — ответил спокойно начальник штаба и, пожимая плечами, подумал: «он начинает сходить с ума».

— Едем, — крикнул генерал монголам и вскочил на лошадь.

За лагерем, около сопки, поднялась ружейная стрельба. Кто-то крикнул: «красные». Началась паника.

— Где красные. Сколько красных, — допытывался генерал у встречных офицеров, но никто не знал.

Пули свистели рядом. Под'езжая к кустам у сборного пункта генерал услышал: «Стреляйте, стреляйте! — вон они едут».

Он пришпорил лошадь, но в тот же момент кто-то схватил его за плечи и стащил с седла...

Конский хвост больно хлестнул по лицу...

— Что это, — не понял генерал.

— Вяжите его, товарищи. Вяжите, живым доставить нужно...

Генерал рванулся и застонал от бессилия. На него навалились и держали несколько казаков.

— «Красный треугольник», — вдруг вспомнил он и закрыл глаза.

Семипалатинск

Полдня июльского тяжеловесней,
Ветра легче — припоминай, —
Шли за стадами аулов песни
Мертвой дорогой на Кустанай,
Зноем взятый и сжатый стужей,
В камне, песках и воде рябой,
Семипалатинск, город верблюжий,
Коршуны плавают над тобой.
Здесь, на грани твоей пустыни,
Нежна полынь, синева чиста
Упала в Иртышскую зыбь и стынет
Верблюжья тень крутого моста.
И той же шерстью, верблюжьей, грубой,
Вьется трава у конских копыт.
— Скажи мне, товарищ розовогубый,
На счастье ли мной солончак разбит?
Висит казакстанское небо прочно,
И только Алтай покрыт сединой.
— На счастье ль все карты спутав нарочно,
Судьба наугад козыряет мной?
Нам путь преграждают ржавые груды
Камней. И хотя бы один листок.
И снова, снова идут верблюды
На север, на запад и на восток.
Горьки озера. Навстречу зною
Тяжелой кошмой развернута мгла,
Но соль ледовитою белизною
Нам сердце высушила и сожгла.
—Скажи, не могло ль все это присниться,
Кто кочевал по этим местам,
Товарищ, скажи мне, какие птицы
С добычей в клюве взлетают там?
Круги коршунья смыкаются туже,
Камень гремит под взмахом подков.
Семипалатинск, город верблюжий,
Ты поднимаешься из песков!
Здесь долго ждали улыбок наших, —
Прямая дорога всегда права.
Мы пьем кумыс из широких чашек
И помним: так пахла в степях трава.
Горячие песни за табунами
Идут по барханам на Ай-Булак,
И здорово жизнь козыряет нами,
Ребятами крепкими, как свежак.
И здорово жизнь ударяет метко, —
По праву, по месту ты ей ответь,
Мы первую железнодорожную ветку
Тебе дарим, как зеленую ветвь.
Кочевники с нами пьют под навесом,
И в меру закат спокоен и ал,
Меж тем как под первым черным экспрессом
Мост первою радостью затрепетал.
Меж тем как с длинным, верблюжьим ревом
Город оглядывается назад,
Но мы тебя сделаем трижды новым,
Старый город Семи Палат!

Павел Васильев

Из Средней Азии

Я пройду неслышными шагами,
Пыльный пол полью из пестрой чашки,
Тонет улица в ребячьем гаме,
Красит солнце рваные рубашки.
Шаткой лестницей пройду к резным
воротам,
Как увидит — стихнет детвора,
И ползет ленивая жара
По полям, кибиткам и воротам.
Я чуть-чуть дрожу от лихорадки,
Или мне прохладой дальних рек
Тянет ветер, медленный и сладкий,
Темный и ленивый как узбек.
Шумно пробегают ишаки,
Присмирев глазеют ребятишки,
Я стою... и выпадают книжки
Из моей опущенной руки.
Странная и дикая страна,
Ты встречаешь пылью и пустыней,
Но смотри — на небе сок гранат,
Воздух пахнет травами и дыней.

Ничего, что вот — дрожит рука,
Буду знать от слова и до слова,
Ничего, что я без языка
Оттого, что лихорадит снова.
Долечуся как-нибудь, вздыхая,
Доучусь как следует до дна,
И вернусь к тебе, страна сухая,
Белая, хлопковая страна.
Я вернусь. И вот на этой книжке,
Пыльной от дорог глухих,
Говорю, что эти ребятишки
Пить не будут из канав таких.
Вместо этих, где лягушки стонут,
Расточительных, как праздный человек,
Мы попробуем каналы из бетона
Для размывчивых узбекских рек.
И какой-нибудь узбек в халате,
Угощая кавуном с бакши,
Скажет мне когда-нибудь в закате:
«Эй, Апа́! Якши!»

Евгения Смирницкая

Победители

Ив. Катаев

1

Три основания у всякой реконструктивной удачи, у всякого нынешнего счастливо завершенного предприятия, — три главнейших фактора, как три кита:

отличный организатор-руководитель;

достаточная техническая оборудованность;

сильная и правильная политическая организация.

Для краткости эту триаду можно записать так:

человек — машина — партия.

Творческая воля масс напряжена ныне в любом пункте страны, повсюду готова на трудовой приступ. И три эти силы, в их сочетании и взаимодействии, необходимы и достаточны для того, чтобы вызвать энергию масс к действию, организовать и оборудовать их, чтобы с наименьшими потерями, с наивысшей скоростью провести их сквозь чащу препятствий и добиться наиболее полной победы.

2

В поездках по неб'ятной стране бурь и натиска, в газетных сообщениях, в свидетельских рассказах обнаруживаются тысячи доказательств этой простой истины: неисчерпаемо велико значение человека, стоящего во главе дела. В трудовые, творческие годы роль личности едва ли не выше, чем во времена разрушительные, критические. Недаром, на пороге строительной эпохи, величайшей личностью было предуказано: «Главное теперь в людях, в подборе людей».

Стоит только в наши дни, увидав крепкое, стройное, многообещающее предприятие, поинтересоваться, чему обязано оно своим высоким уровнем — и всегда, и раньше всего, окажется, что это предприятие основано, возведено, руководимо отличным работником. Если же присмотреться к такому работнику, проследить за его деловыми поступками, за взаимоотношениями с трудовой средой — он раскроется как сложнейшее сочетание ценных качеств, каждое из которых находит себе применение и проявляется в деятельности, как любой из десяти пальцев пианиста на клавиатуре. Нет нужды перечислять эти качества — они общеизвестны. Следует лишь отметить, что в числе их, вслед за социальными (в узком, анкетном смысле) и производственными данными, всегда выступают весьма приметно и свойства характера: спокойствие, самообладание, уживчивость, доброта и — наряду с ними — волевая сила, непримиримость, смелость, упорство, в иных случаях и пламенная горячность, вовсе не исключаемая обычной ровностью.

Кому не случалось тайно любоваться этими свойствами, улавливая их в поведении кого-либо из непрославленного племени заведующих, директоров, председателей? Кому не приходилось взвешивать, оценивать их про себя и составлять мнение, обычно малодоказуемое, но непреложное?...

Характер руководителя угадывается быстро: человек — на виду, почти всегда в напряжении действия, в полном развороте своих способностей. Понаблюдать за ним полчаса — в беседе с подчиненными, в хождении по производству, за столом президиума, перехватить взгляд, интонацию, движение бровей — и ясно уже, чего стоит человек. Чаще всего это быстрое мнение в точности совпадает с широкой общественной оценкой, с постоянной репутацией работника. Она живет долго и прочно, эта репутация, бережно пестуется в инструкторских отделах, в партийных секретариатах и учраспредах. Ее обозначение, большей частью, кратко и обще: «хороший парень», «сильный работник», «голова», или: «шляпа», «склочник», «бестолковый человек». Такая репутация живет негласно, вне протоколов и анкет, но она почти также весома, как «политическое лицо» работника, его культурная развитость и производственная подготовленность, — всегда учитывается, принимается в деловой расчет.

Характер руководителя входит в систему строительства неот'емлемым и важным слагаемым...

Где же, в каких школах, на каких курсах переподготовки формируются характеры властные и добрые, гибкие и непреклонные, те, что надобны людям, ведущим полки социалистической реконструкции? Расследованы пути перерожденцев, бюрократов, головотяпов, прохвостов. Откуда же приходят и как действуют отличные руководители? Ведь в прогрессивных движениях истинная действительность всегда немного впереди сегодняшнего дня, и безошибочней суждение по передовому, чем по отсталому и даже по среднему, — передовое характерней. Линии развития наилучших предприятий и линии жизни их даровитых создателей сейчас наиболее верное выражение поступательного хода истории. Если бы в результате научного и художественного изучения эти линии ярко засветились, как бы фосфоресцируя на общем фоне, — наглядно выступил бы весь гигантский, мчащийся чертеж социализма.

Но бескорыстное поколение строителей, стремительно трудясь и страстно обдумывая предмет труда, не успевает обдумывать само себя. Остаются в тени, в безвестности и некичливые командиры победных отрядов трудовой армии. Вопрос не только в орденах, наградах и производствах, — вопрос в тщательном общественном познании жизненных путей этих командиров-победителей, их духовного облика, их методов руководства — неотрывно от изучения возглавляемых ими отрядов, передовых коллективов реконструкции.

Не из школ, не с курсов приходят эти крепкие, немигающие люди, предназначенные к тому, чтобы стоять во главе. Их выносит из подонного сумрака народных пучин, вскипевших революцией. Их закаляет сопротивление грузной и беспощадной среды; обучает сопротивление этой среде; воспитывает неширокий, светлый круг товарищества. Если в прошлом у них школа, то разве лишь школа вооруженной борьбы, гражданских фронтов. Но и это не обязательно. Многих и многих создает административная и хозяйственная практика — у себя на родине, на своей фабрике или в волости, — практика, которая на протяжении ушедших тринадцати лет тоже никогда не была мирной. Иные падают от руки врага; неопытные и шаткие сверстники их проваливаются в трясину собственных ошибок; а этих — сильнейших — вздымает все выше и выше по пирамиде управления, и вот, — иногда переметнув через тысячи верст, воля революции бросает их на аванпосты нового строительства.

Полна скрытого и неосознанного драматизма жизнь скромных вождей хозяйственной перестройки. Кто взвесил хотя бы время ответственности, — не той иерархической ответственности, которую принято изображать в автомобиле и с раздутым портфелем, а этого неусыпного, сосущего чувства тревоги за порученное дело?.. Кто исчислил изнурительное напряжение одной лишь памяти, вечно опасающейся выронить какую-нибудь важную мелочь из сотни намеченных?.. Всосаны делом мозг и сердце, делу отданы сутки, декады, годы, испепеляются нервы, хрипнет голос в растол-

ковываниях, уговорах, угрозах...Случаются дни радости и торжества,— выплывает праздничное солнце и озарит величавые кубы поднятого здания:—нет, недаром, недаром истрачены силы!—и снова все заволакивается туманом тревоги и спешки.

Но если бы к любому из этих изнуренных усталостью инженеров нового общества подошел бы некто и жалостливо посоветовал:

— Брось, пренебреги, отдохни, подумай о себе, твоя жизнь сгорает в беспамятстве...

Каков был бы ответ?

Молчаливый взгляд, полный презрительного изумления.

3

В 1930 году Сметанину 31 год.

Он родился в бедной крестьянской семье, в деревне Гвоздки Котельнического уезда. Учился в сельской школе. Четырнадцати лет поступил рассыльным в волостное правление. Здесь понаторел в грамоте, в канцелярских премудростях — посадили писцом, и в писцах просидел до революции. В начале 1918 года когда Октябрьская революция прорвалась в котельнические еловые дебри, он, девятнадцатилетний, стал большевиком. Его избрали председателем Чистопольского волисполкома. С тех пор партия завладела им и повела по государственным ступеням. В девятнадцатом Сметанина перекинули на продработу в уезд, потом назначили заведующим отделом управления. С 1920 года по 1923 председательствовал в котельническом уисполкоме. В 1923 взяли в губернию. Пять лет заведывал вятским сельскохозяйственным банком и еще год—губфинотделом. Тут подошла мобилизация тысячи.

Таковы анкетные этапы сметанинской жизни.

— Что же, довольно серая анкета, — скажет героически настроенный читатель, воспитанный на романах с бронепоездами и разложениями.— Где же тут матросские бушлаты и гранаты, захлебывающийся лай пулеметов, разоблачение прекрасных шпионок и хищных управделов?.. Ни подвигов, ни доблестей, ни славы... Торный путь от волостного исполкома до губернского финотдела — не карьера ли это среднего удачливого советского бюрократа?

Да, путь от волисполкома до губфинотдела... Но это был волисполком эпохи комбедов и продразверсток. Это — упродком и отдел управления времен гражданской войны, колчаковщины, кулацких восстаний. Это — уисполком первых двух лет нэпа. Это — сельскохозяйственный банк — губернская вершина кредитной системы, поднявшей мелкокрестьянское земледелие из тех голодных и погорелых низин, куда оно было загнано военными бурями. Наконец, это единственный, сравнительно спокойный год в губфинотделе, но год, который был прерван беспрекословным подчинением партийной воле, бросившей в новый экономический штурм... Нет, он не был торным этот путь передового борца и собирателя послеоктябрьской российской провинции. Были на нем свои жесткие удары, преграды, подкопы, гонения, были и подвиги, не отмеченные в приказе, и доблести, не увенчанные благодарностью, и если кроваво и гулко не пресеклась жизнь, то каждодневным, предельным напряжением всех сил человека — сокращена на добрый десяток лет. А что не создал этот путь равнодушно-покорствующего чиновника, угодливо сметливого приказчика,— об этом свидетельствует весь облик Василия Сметанина, каким увидели его в кварталах и полях кубанской станицы.

Сметанин отнюдь не принадлежит к разряду так называемых широких натур. Он — совсем не рубаха-парень, не душа на распашку, не разудалый, скуластый весельчак и вояка, какими богаты были первые, громовые годы революции. В нем нет и простоты, прямоты, товарищеской общительности коренного заводского пролетария. Но он и не хмурая язвительная личность разнообразнейших канцелярий. Умом, вниманием и спокойствием светится его продолговатое лицо северянина; неярки, но тверды и ясны правильные черты. Он скуп на улыбку, на шутку, на выразительный

кест. С ним не очень легко разговаривать, — в беседе не будет уюта и сердечности, а фамильярность натолкнется на стенку вежливой замкнутости. И все же он не монотонен, не молчалив — напротив, говорить ему приходится часто и помногу: постоянно — доклады, об'яснения с сотрудниками, с хлеборобами, с приезжими, и если докладывает или рассказывает, то речь его гибка интонациями, полна своих, не заученных слов, зримых образов, житейских примеров. И уж никогда не скучен Сметанин, как не бывает скучен человек стремительной воли и действия.

В нем немало упрямства, жесткости. Он знает себе цену, не терпит пустяковой опеки и начальственного дерганья. Однако мудрено поругаться с ним, тем более — затеять шумную, беспросветную склоку: сильным и точным движением речи, поступка он прикончит распрю в самом зародыше и, не уступив ни пяди, выведет спорное дело на тропу целесообразности. Он смел и самостоятелен в своих решениях. Но многолетняя и отличная выучка партийной среды вросла в самую плоть его сознания, став чуткой, неодеревяневшей дисциплиной. Сметанин умеет работать с коллективом: даже руководя им, подчиняться ему. У него не очень ровные отношения с секретарем партийной ячейки, — тут коса иногда находит на камень. Однако разноголосицы в руководстве не бывает: договариваются. Твердо поставил себя Сметанин и в районных, и в окружных организациях, — он там заметная фигура, с ним считаются. Его политический слух достаточно развит для того, чтобы всегда слышать голось партии и отличать его в хоре фальшивых подголосков.

Сметанин никогда не действует в одиночку. Постоянно вербовать себе помощников, умножать число своих союзников — вот его правило. Он — только зодчий обширного здания колхоза, здания, возводимого руками и волею тысяч; многотысячная демократия ежевечерне судит и рядит о делах хозяйства; сотни исполнителей — уполномоченные пятидесятидворок, члены правления, партийцы, хлеборобы-активисты — хлопочут над его упрочением. Сметанину свойственно подлинное уважение к мыслям и желаниям массы, — он всегда сторожко прислушивается к ним, он берет их в с е р ь е з. Серьезность — это вообще одно из преобладающих качеств Сметанина; серьезностью отмечены все речи его, поступки, взгляды, даже редкая усмешка.

И при всем том — вовсе не идеален Сметанин (потому еще он и не скучен). Нередко ошибается, — ибо много делает; жесткость его иногда переходит в желчность, уверенность — в самоуверенность, независимость — в амбицию. Ровным белым пламенем горит эта деятельная жизнь, но бывает, что и колеблется пламя, тревожно мечется, высоко вспыхивает. Видно, далек еще от старческой неподвижности дух человека, — многое в поисках, в развитии, в противоборстве. И хорошо, что это так.

4

Послеобеденный час. Прохладное солнце ушло в степь, скоро сядет. В окнах лазурь и желтизна чистого предвесеннего неба. Сейчас придут сумерки, зажгутся лампы. День догорел, догорают дела. Сметанин сидит за своим столом, у стены, под широким сетчатым планом колхозной земли. Перед ним двое работников полеводсоюза, районного об'единения колхозов. Они пробыли в Выселках полдня, обследовали подготовку к яровому севу и теперь собираются уезжать. Длинный разговор представителей с и с т е м ы с руководителем крупнейшей е д и н и ц ы закончен. В заключение, приезжие просят Сметанина отпустить с ними в район колхозного агронома для доклада на завтрашнем совещании об организационной структуре колхозов и проведении весенней кампании.

— Пусть поделится вашим опытом, — другим более молодым колхозам важно с ним ознакомиться.

Сметанин медленно качает головой.

— Не могу отпустить, товарищи.

— Почему ж это не можешь? Ведь всего на день, на два, не больше.

— А вы думаете, в такое горячее время два дня — мало? Агроном у нас,

сами знаете, сейчас один, ему поручено все планирование пахоты и сева, он сидит над планом, кроме того — куча текущих дел. На два часа не отпущу, не то что на два дня.

Районщики начинают сердиться.

— Послушай, Сметанин, это совсем недопустимая постановка. Агроном нам тоже не для забавы нужен, не в карты играть. У Октября огромный опыт работы, который нужно использовать в районном масштабе. По-твоему, что важнее, — интерес одного твоего колхоза или судьба коллективизации всего района?..

— Это еще большой вопрос. Если в Октябре провалится весенний сев, то не бывать и коллективизации в районе. Выселки сейчас у всех на виду. А доклад вы отличнейшим образом можете сделать сами, все материалы у вас на руках. Стыдно полеводсоюзу в такое время рвать с места единственного специалиста. Надо бы, наоборот, к нам прислать подмогу, а не от нас отнимать... Ни за что не отпущу. Не вижу в этом никакой необходимости.

— То есть как это — не видишь необходимости?! — взрывается один из районщиков. — Раз полеводсоюз требует, — значит, есть необходимость. В конце концов, — чей это агроном? К вам он только прикомандирован, жалованье получает в полеводсоюзе, — значит, мы и можем им распоряжаться. Ты обязан выполнить требование районной инстанции.

Склока вполне созрела; сейчас лопнет ее угловатый, колючий бутон, сейчас распустится махровый цветок раздоров: голоса взовьются под потолок, трахнет по столу кулак, — обвинения в оппортунизме, в бюрократизме, в головотяпстве, затем — длинная череда дней — пальба протокольными выписками, апелляции к высшим инстанциям, десятичасовые заседания, оргвыводы. Сметанин, склонив голову, смотрит в стол. Мгновение. Слабая улыбка трогает неяркие губы председателя. Он поднимает глаза.

— А как же с зяблевой пахотой, товарищи? — спрашивает он серьезно, без тени язвительности.

— С какой пахотой?

— Да вы же сами привезли распоряжение полеводсоюза — воспользоваться оттепелью и допахать остатки зяби, то, что не успели осенью. Только не знаю вот, отошла ли земля. Пожалуй, не вытянут тракторы.

— А вы попробуйте.

— Чего же зря пробовать, горючее изводить. Надо сначала обследовать массив, выяснить состояние почв.

— Ну, и обследуйте.

Сметанин секунду смотрит в сторону, как бы соображая что-то, высчитывая.

— Ладно. Завтра с утра пошлю агронома. Если найдет возможным, — с обеда приступим. Сам-то я сильно сомневаюсь в этом деле. Но, конечно, ему, как специалисту, виднее. Поскольку районная инстанция требует, — договаривает он медленно, глядя в упор на собеседника, — приложим все усилия. Допахать зябь — нам самим лестно.

— Так значит не отпустишь агронома? — спрашивает горячившийся районщик упавшим голосом.

Сметанин молчит. Лицо его серьезно, даже грустно. Он не хочет наслаждаться своим торжеством, оно ему — без надобности. Мало того: потаенная логика ситуации подсказывает: нужно скрасить поражение противника.

— А вот, как с планом управится. так и отпущу. Дней через пять. Предварительно извещу телеграммой, чтобы вы могли подготовить совещание. Только на один вечер, товарищи, никак не больше.

Районщик уныло машет рукой, но напряжение стычки уже разрядилось беззвучно. Прощальные рукопожатия простодушны и крепки. Скороговорка последних наказов, пожеланий, приветов непринужденно шутлива.

Скрип половиц, чмоканье грязи за окном, понукания возчика. Тишина.

Поблекло небо, черней и точней оконные переплеты, воздух комнаты как бы уплотнился, приобрел независимость от того, уличного, еще осиянного послезакатной белизной. Сметанин вынимает из ящика стола тонкую папку, развязывает шнурки. Тут одно такое заветное дельце, которым занимается он в тихие часы. Но, словно возглавив шествие су-

мерек, словно передовая и особая плотность их, у стола возникает приземистый, темный старичок. То ли торчал он все время в углу, пережидая районщиков, то ли вошел после них, — Сметанин смотрит на него с удивлением.

— Тебе чего, папаша?

Старичок — в длинном, до пят, раскосмаченном кожухе, в шапке смутного вида, напоминающей, скорее всего, галочье гнездо в старой липе.

— Я до тебя, товарищ Сметанин, — говорит он строго, — ты мне вот тут на бумагу напиши.

Сметанин берет бумажку, всматривается в крупные, прыгающие каракули, в тесно настроченные, писарской четкости, резолюции на уголках.

— Так ты значит работать хочешь, — формулирует он, раздумчиво глядя в синеющее окно. — А что в пятидесятидворке говорят?

— Говорят — старый, — в голосе старичка обида и презрение. — Говорят — тебе бесплатное обеспечение выйдет, как ты колхозник и при тебе сиротствующие внуки. В совете тоже самое годами попрекают. А я без работы не жил. Я полезный. Меня куда хочешь ставь, везде осилю.

— Ты кто сам-то?

Старику вопрос понятен без раз'яснений, как несомненен, односмысленен он и для Сметанина: речь не о местожительстве, не о профессии, не о происхождении, — о самом главном, всеопределяющем, чем интересуются во-первых, — о постоянном и привычном, как титул для сиятельного дворянина.

— Сам-то я бедняк.

— А дети есть?

— Сын за Жлобой павший, невестка при родах скончалась, малолетние внуки налицо, — подтянуто рапортует старик.

— С Иногородне-Малеванного?

— С Малеванного.

— Ну, так тебе, отец, действительно обеспечение дадут. Семьдесят три года тебе? Потрудил горбушку, хватит. Получишь свою долю в урожае, какую назначит общее собрание.

— Так он, урожай-то, будет ли, нет ли — неизвестно, — хитро высказывается старичок. — Работать всем надо, не загадывать.

— А мы разве сложа руки сидим? — усмехается Сметанин. — Почему ты в урожае сомневаешься?

Старик озабоченно качает головой.

— Зима сухая, товарищ Сметанин.

В глазах Сметанина блеск заинтересованности.

— А инею сколько было? В иголку длиной иней.

— Иней — это без значения, — авторитетствует старик. — В дальнейшем, прими в разум, — оттаивает рано. Мороз завернет, — промерзнет.

— Не завернет больше. Весна, пишут, ранняя.

— Это — как сказать, товарищ Сметанин. Картежная игра. Одно тебе скажу: пахать не торопись, наплачешься.

— А под зябь? Вот из района пишут, чтоб в эти дни зябь допахать.

— Под зябь можно, — разрешает старик. — А с весенней пахотой, да с севом — оглядывайся.

— Опаздывать нам тоже не годится. Погляди, какая теплынь на дворе-то. Это уж который день?

Старик жалостливо глядит на председателя, чмокает губами.

— Эх, парень. Ты который раз сеешь-то в нашем юрте?

— Яровое в первый раз буду.

— Вот я и вижу, что в первый. Ты меня слушай. Я здесь, не сходя с места, полста годов сею. Вот ты и прими в разум.

Спор растет и ветвится. Собеседников попеременно обволакивают многоразличные стихии: снегопады, туманы, дожди, ветры. Все это исчисляется и взвешивается. Сметанин зажигает лампу и, держа ее в руке, подводит старика к плану колхозного участка; тот смотрит, задрав бороденку. Чертя пальцами по клеткам, перебивая друг друга и ни в чем не соглашаясь, они обсуждают достоинства и пороки таких-то балок, залежей, суходолов. Разговор этот немаловажен, ибо здесь мельчайший, но многоопытный хозяин спорит с хозяином молодым и крупнейшим. Оба серьезны, стойки в своих познаниях и непримиримы.

Наконец, Сметанин ставит лампу на стол.

— Вот какая вещь, папаша, — вздыхает он. — Много дельного у тебя в голове, а научной подоплеки не хватает... Ну, иди теперь, мне еще поработать надо.

— А ты мне на бумагу-то напиши, — старик кивает в сторону стола, — в совете твою надпись требуют. Нет, говорят, такого права — старикам в колхозе работать... А я им говорю: кто не работает, тот не ест, — слыхали?.. Они только зубы скалят.

Сметанин задумчиво почесывает скулу.

— Ты осенью-то на чем стоял?

— На подвозке горючего, при лошадях.

Химический карандаш быстро бежит поперек стариковских каракуль и разноцветных резолюций: «Зачислить в бригаду. Наряжать на легкую работу. В. Сметанин».

— Вот, покажешь уполномоченному. Работай, пока силы есть. А там не обидим.

Старик исчезает в сгустившейся дочерна тьме, будто его и не было. Сметанин без промедления раскрывает папку. Тут много листков, испещренных цифрами, раскидистых ведомостей, списков. Это — вся судьба Октября, цифровой гороскоп его. В те редкие часы, когда председатель правления остается наедине с будущим, он продолжает исчисление своего п л а н а в ы г о д. Неузнаваемо расширился этот план, наросло немало новых граф и статей, и все выглядит в нем теперь куда прочней и реальней, чем в молодые и наивные недели собирательства. Исчислен предполагаемый валовой доход от озимого клина при низком, при среднем, при хорошем урожае, и тоже — от ярового, и общий результат хозяйственного года, и чистая прибыль. Завелись особые листки для перспективных выкладок по снижению себестоимости, по механизации, по строительству общественных скотных дворов. Удлинняются первые — сбивчивые, жестоко исчерканные столбцы животноводческой, огородной, садовой цифири. Но все эти столбцы, графы и разделы попрежнему сводятся к одному искомому: к возрастающему доходу колхозного двора, средней семьи, то есть к начальному, робкому еще и невзрачному счастью людей, об'единивших свой труд.

Вычисления пока ведутся начерно, в карандаше: они не закончены, не проясснены. Сметанин не доверяет их бухгалтерии. Для него самого это любимое, увлекательное занятие, — не работа, а отдых. Но занятие, вполне необходимое и значительное. Как погруженный в ежечасные заботы и тревоги своего судна капитан, отстояв вахту, освободившись от начальственных хлопот, от пристальной слежки за волнами, ветрами, рифами, сверяется в тишине каюты с секстантом и картой, так председатель выселковского колхоза в краткие часы затишья раскрывает свою заветную папку, чтобы проследить кривую реконструктивного движения. Все правильно пока: курс верен, течения благоприятны, солнечные острова благоденствия еще незримы, но с каждым днем все ближе и достоверней.

Сметанин придвигает к себе массивные бухгалтерские счеты. В тишине пустого вечернего дома костяшки их постукивают точно капли далекого счастья, падающие на каменно-плотную и тяжкую кубанскую землю.

5

Восемь часов вечера. Станица Ново-Суворовская. Двадцать пятая пятидесятидворка Октября. Собрание в очередной хате.

В тесной горнице — десятка три колхозников. Сидят на лавках, на подоконниках, на широкой хозяйской кровати, двое на полу, обхватив руками колени. На кровати за спинами сидящих возятся полуголые ребята. Под низким, нависающим потолком густеет головокружительная духота.

Председательствует уполномоченный — рыжеватый, остроскулый, с злыми белыми ресницами; он сладкоголос, беспокоен, часто покручивает головой на тонкой шее, поеживается; красный партизан.

Присутствует Василий Сметанин.

Запись собрания напоминает неупорядоченный сценарий одноактной драмы. Заслуживают особого внимания нижеследующие узловые явления (являются не действующие лица, — лица все на сцене, — но голоса и проблемы).

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Обсуждается новый устав колхоза, *унифицированный в краевом масштабе*. Докладывает Сметанин — просто, конкретно и вразумительно. Первым в прениях берет слово зажиточный хлебороб (бледное и сморщенное личико скопца, красные, точно вывороченные веки); с места в карьер предлагает взамен артели — коммуну:

— Чего там с паями, да с нормами канителиться. Пускай все будет общее, как в одной семье, — и чашка, и ложка. Раз уже вступили на эту линию, — давай полный коммунизм, чтобы все равные были. И чтобы доход всем одинаковый. И председателю, и бухгалтеру там, и всякой скотнице.

(Это — очень частый и повсеместно распространенный ход противоколхозной политики. Кулацкий подсказ — непосредственный или отдаленный — в таких случаях несомненен. Коренной подспудный замысел агитации з а н е м е д л е н н у ю к о м м у н у: довести идею коллективизации до крайности, до абсурда, сорвать организацию артелей и развалить уже созданные. Бывает, что агитирующему и неведом источник этого лозунга, непонятна политическая направленность его. Иной середняк, а то и бедняк-партизан ратует з а к о м м у н у (а, следовательно, — против артели) в чаду некоей российской о т ч а я н н о с т и, своеобразного озорного радикализма: «а ну, вали все в одну кучу, раз на то пошло; если взялись, так уж все одно к одному, — где наша не пропадала». Очень сильна при этом тяга ко всеобщей у р а в н и т е л ь н о с т и, особенно в настроениях наиболее отсталых бедняков, партизан, батраков. Что, в последнем счете, лозунги эти п о д б р о ш е н ы кулачеством, — в этом нельзя сомневаться: так остра и вредоносна сила уравнительных лозунгов на всех этапах коллективизации — от первого собирания актива до распределения результатов урожая. Коммуна же и толкуется т а к и м и поборниками ее, как полная уравниловка, как избавление от сдельщины, от учета квалификаций, от выплаты жалованья специалистам, — как знаменитый о б щ и й к о т е л, из которого хлебают по очереди деревянными ложками. Озорной, разудалый клич — «*не артель, а коммуна*», *в силу его парадоксальной* «*левизны*» *и широкой усвояемости*, — один из самых ловких ходов кубанского кулачества на переломе зимы 1930 года).

Предложение красноглазого хлебороба поддерживается всеми выступающими, однако, — без особого рвения.

В заключительном слове Сметанин, которому уже не раз приходилось иметь дело с этим затейливым изворотом казачьей мысли, спокойно разоблачает его подоплеку. Доводами от хозяйственной неподготовленности ему удается убедить собрание, что разговор о коммуне преждевременен: артельная форма сейчас самая подходящая.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Зачитывается, в ряду других, параграф устава, гласящий о том, что членом колхоза может быть, наряду с домохозяином, всякий трудоспособный член семьи. Кто-то интересуется с места:

— А кто же тогда главой семьи будет? Или по́-боку?

Шутливый голос со скамьи под окном:

— А вон он, Сметанин сидит, — он и будет глава всему семейству.

Другой голос:

— Пожалуй не управится.

В дверях, в кучке баб тихий смешок.

(В колхозе растворяется крестьянская семья как хозяйственная совокупность, как экономическая единица земледелия. Авторитет с т а р ш е г о в семье, как распорядителя всех ее внутренних и внешних движений, поступков, затрат, приобретений, неминуемо должен умалиться. Наоборот, сильно возрастет свобода и самостоятельность семейной периферии, поскольку она равноправно членствует в колхозе, получает свои за-

работки и потому становится производственно независимой от «бывшего» главы. Назревает величественный переворот в самом глубинном укладе жизни многомиллионного человечества полей, — переворот, пока мало обдуманный и никем не изученный. В станичной среде идею хозяйственной децентрализации семьи принимают без заметного сопротивления, без испуга, — иногда с тем же насмешливым радикализмом, иногда вовсе равнодушно, не представляя себе, очевидно, этой перспективы во всей ее новизне и значительности. Кулацкая агитация подходит к проблеме семьи с другой стороны — более элементарной: предрекает разврат, супружеские измены в степи, на общей работе, спанье вповалку и тому подобную незамысловатую ерунду).

Сметанин осторожно раз'ясняет, что хозяйственная власть главы семейства уменьшится, однако, это отнюдь не означает распада семьи, ослабления супружеских связей и удаления детей изпод родительской опеки. Для примера ссылается на быт рабочих семей.

Этот пункт устава, как и весь устав в целом, принимается единогласно.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Во исполнение нового устава производятся выборы представителей в совет колхоза. В числе других кандидатов — женщина. Как только названа ее фамилия, — бабы, сгрудившиеся у двери, враз и дружно поднимают руки.

Голос с кровати — добродушно:

— Ишь ты, встрепенулись.

Внушительный бас от печки:

— Ну, а как же?! Свою выдвигают — ходатайственницу.

(Влияние женской половины станицы на все процессы коллективизации — огромно. Бабий непод'емный консерватизм, в нескольких случаях приводивший даже к разрыву жены с мужем — по знаменитой заплаканно-упрямой формуле: «Хай вин иде у колхоз, а я не хочу», — на переломе коллективизации часто сменяется столь же упрямой и неотступной приверженностью к новому строю отношений. Трудно отыскать в мужской станичной массе таких яростных, неутомимых, настойчивых, до назойливости даже, агитаторов за колхоз, какие встречаются среди женщин-делегаток, общественниц, батрачек и, особенно, — среди краснопартизанских вдов и старух-матерей. Женщина — на виду во всех общественных делах зимней растревоженной станицы; она еще редко и коротко говорит на собраниях, — если не считать записных и популярных ораторш, — не очень часто избирается в исполнительные органы, но она всегда и во всем весомо присутствует. Заметного, публичного противодействия женскому выдвиженчеству не наблюдается; еще жива и чуть ли не всеобща *насмешливость*, но рядом с нею уже выступает особая *уважительность* к женским мнениям, участию и представительству).

За избрание женщины в состав колхозного совета единодушно голосует все собрание.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Ставится на обсуждение вопрос о *целевых вкладах*, введенных по распоряжению стансовета. Несмотря на эпитет «целевые», назначение этого денежного сбора не ясно; туманно оно и для самого докладчика — члена станичного совета: не то в потребительский кооператив, на предмет получения банковских кредитов (?), не то в кассу самого стансовета. Сметанин тоже не в курсе дела: постановление о вкладах исходит не от правления колхоза.

Берет слово хлебороб страшного облика. Исчерна смуглый, без лба, без щек, с хищным крючковатым носом, с острыми синими губами, — он похож на обугленную птицу; вероятно, примесь какой-нибудь терпкой — адыгейской или черкесской крови. Внешность его не обещает ничего доброго: головорез и белобандит, минимум — злостный подкулачник. Он начинает говорить. Голос его оглушительно тих и ласков. Выясняется (на собрании и после), что это — добрейшая душа, один из просвещеннейших казаков станицы, смирный, исполнительный середняк: всегда впереди

в хлебозаготовках, во всех кампаниях,— что наложат, то и вывезет, да еще от себя добавит.

Он недоумевает: для кого эти вклады, к чему они? Хлебное задание он выполнил, налог и самообложение уплатил, кооперативный пай внес, тракторный задаток — тоже, на заем подписался, семенной материал сдал по норме, да еще по красному обозу доложил. Что еще за вклады такие?

Вопрос с места:

— А ты их уплатил, вклады-то?

Оратор — скорбно:

— Десять рублей отнес.

Общий смех и голос красноглазого:

— Ну, так и молчи, не выскакивай. Власть, она знает, куда ей деньги девать.

Сметанин:

— Зачем же молчать. Молчать не приходится. Раз что не ясно, надо говорить. Советская власть расходует средства под народным контролем, у нее все на виду. Насчет этих вкладов я не в курсе. Предлагаю вопрос с повестки снять и как следует выяснить в стансовете.

(Беспорядочная множественность денежных сборов в станице — предмет частых нареканий. Дело тут не в размерах сумм, — суммы в общей сложности невелики и в середняцком бюджете составляют незначительный процент. Бедноту же эти сборы почти и вовсе не затрагивают. Раздражает середняцкие массы именно эта многократность, повторность денежных кампаний, которые иной раз не сопровождаются достаточным и отчетливым раз'яснением. У советских и партийных организаций, у станичного актива эти, наскакивающие одна на другую, кампании также отнимают бездну времени и внимания· чуть не каждый месяц нужно особо созывать уполномоченных, снаряжать бригады и ходить по дворам, стучась «по пид дошками»[1]. Особая статья — кулачество; в отношении кулаков не только величина материальных взысканий, но и частота их играет положительную роль с точки зрения социалистических интересов; эксплоататорское хозяйство тем самым ставится под непрерывный обстрел, под постоянную проверку со стороны социалистического сектора, а это способствует ограничению, а затем и ликвидации кулачества как класса. Что же касается середнячества как единоличного, так и, в особенности, коллективизированного, — тут остро встает проблема консолидирования всех сборов на общегосударственные, местные и специальные нужды. Если бы удалось об'единять или по крайней мере систематизировать их в пределах каждого колхоза или населенного пункта, сводить к двум, к трем платежам в год, с последующим распределением сумм по разным каналам в совете или в правлении колхоза, — это сберегло бы много общественных сил и избавило бы население от излишнего дерганья).

Кто-то из хлеборобов предлагает:

— А ты бы сам и выяснил, товарищ Сметанин, — тебя скорее послушают.

Сметанин обещается выяснить[1].

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Сам собой, вне повестки, всплывает вопрос о самовольной продаже лошадей некоторыми хлеборобами. Рабочий скот в Октябре давно обобществлен, но лошади, за отсутствием общественных конюшен, стоят по дворам у прежних владельцев. Колхозники имеют право пользоваться ими для своих нужд, но продажа насторону строго запрещена.

В продаже лошади обвиняет своего соседа-середняка бедняк Ниточка, самый шумный и многоречивый участник собрания.

Ниточка — грузный, сырой старец, — большое голое лицо, седые спутанные космы падают на лоб до глаз, на ногах могучие грязно-белые валенки с ободранными, точно обгрызенными краями голенищ, в руке железная клюка с круглым, как у кочерги, кольцом. Его облик в точности повторяет кого-то из мопассановских бретонцев, этих сельских животных, высокомерно восседающих среди навоза, сплетень и медлительной же-

[1] В ворота.

[1] Через несколько дней ему удалось добиться отмены сбора целевых вкладов.

стокости их травяного мирка. Ниточка герой возвышается на своем табурете, но распухшее тело его ходуном ходит от возбуждения. Он что-то покрикивает тонким бабьим голосом, постукивает клюкой. Без отдыха, по каждому поводу и без повода, требует слова. Общих вопросов не касается, — только о себе и о соседях: такая-то вдова богаче его, а ходит в беднячках, с такого-то налог сняли, а тот три чувала подсолнухов припрятал, да, вдобавок, его, Ниточки, поросенка арбой придавил. Он весь — трясущееся скопище всяких несправедливостей, ущемлений и подвохов. Он разоблачает все надувательства и жульничества.

— Продал, продал, — кричит он на преступного середняка и стучит клюкой. — Як же не продал? Эй, не божись, Тимофей! У середу до Кореновки гонял!

А Тимофей и не думает божиться. Он стоит — рослый, молодцеватый казак, с чистым и смелым профилем, — стоит у стены, склонив голову, и мнет в руках кубанку.

— Да я ж не отпираюсь. Верно. Продал. Только это старая матка была. Кому она нужная? А я двух крепких лошат воспитываю для колхоза. Это всем известно, могут подтвердить.

Сметанин:

— Все равно, нужно было взять разрешение в правлении. Если лошадь негодная к работе, мы бы не запретили. Только самовольства не нужно, беспорядочной распродажи. А то можем к севу без подсобной тягловой силы остаться. Тракторов у нас немного, — насидимся зимой без хлеба.

Сметанинская речь не вносит успокоения. Собрание взволновано. Ниточка точно развязал мешок с жалобами: сыплются взаимные обвинения в продаже лошадей, в убое коров и овец, в сокрытии посевных семян.

(В колхозе быстро появляются ростки коллективного самосознания, бережливости к общественному добру, забот о благе целого — даже тогда, когда нужно поступиться мелкими интересами единицы. Начинает выветриваться из обихода взаимное покрывательство во всех его видах. Возникает присущая всякому трудовому коллективу — партийной ячейке, заводу, месткому — товарищеская требовательность одного сочлена к другому и всех ко всем. Позднее, с упрочением колхоза, крепнет — раньше всего в полевых работах — трудовая солидарность, рождаются деловой патриотизм, энтузиазм, самоотверженность. Но в «мирном», зимнем, внетрудовом быту колхоза, особенно на первых ступенях жизни его — как еще причудливо переплетено все это — и бережливость, и требовательность, и старательность, — с простым и исконным: с древней, как мир, крестьянской завистливостью! Как еще часты случаи, когда разоблачают провинность не потому, что сознательно осуждают ее, а потому, что завидуют удачливому соседу: он увернулся, выиграл, обогатился, а я — нет. Донести! — соседские неприязни и обиды, собственнические раздоры иной раз пересиливают сознание общественной целесообразности и даже — социально-групповой близости. Перед лицом пролетариата, власти, партии крестьянство не только не стоит как единая, сплошная стена, — ибо оно раздвинуто межами классовых противоречий,—но и внутри каждой крупной социальной категории оно дробится на кучки и единицы, смещается, бродит и до поры до времени взаимоборствует. В большинстве своем эти «частные» столкновения, если доискиваться их корней, раскрываются как случаи измельченной и усложненной всяческими «рикошетами» классовой борьбы. В молодом колхозе она продолжается: и в форме резких, открытых рецидивов, и — чаще всего — в разнообразнейших личинах соседских антагонизмов, ничтожных стычек, запутанных бабьих склок. По отношению к этой борьбе в обеих ее разновидностях колхозное руководство находится в трудном и двойственном положении. С одной стороны, классовые антагонизмы и крупные и мелочные, облегчают его политику — особенно в мероприятиях фискального порядка, в делах обобществления, в наблюдении за сохранностью артельного добра, — ибо разрушают

круговую поруку и помогают обнаруживать правонарушителей. С другой стороны, — во всех трудовых процессах, во многих организационных начинаниях, требующих наивысшей спаянности и дружественности, эти антагонизмы оборачиваются существенной помехой. Какой политической чуткостью, умом, тактом должен обладать колхозный руководитель, чтобы не заплутаться в этой чаще противоречий, — не оказаться в нелепой позиции всеобщего примирителя и, в то же время, не разжигать страстей, способных привести весь коллектив к развалу!).

Предложение Сметанина: уполномоченному вместе с вновь избранными членами колхозного совета — расследовать все случаи продажи скота и сокрытия семян, — доложить следующему собранию пятидесятидворки и правлению колхоза.

Возражений нет.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Снизу, с полу — робкий голос сидящего там худенького, грустно подслеповатого середняка:

— А вот у меня старый сарай на дворе. Хочу разобрать и досками пол настлать в хате. Можно ли?

Он справлялся кое у кого, — говорили: нельзя. А ему только доски нужны,— цинковую крышу с этого сарая он хочет продать колхозу.

(События последних лет — первые шаги коллективизации, ограничение кулачества и особенно хлебозаготовки — сильно расшатали в станице понятие личной собственности. У всех на глазах пошли на слом твердыни кулацких хозяйств; в массы проникло убеждение, что быть богатым, владеть крупными ценностями, накоплять их, пользоваться ими в одиночку — дело запретное, даже преступное, — на собрании группы бедноты в другой станице один из выступавших бедняков так и обозвал кулацкий двор: преступное хозяйство. Наряду с этим оказалось поставленным под сомнение и право на результат всякого единоличного труда, — право самовольного и бесконтрольного пользования нажитым добром. Пошатнулось сознание неприкосновенности своего двора, своей, тихой, для всех, кроме хозяев, замкнутой хаты, — представление, ранее на казацкой Кубани, быть может, сильнейшее в сравнении со всеми другими краями. Необычайно выросло ощущение распорядительной силы государства, власти, станичного коллектива по отношению к хлеборобскому двору и добру. Значение этого предварительного переворота в крестьянском мышлении для успешного хода коллективизации — неизмеримо. В дальнейшем, внутри колхоза, это сознание прямой зависимости своих хозяйственных поступков от волеиз'явлений коллектива еще более усиливается, распространяется на новые и новые категории и единицы имущества. В этих утверждающих взглядах еще много неопределенного и шаткого. Колхозная имущественно-правовая система еще не отстоялась, да ей и не суждено отстояться в полной незыблемости: колхоз не статика, а процесс. Все же, для устранения напрасных сомнений и гаданий, потребно на сей счет постоянное и отчетливое раз'яснение со стороны колхозного руководства, чтобы каждый член артели в точности знал: вот это — «мое», и я могу им распоряжаться, как вздумается, а вот то — общественное, артельное, а еще вот то-то — государственное).

Сметанин раз'ясняет: надворные постройки пока не обобществлены, сарай можно разобрать, а что самому не нужно — продать колхозу, который нуждается в строительных материалах.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Повестка исчерпана, возникает тот нестройный, сбивчивый многоголосый говор, которым завершаются утомительные и важные для присутствующих собрания. Один голос, взволнованный, почти плачущий, вдруг возвышается до крика, вытесняет прочие голоса и шумы.

— Я все помню!.. Не скроешься!..

Тишина.

Кричит Ниточка-сын, молодой долговязый парень, из батраков; черты ду-

шевной мягкости и слабовольной горячности; бледное лицо, глаза расширены отвагой внезапного решения.

Он кричит председателю, уполномоченному пятидесятидворки, — тому, рыжеватому, с белыми ресницами.

— Я все помню!..

Он грозится пальцем, сутулясь подступает к столу.

Рыжеватый, глядя на него в упор, медленно вырастает над столом. Оглянувшись на Сметанина, быстро и вежливо:

— Прошу слова.

Только из сказанного им становится понятной суть столкновения.

В двадцать втором году батрака уволили со двора и обсчитали в заработке. Но кто уволил? Кто обсчитал?

Отповедь рыжеватого торжественна и зловеща.

Батрак работал не у него лично, а у отца его. Отец, это приходится признать, сильно зажиточный (батрак, бросаясь к столу, слезно: — Не зажиточный, а явный кулак!)... Может быть, и кулак. Только как раз тогда, в двадцать втором, они с отцом разделились, и он к отцовским делам никакого причастия не имеет. Сам он, это все знают, заслуженный партизан и активист советской власти. Его оскорблять никто не имеет права. И почему за восемь лет батрак не обратился в народный суд или в комсомол, почему только сейчас всполошился? Видно, нет у него серьезных оснований. Дурака валяет парень...

(Простой и явный случай классовой борьбы в колхозе, усложненный лишь мнимой или действительной принадлежностью рыжеватого к краснопартизанскому движению).

Уполномоченного слушают неохотно. Столпившиеся у входа один за другим, нагибаясь под притолку, выходят из горницы. Передвижения. Шум. Ниточка-отец возбужденно колышется на своем табурете, озирается, хватает проходящих за рукава, что-то нашептывает. Оратор, оборвав речь, тоже быстро направляется к двери. На ходу:

— Мы с тобой, гражданин, еще встретимся. Я, как красный партизан, такого оскорбления не потерплю. В нарсуде поговорим с тобой.

Ниточка-сын, замерший на месте, вдруг испуганно кидается за ним, останавливает.

Рыжеватый, обернувшись и сразу сменив тон на горестно-растроганный:

— Коля! Ведь ты же никогда на меня обиды не имел! Как мы с тобой жили? Как братья родные жили. Зачем же ты? Эх, Коля, Коля!..

Махнув рукой, уходит.

Батрак, растерянно оборачиваясь во все стороны, об'ясняется: забитый был тогда, думал только, как бы поесть досыта, пожаловаться боялся. А у партизана этого в двадцать втором году зерно в яме погнило. Это разве правильно? Разве за это гладить нужно?

Горячится, размахивает длинными руками. Ниточка-отец сзади дергает его за полу пиджака, страдальчески покряхтывает.

Сметанин подзывает батрака:

— Завтра зайдешь ко мне в правление. Часов в одиннадцать. Поговорим.

Горница пустеет. Духота остеклянела. Одинокая лампочка на столе светит туманно и слепо. Дети спят поперек кровати, беспомощно раскинув руки, ноги. На дворе удаляющиеся голоса.

Непроницаемый занавес черной, ветреной ночи.

6

Так раздробить, разметать, зажечь и восславить землю, распахнуть такие синие, чистые, поглощающие зрение бездны — может только весна. Ничего, что февраль. Все улицы — от забора до забора — в горящей серебром ледяной воде. Там, где, оседая в ухабы и бултыхаясь, прошли тяжелые колеса, все раззвездилось, лопнувшие пластины рассыпались треугольниками, трапециями, длинными сверкающими мечами. Все накренилось и окунулось остриями в белую мутную воду. А поближе к домам, под ногами пешеходов, жидко замешана снежная каша, та холодная сочная сыта, которая, если зажать в ладони, тотчас растечется в ничто, сладко обжигая кожу. Частыми колодцами уходят в нее следы необдуманных шагов. И уже припекает, и откуда-то тянет сушью, со

ломой, теплой землей, пальто тяжелеет и пахнет нагретым драпом. Белым бы голубям взвиться еще, трепеща и вспыхивая на солнце, в легкие высоты поднебесья.

Сегодня день обобществления молочного скота в Выселках.

По всем дорогам, неспешно обходя грязевые разливы и снежные озера, движутся хлеборобы к сборным пунктам — к квартальным школам и культурным хаткам. Идут и домохозяева, но чаще — бабы, потому что сегодня их, женский тревожный день, потому что до сей поры темная жизнь хлевов ближе всего была их рукам и заботам. Иные шагают так, порожняком, многие же тянут за собой на ремнях и веревках медлительный об'ект обобществления — свою низкобрюхую и шершавую худобу. Она еще своя, но через полчаса станет ничьей и общей, то есть по-новому своей.

Животные бредут покорно и тупо, разбрызгивая снег и воду короткими ногами, дробно проплывая по лужам иссерна-красными и дымчато-серыми пятнами. Их властно переводят из одной социальной системы в другую, и они не возражают, эти грустные аппараты для доения, безразлично поматывают головами. Что-то растительное в них, грибное даже, губчатое, напоминающее уэлсовскую селенитскую фауну и флору. Им все равно, — дотянуться бы только до кормушки.

Все за них переживают люди. Не мало сомнений, запутанных высчетов, навязчивых опасений прошло за одну минувшую ночь сквозь жаркие раздумья их, обычно не щедрых, но ласковых хозяек. Не одна бессонно поворочалась на пышной казацкой кровати, на жесткой кошме, на колючей соломе, не одна и всплакнула, выводя нынче за ворота пахучую и вялую животину. Куда, зачем, надолго ли?.. Что-то не раз'яснили в этот раз, не растолковали, обрывисто и наспех было велено: завтра приводи скотину туда-то, перепишут, получишь квитанцию. Вот и весь разговор.

Большого-то худа не ждут. Много уж было их в Выселках — всяких переписей, учетов, контрактаций. Пережито и несколько обобществлений — лошадей, инвентаря, семенного материала. И ничего страшного из этого не вышло. Дни и ночи, ночи и дни, — и вот уже новые порядки стали нормой, обычаем. К быстрым изменениям жизни, к тому, что за последние год, два мчится она безостановочно в неясную, но угадываемую даль, — привыкли. Да и как бы ни были неожиданны и круты перемены этих лет, — в каждой из них столько знакомого, близкого, свойского, — столько в необычном — обычного, в сегодняшнем — вчерашнего, в инородном и заносном — местного, выселковского, что иногда и самого разительного новшества сразу не распознаешь. Все также сияет солнце, и ложатся на дорогу тени от плетней, и все те же соседские дворы кругом, и также гуси гогочут, и в совете, в правлении колхоза, в милиции сидят свои люди, десятки лет знаемые, и все самые небывалые переломы творятся-то, в конце концов, своими, станичными руками. А от своих большого худа не будет. Даже если сперва и неприятность какая почудится. Все утрясется понемногу и, повернувшись другим боком, затвердеет, хотя бы и подвижным — но все же — укладом.

А все-таки боязно.

Корову вести на перепись — боязно.

Что с ней сделают? Отнять — не отнимут, испортить — не испортят, ребят без молока не оставят. Есть вера в своих людей, в Сметанина, — хоть и приезжий, а человек надежный, — в свой колхоз Октябрь, — дело крепкое, доказанное. И еще: не один (не одна) я веду,— все ведут, соседи ведут. С народом-то как-то веселей.

А все-таки — боязно.

Ведь на ней, на животине, каждая шерстинка своя, памятная. Вдруг да перемешают скот, расставят как-нибудь по-новому, кормить велят по-новому, доить по-новому... Новое — оно-то и страшит. Все равно, что с незнакомого берега прыгать в летнюю реку. Прозрачны и зелены, чистотой и прохладой своей заманчивы глубины, и тело истомилось от зноя, само хочет смены стихий, погруженья. А боязно вот...

Боязно, а виду не показывают. Шагают уверенно и степенно. На скотину, если заупрямится, покрикивают спокойно, по-хозяйски. С встречными здороваются достойно.

Обнаруживать свои чувства станица не любит. Пускай все будет чинно, неспешно, — как заведено.

Школа. Помещение значительное и непременное. Собрания, митинги, сборы, курсы трактористов, ликвидация неграмотности — вся реконструктивная зима проходит сквозь школу, на этих низеньких, исцарапанных партах, под пыльными гирляндами ученических флажков, среди портретов вождей, голубых полушарий планеты и зоологических картинок. На окнах — стриженые из бумаги занавесочки, — советская, рабпросовская умильность. На полу — сырые ошметки грязи, следы тяжелых, взрослых сапог. Поистине школа — приют великих работ, преображающих станицу.

На дворе комиссия осматривает скот, обмеривает его, определяет масть, возраст, и все записывает на малом клочке бумаги. Это — квитанция, к в и т о к, который выдается владельцу коровы в доказательство ее обобществления. Фурье или иной из прекраснодушных провозвестников и певцов социализма сильно смутился бы, пожалуй, — попадись ему в руки этот квиток, знак долгожданного и величайшего акта, социализации. Вероятно, он ожидал для такого случая чего-нибудь более торжественного и золотообрезного, чем этот замусоленный обрывок плохой бумаги, невнятно исчерканный химическим карандашом. Но социалистическая реконструкция вообще необстановочна.

В классе, за партой — член правления Октябрь, ведающий массовой работой. Крупное, широкое тело его странно переломлено приземистой скамейкой. К нему подходят по очереди и молча суют квитанцию. Он подписывает ее и вслед затем все данные осмотра заносят в ведомость. Ведомость будет приложена к договору, заключаемому правлением сразу со своей пятидесятидворкой. Отныне скот принадлежит колхозу, но, за отсутствием общественных хлевов, будет до поры до времени находиться у прежних владельцев. Договор обусловливает нормы кормления, запрещает убой и продажу без разрешения колхоза. Молоко идет в пользу содержателей.

— Распишись, стара́.

Правленец подвигает ведомость темнолицой и костистой старухе, передает карандаш. Прямая, негнущаяся, она как бы обожжена и высушена горячими ветрами заазовской равнины.

— А неграмотная я, неграмотная...

Странно зажав в кулаке карандаш, она стоит перед партой в боязливом смущении.

— Ну, крест ставь, — разрешает правленец и тычет пальцем в графу.

Прямоугольно согнувшись над ведомостью, бабка медленно выводит косой и прочный крест.

— Следующий.

Очередь движется без задержки. На раз'яснения правленец не хочет тратить времени.

— И так не управишься тут с вами.

В углу, где столпились закончившие всю процедуру обобществления, — недоуменный шопот:

— Чи трахтация, чи учет, чи шо?..

Нужно ли было проводить обобществление молочного скота в Октябре? Коллективные скотные дворы здесь еще не выстроены. После учета и подписания договоров скот все равно возвращается к прежним владельцам. Никаких явных, наглядных перемен не происходит. Самовольный убой и продажа вряд ли могут быть предотвращены этой мерой. Наоборот, такое б у м а ж н о е обобществление, проведенное к тому же, вопреки хорошему выселковскому обыкновению, без тщательной подготовки, без предварительного широкого растолкования, понапрасну волнует станицу, сеет тревожные слухи и потому способно лишь усилить резку и распродажу. Постановление Центрального комитета партии от 5 января — первоосновной документ коллективизации — предусматривает обобществление лишь т о в а р н о г о скота. Скот лично-потребительского значения должен быть обобществлен п о з ж е, после необходимой организационно-технической подготовки.

В Октябре с этим делом явно поторопились, понадеявшись на прочность и налаженность своего об'единения.

И это — одна из ошибок Василия Сметанина, а с ним и всего коммунистического коллектива Октября.

7

Панько ходит в черном картузе с лаковым козырьком. Круглое лицо его румяно и плотно, глаза быстры. Он похож на купчика-молодчика, на разбитного ярославца с сытинской календарной стенки. Но и не в таких еще чужеродных человеческих оболочках живет и бушует большевистское сознание. Все обманчиво в наружности Панько: он — секретарь партийного коллектива, пролетарий, южанин. С ярославцем его роднит еще разве только речистость: Панько — неутомимый и громокипящий оратор.

Он поспевает всюду — на все бесчисленные собрания, заседания, совещания предвесенней станицы. И везде и всегда он говорит: длинно, витиевато, неистово. Он бичует, разит, призывает, указует, восхваляет и снова бичует. Это он вонзил в уполномоченных пятидесятидворок молниеносный лозунг: «Или весна, или тюрьма!» Он же разразился на собрании пайщиков епо такой замысловатой тирадой: «Все ходящие, сидящие, в люльках лежащие, кричащие должны сознавать и двигать бешеным темпом посевную кампанию». Подобные пылкие изречения для Панько не случайность, не обмолвка, — нет, ими, как шрапнельный снаряд металлической кашей, начинены все его доклады, выступления, председательские резюме. Равно, как и определением бешеный:

— Бешеным образом говорим вам.

— Бешеный призыв райкома: день и ночь!

— Бешеную работу должны проявить члены рабпроса.

Этим стремительным словечком он взрывается беспрерывно и равномерно, точно двигатель внутреннего сгорания.

Речи Панько сбивчивы, словесно перегружены, синтаксически неуклюжи. Но вот что удивительно: его все понимают. Самые неожиданные иносказания, самые залихватские обороты укладываются в хлеборобских головах как должное и уместное. Его внимательно слушают и крепко слушаются.

Речи Панько многими перехватами и заскоками своими комичны. Но этим речам никогда не смеются, за вычетом тех случаев, когда оратор сам захочет посмешить. Это бывает редко, очень редко, ибо смешить и потешать в феврале 1930 года некогда, и не тем заняты мысли Панько. Нет, он, как и Сметанин, серьезен. Он серьезен до свирепости, до полного забвения всего побочного и несподручного, он преследует одно лишь значительное и существенное. Это только словесная оболочка его речей полна обиняков и выкрутасов, — они слетают с его верткого языка сами собой, бездумно, — смыслом своим речи сухи, прямолинейны и целеустремленны до крайности. В сущности, он говорит только о том, что нужно сделать сегодня и завтра.

И все у него должны что-нибудь сделать:

должны сдать семена,

должны провести беседы о тракторных задатках,

должны руководить ликвидпунктами.

Должны, — точно все в неоплатном долгу перед кем-то, — перед веком, за то, что родились в нем.

А так как, по большей части, все должны сделать что-нибудь тяжелое, или неприятное, или кажущееся невыгодным, или просто очень важное, что переиначит всю жизнь, то и слушают Панько, насупив брови, сдерживая дыхание, — не до смеха тут.

Все новое, все главное, все императивное приходит в станицу чаще всего через Панько. Как же не говорить ему, — как же не сообщать, не призывать, не настаивать, не грозиться!

И как же можно не слушать его! Ведь все знают, что сказанное будет делом. Так оно ведется теперь.

Да, Панько не только говорит и призывает делать и кричит на три квартала, — он сам делает. Говорением делает и делая говорит. Только понаблюдавши за ним, за секретарем партийного коллектива двух станиц и двух хуторов,

можно уяснить окончательно, что такое слово, какова его роль и сила.

Инструктивная речь Панько на совещании партийно-комсомольского актива, — бурная, кудрявая, ругательная и по смыслу своему безошибочно точная речь... Это уже не система положений, не предначертанье, не планирование. Отсюда выйдут, выслушавши его, разойдутся по пятидесятидворкам и не когда-нибудь, а сегодня и завтра будет сделано то, что сказано. Слова Панько почти непосредственно движут людей, водят скот, переставляют предметы, и не как-нибудь, а ломая старый общественный порядок и учреждая новый. Это уже почти физика, почти техника: во всяком случае, это — организация.

Панько осведомитель, глашатай, инструктор, Панько двигатель, толкач, рулевой, Панько зовущий, контролирующий, распекающий — все исчерпывается одним понятием: Панько — организатор. Он сам — главный выселковский агент великой организации, кратко именуемой: партия. Он — предводитель малой организации, которая, являясь частицей великой, здесь, в Выселках, полностью представляет и выражает ее.

В коммунистическом коллективе Октября, вмещающем ячейки четырех населенных пунктов, — девяносто членов и кандидатов партии. Тридцать четыре из них кандидатствуют не больше двух недель: приняты в ленинские дни сего года. И эти девять десятков скрепляют собою огромное трудовое об'единение с его тысячью восемьюстами дворов, без малого десятью тысячами жителей, с шестнадцатью тысячами гектаров засеваемой площади. Девяносто молодых, малоопытных, плохо обученных коммунистов ведут за собой эту людскую махину, только что собранную, кипящую разностремительными силами, призванную осуществить сложнейший и неизведанный способ труда. И ведут они — вся практика, все победы Октября свидетельствуют об этом, — туда, куда нужно, и так, как следует.

Их ли это заслуга, только ли их, девяти десятков? Нет, разумеется, — не только их, но и всей партии. Пример такого далекого, окраинного, земледельческого уголка страны, как Выселки, убеждает лучше сотни ортодоксальнейших брошюр, газетных статей и цифровых отчетов, убеждает разительно и неопровержимо, как выросла партия за последние бурные годы, какими могучими и точными методами водительства овладела, какую преданность, исполнительность, дисциплину утвердила в своих рядах. Здесь, за тысячи верст от центра, в крестьянской, казачьей области последнее партийное слово звучит также громко, безоговорочно, свято, как и в аппарате столичного райкома. И так же незамедлительно претворяется оно в живую, видимую реальность. Партия в целом, всем организмом своим, единой мыслью, единой системой действий обусловливает, обеспечивает многое для каждого узелка действительности, для каждого пункта страны. Многое, но не все. Как велико значение каждой части партии, каждой местной ее единицы, как можно извратить партийную волю, как неумелыми, глупыми и чуждыми руками можно исковеркать партийное дело, — тому есть множество примеров.

И вот, коммунистический коллектив Октября, во главе с секретарем Панько, не только не выбился из общей системы, не только сумел правильно воспринять и осуществить в своей деятельности единую партийную волю, но и осуществил ее творчески: умно, смело и гибко применил ее к условиям и данным своей местности, своего хозяйственного комплекса, своего людского состава. В этом его главная и бесспорная заслуга.

Взять хотя бы того же Сметанина.

Сметанин — инициатор и основатель Октября, председатель правления, хозяйственник — он тоже частица партии и часть выселковского партийного коллектива. Его значение в политике и в повседневной практике колхозного руководства первостепенно. Ему, его большевистской воспитанности, трудоспособности, интеллектуальному весу, его выдержке и изобретательности колхоз обязан крупной долей своих успехов. Среди людей Октября он, в хорошем

и деловом смысле слова, заметнее всех. Но включить самого Сметанина, эту своеобразную и сложную силу, в организацию, целесообразно и свободно поставить его в ней, подчинить весь коммунистический состав, весь станичный актив его инициативе и, вместе с тем, обеспечить не мелочный, не назойливый товарищеский контроль над самим Сметаниным, да притом не повздорить с ним, переброшенным работником, привыкшим к самостоятельности и большим масштабам, ни в чем не помешать, а всемерно и толково помочь ему, — в одном этом немалая заслуга партийных ячеек Октября. Особенно, если вспомнить первоначальное недоверие некоторых артельных коммунистов к Сметанину в первые дни после его приезда, — недоверие, которое было преодолено быстро и бесследно усилиями лучшей части партийцев и, больше всего, стараниями секретаря Панько.

Между ними, между хозяйственником и секретарем партколлектива, — не все гладко. Нередки деловые разногласия и — на их основе — упрямые споры, сердитые столкновения, — еще не притерлись вплотную друг к другу два авторитета. Но ни разу в выселковской ячейке не промелькнуло и тени нудного, чреватого разрушительной склокой, личного раздора. Сметанин и Панько, они уважают и ценят друг друга, за глаза говорят друг о друге только хорошее. И в деловых стычках не дают воли раздражению. Спокойному, всегда сдержанному северянину это дается легче. Пылкий и щедрый на крепкое слово Панько в таких случаях тяжело багровеет и долго смотрит в сторону. Тем больше чести для него, что он выходит победителем из этих стычек с своим собственным характером.

Во всех крупных хозяйственных начинаниях инициатива и главенство почти всегда за Сметаниным. Он больше знает, лучше предвидит и рассчитывает, шире берет. Но не случалось еще в Октябре ни одной важной политической кампании, которая была бы подготовлена помимо партийного коллектива, без предварительного придирчивого разбора со стороны Панько, — кампании, которая была бы проведена без его организационной дислокации, инструктажа, распорядительства. Озимый сев, хлебозаготовки, денежные сборы, всяческие перевыборы, подготовка к весне — все это пущено в ход, скреплено и продвинуто силами выселковских, ново-суворовских, хуторских коммунистов. Все они — Сметанин, Панько, остальные партийцы — делят и ответственность,— правда, в разных долях, — за поражения, срывы, ошибки, вроде запоздания со сбором семенного фонда, или никчемного обобществления коров.

Есть одно большое, существеннейшее для успехов Октября мероприятие, инициатива которого полностью принадлежит Панько. Не кто другой, как он, выдвинул и осуществил идею децентрализации ячеек, разбивки всего коммунистического состава на двойки и тройки по числу пятидесятидворок. К каждой пятидесятидворке прикрепили такую двойку или тройку, прибавили к ней комсомольцев, культурников, пионеров, и таким образом каждый из тридцати четырех колхозных отрядов получил свой политико-просветительный штаб, крепкий организационный тяж, за который всегда может ухватиться центральное руководство, чтобы вести за собой пятидесятидворку. Благодаря этой мере, коммунистические силы Октября пронизали человеческий массив колхоза гораздо равномерней и разветвленней, чем раньше. Партийная энергия получила доступ ко всем зачаточным и молекулярным процессам колхозной жизни. Новый производственный строй нашел должное отражение в новых формах политического воздействия.

Этот простой, но смелый и многополезный шаг на пути цехового переустройства партийной работы, никем и ничем, кроме требований практики, не подсказанный, свидетельствует об организаторской находчивости Панько, о верном чутье к живой и меняющейся действительности. Правильная расстановка сил — один из важнейших принципов организации: а Панько расставил порученные ему силы как нельзя более целесообразно, — так, чтобы они постоянно наращивались, вы-

зывали к действию **новые** силы и отчетливо руководили ими.

И есть одна обширная, значительнейшая область в колхозной повседневности, где первое слово принадлежит опять-таки Панько, — область, наиболее плотно примыкающая именно к партийному коллективу, к его функциям. Это все, что связано с непосредственным формированием нового сознания, с политическим воспитанием, с культурничеством.

Нет такого угла на Кубани, где бы хозяйственно-социальной реконструкции 1930 года не сопутствовало гигантское культурное движение масс, движение, которое нельзя назвать иначе, как стремительным **порывом** к культуре. Жадные поиски знания, всякого знания — политического, технического, общеобразовательного, тугое, трудное, но неотступное овладение знанием — вот, что характерно для всех почти слоев советского хлеборобства, для обоих полов и всех возрастов, вот, что можно простым глазом, без всякого статистического вооружения, увидеть в зимней кубанской станице. Неспроста, недаром все реконструктивные процессы тяготеют здесь к помещению **школы**: это и широкий символ, и деловой признак. Бесконечной чередой идут через школу всяческие курсы, до отказа, до потной духоты укомплектованные; густеет вокруг школы сеть кружков для неграмотных, где можно встретить и ту самую шестидесятилетнюю бабку, которая вчера водружала крест в ведомости обобществления; в избах-читальнях, в библиотеках не протолкнешься к газете и книжке сквозь многослойную толщу посетителей. И разве же эта всеобщая, стихийная, именно **сейчас** возросшая тяга к коммунистическому просвещению не есть лучший показатель органичности, своевременности и добровольности **всего** движения за сплошную коллективизацию в **целом**, несмотря на перегибы и головотяпства отдельных представителей и органов местной власти?

В Выселках, во всем опередивших по крайней мере на полгода свою округу, этот повсеместный штурм твердынь неграмотности технического невежества, политической первобытности проявляется еще очевидней, еще интенсивней.

Здесь секретарь Панько, собрав девятнадцать учителей и учительниц, сказал им:

— Внешкольная работа, товарищи, это — ваш бешеный экзамен, ваша политическая проверка.

Здесь, на сельскохозяйственных курсах, предназначенных для 150 человек, обучается 200 с лишним, да еще толпа «вольнослушателей» всегда стоит в дверях:

— Не выгонишь.

То же самое и на курсах трактористов.

Здесь из 1127 неграмотных и малограмотных семьсот ходит на ликвидпункты, и в праздничный день во многих кварталах станицы можно услышать дробный стук молотков: во дворе, среди солнечных щепок и стружек, несколько хлеборобов хозяйственно обмеряют тесины, — обстругав и распилив, сколачивают столы и скамьи.

— Для кого робите?

— Для неграмотного кружка робим.

— А кто велел?

— Никто не велел, сами надумали. Нема у нас у кубике того кружка.

Здесь, в Выселках, в Ново-Суворовской, на хуторах **каждый** вечер, в **каждой** пятидесятидворке часам к восьми собираются в **культурную хатку** хлеборобы вместе со своими прикрепленными партийцами и комсомольцами, проинструктированными до отказа неукоснительным Панько. Сидят до-поздна, до черной ночи, не курят: не принято, покурить выходят в сенцы, — беседуют, — о чем? — обо всем на свете.

Как часто, после очередных и страстно-близких дел, — семена, корма, кооперативные паи, бедняцкие льготы и опять семена, — после слезных криков, злобного гуденья, упреков, увещеваний, вспыхивает вдруг тихий и тоже совсем не прохладный разговор, — о чем? — о социалистических агрогородах, например.

Напрягая не слишком подробную газетную память, выложит прикрепленный все, что ведомо ему: о мощеных улицах, о светлых домах, о заводах по перера-

ботке продукции полей, о театрах, о теплых уборных и о том, что все это непременно будет и уже где-то устраивается.

И тут требовательный, донельзя заинтересованный голос взволнованно перебьет с места:

— А ванныи будут?..

Подумавши, ответит прикрепленный, что и ванны, наверное, будут, — почему же не пополоскаться в ванне хлеборобу после пыльных трудов степных. Тогда попросит слова пожилой бывалый казак, знававший и Москву, и Питер, и немецкий плен. Возьмет он слово и предложит, чтобы ванны в агрогородах были непременно газовые и с дождиком. Возражений не последует.

Потолковав еще о силосных башнях и воздушном сообщении, кончат беседу и гурьбой выйдут из хаты. Сырая, свежая ночь. Помочившись у плетня и перекинувшись раздумчивыми замечаниями, разойдутся по домам, увязая по щиколотку в густой и цепкой грязи. Сильный, теплый сон сразу навалится на усталые головы, как ножом отрежет истекший день, и день сольется с минувшей вечностью. Но не заспать, не позабыть вечерних мечтательных слов, зовущих образов будущего, которое так близко, что кажется только руку протянуть — и вот оно, творимое. Никому не восстановить прежней тупой деревенской ограниченности, землеройного, кротовьего глазомера, никому не рассеять этой веры в наступающий стройный, небывалый порядок вещей, могучей и деятельной веры, которую нагнетают в крестьянские умы те неутомимые двигатели внутреннего сгорания, что зовутся коммунистами и большевиками.

8

Степь, озимый клин, влево от дороги — сорок девятая и пятидесятая стогектарки Октября. Вот и пограничный столб с четырьмя цифрами — деревянное воплощение землеустроительской плановой мечты. Но то, что на бумажном плане было главным, густым, резким — сеть квадратных клеток — рейсфедерные линии сторон и точки пересечения их, — здесь, на живой земле, необозримо раздвинулось, стушевалось, почти исчезло. Одинокий, потемневший от дождей столбик, а вокруг него, — та ничтожная белизна бумаги, — сплошной, великий простор зеленый всходов, затопивший всю геометрию условных делений.

Только жирная плановая прямая полевой дороги еще пожирнела, разбухла, налилась в колеях стоялой водой и тяжко наворачивается на железные шины колес.

Все дальше, все дальше отступают Выселки, смутной полоской растянувшиеся по горизонту. Различимы крыши, колокольня, серый куб элеватора. Вот и они потускнели, скрылись, заслоненные округлыми мускулами земли. Но еще маячит, возвышается победно тот высокий холм с краю станицы, на котором возведены Октябрем первые здания его технического городка.

Этот индустриальный холм владычествует над станицей как Акрополь, со всех улиц видны желто загрунтованные стены тракторного гаража и кирпичная кладка ремонтных мастерских. Там же вырастет скоро молочная ферма, поодаль — кирпичный завод, в другой стороне — амбар для сортовых семян. Вместе с общественной конюшней и скотным двором при каждом из четырех населенных пунктов, вместе с круглыми башенками силосов — все эти постройки, уже покоящиеся листками калькуляций в сметанинской перспективной папке, изменят и самый облик станицы. По-иному будет видеться она отсюда, из степи.

В этот час там, на холме, — разгар ремонтной работы. Гремит, скрипит и стонет нехитрое колхозное оборудование. Сизый дым из выхлопных труб заволакивает мастерские. С е л ь с к и е ц и к л о п ы, в жарком поту соревнования, простым молотком да клещами чинят и з д е л ь е л е г к о е заокеанских Штатов. Перед гаражем, на просохшей площадке, промеж неубранных груд кирпича, щебня, стружек, осторожно ползают желто-зеленые джон-диры, уже прошедшие через мастерскую.

— С деревянными колышками ремонтируем, — грустно подмигивает на них старший механик Кулешов.

Все не шлют и не шлют запасные части. На холме — задыхающаяся суета недостач, прорывов, неумолимой спешки.

Здесь, в степи, безмолвие и успокоенье завершенного. Под проплывающими стаями легких облаков тихо, могуче, во все стороны света раскинулись молодые зеленя. Их ровное море не одноцветно: под солнцем они вспыхивают счастливым изумрудным огнем, в тени облаков лиловеют, у горизонта лежат как темные, грозные воды. Отсюда до края колхозного поля двенадцать километров.

Эти зеленые линии всходов, прочерченные рядовой сеялкой, — изгибающиеся, но строго параллельные, — не похожи ни на что природное, дикорастущее. Они заявляют внятно: здесь длинной волной прошел человеческий труд. Наотмашь, от края до края он преобразил пустую, смуглую степь. И уже не предкавказской, не азиатской глядится она: что-то, будто, германское, саксонское в ней — рачительное, взлелеянное до последней пяди. Только откуда ж там взяться этой неоглядной, насквозь свистящей ветром широте? Только где ж там такая нерушимая — до неба — зелень, без межей, без оград, без колючих изгородей, свободная и принадлежащая всем? Нет, это не древняя, тесная, удобренная потом и кровью европейская земля, — совсем новый, только что открытый зеленый материк начинается отсюда.

Но точно ли, — так ли ровны, гладки и беспорочны молодые зеленя? Отстранить высокие мысли, присмотреться спокойней, — и вот, пошли чернеть зияющие просевы, вот выступила повсюду лишаями желтая сурепка, вот — высокие, щедро раскустившиеся всходы своевременного посева, а рядом — низкие, чахлые гектары запоздалого. В мочежинах — сочная яркость и густота, на обдутых возвышенностях — скучные плешины. Присмотреться, — отнюдь не ковер, не скатерть, — скаты, ложбины, низины, холмы, увалы, — все тот же неровный, беспокойный, мятежный лик земли.

Даже степи не плоски.

Живая лирика

Всё те ж луга, и мальвы, и ромашки,
Цветов и трав капризные ковры.
Летит по краю темного овражка
Сорока, прячась от степной жары.

Покой и мир... И всё цветет, не зная,
Что завтра начинается покос.
Машинным маслом пахнет синь степная,
И сталью в степь щетинится колхоз!

* * *

Мы широки и многоводны,
И многоводья нам не жаль.
Пожалуйста, куда угодно,
В лесную и степную даль.

Не даром полюбил я край мой,
Его строительство и взлет.
Он дышит весь глубокой тайной
И, словно в мае, лес цветет!

* * *

В покосе соревнуются бригады,
Ряды машин и взмахи ловких кос.
Кузнечики поют, рязанские цикады,
Сбежав с полей под крылышки берез.

Растаял день, и сумерки настали,
И ночь пришла, и воздух стал сырей.
Но и всю ночь перекликались дали
Жужжаньем кос и смехом косарей!

* * *

Я под'езжал к молочному совхозу
В сплошной заре, когда в степи роса,
Кусты в дыму, на мальвах блещут слезы,
Луга таращат пестрые глаза.

Мне нравится степных колес бренчанье,
Безумье птиц и свежесть ветерка,
И первое протяжное мычанье
Коров по зорьке из-за сосняка.

Я чувствую, что приближаюсь к цели.
Коровий рёв все резче, все дружней.
Ударил свет, бабайки полетели,
Гудит пчела, и солнце льет с ветвей!

* * *

Соревнованье кончено до срока,
Луга лежат рядами свежих трав.
Через кусты пестрит крылом сорока,
Своих сельчан по говору узнав.

Шумит в пути победная бригада,
Неся устало кумачевый стяг...
С реки давно повеяла прохлада
И все темней в кустарнике овраг.

Бригада побежденная отстала,
И косари бредут по одному...
Их знамя — шест, дерюга и мочала,
Но не смешно, конечно, никому.

Проклятая дерюга! Вот расплата
За чью-то лень... А вечер все темней.
В степи туман, и степь вся синевата,
Дымят кусты, и нет от них теней.

Петр Орешин

Очередное свидание социалистических превосходительств

Венский конгресс II Интернационала

И. Браславский

История послевоенного II Интернационала обогатилась еще одним этапным пунктом его восхождения «на высокие горы» капитализма — Веной. Отныне к послевоенному маршруту штаба международного социал-предательства Гамбург — Марсель — Брюссель, к этим пунктам, где происходили первые три конгресса II Интернационала, нужно присоединить новый — Вену.

Вена — город исторический. В этом внешне блестящем городе, архитектура которого, по выражению романтически настроенных публицистов, представляет собой «смесь небесного с земным», в 1805 и 1809 гг. торжественно разгуливали наполеоновские войска, а в 1815 г. заседал знаменитый венский конгресс во главе с диктатором международной реакции начала XIX в. Меттернихом. Улицы Вены знают также и железную поступь революции. Мартовские дни 1848 г. были настоящей революционной бурей, которая в мае того же года достигла такой силы, что коронованная верхушка вместе с многотысячной челядью вынуждена была срочно оставить пределы города. Вена связана также с именем генерала Виндишгреца, кровавые подвиги которого при подавлении революции 1848 г. привели в умиление и восторг отца российского солдафонства — Николая I.

1905, 1907, 1918 гг. — «городом роскоши и чванства» на время овладевали обитатели рабочих кварталов и тогда настороженная венская полиция, начиная с мировой войны, подкрепленная отличным агитпропом — социал-демократическим руководством, проявляла чрезмерную активность «в интересах собственности и порядка». Наконец, грозное предупреждение революционных пролетарских масс прозвучало в Вене еще совсем недавно, в 1927 г., но оно было быстро заглушено об'единенными силами капиталистической реакции и социал-фашизма.

Итак, «богатые» страницы Вены дополнились еще одной новой. В книгу «подвигов и успехов», достигнутых в этом городе, II Интернационал вписал новую страницу, которая, нет сомнений, украсит эту историческую хронологию, открывающуюся именами гениев жандармской эпохи — Меттернихами и заканчивающуюся «лучшими людьми» современной эпохи капитализма — Макдональдами, Гендерсонами, Реноделями, Вельсами, Бауэрами и т. д.

I

Венский конгресс открылся с соблюдением полного церемониала. Вандервельде в длинной вступительной речи дал «внушительный» набросок основных путей, по которым должна будет пойти работа конгресса. Суждения и решения последнего, по мысли Вандервельде, должны быть «увязаны» в полной мере с ситуацией сегодняшнего дня на международной политической арене. Лондонская конференция, которая должна была облегчить положение Германии, потерпела полную неудачу, — говорит Вандервельде, — так что в данный момент II Интернационал обязан «вмешаться», сказать, по этому поводу, свое веское слово и оказать поддержку Германии. Но, спешит он оговориться, не нужно забывать, что «никакая помощь Германии не может итти за счет

репарационных интересов Франции и Бельгии». Патриотические чувства социал-империалиста заставляют этого покорного слугу франко-бельгийского капитала с нарочитой подчеркнутостью заявлять о том, что во всех случаях, в любой обстановке долг перед отечественным империализмом для него превыше всего.

Но все эти рассуждения — ничто в сравнении с откровенными предательскими «установками» Вандервельде по вопросу о разоружении. Он, конечно, «решительный сторонник разоружения», но его «страшит» мысль, что «борясь против вооружений, социалисты должны выбирать между опасностью ужасных конфликтов совести и опасностью дорогой расплаты на следующих выборах за свои пацифистские чувства, противостоящие патриотизму населения».

Проще говоря, Вандервельде, хотя и «болеет душой» по поводу растущих вооружений и опасности войны, но не следует уже так слепо следовать своему чувству. Необходимо «крепко подумать» и о буднях, о практической деятельности, о депутатских местах, министерских портфелях и прочих жизненных благах капитализма.

Справедливость требует отметить, что приведенная «мысль» Вандервельде — не нова. Ее, за год с лишним до конгресса, куда проще изложил центральный орган французской социалистической партии «Попюлер».

«Все, что мы можем сказать об опасности вооружений, о постоянной реальной угрозе войны, — писала в январе 1930 г. эта газета, — сходит на-нет перед одним простым моментом: мы не хотим, чтобы нас дурачили, мы не желаем, чтобы нами командовали... Не следует оставлять ни тени сомнения относительно того, что мы предпримем тотчас. Никакого доверия к социалистическому правительству не может быть, если оно не гарантирует национальную оборону».

И после всей этой гнуснейшей декларации Вандервельде ничтоже-сумящися заявляет, что только социалисты являются подлинными «защитниками мира», отвергающими «спекуляции коммунистов на новой войне». «Мы делаем ставку на мир, — закончил он свою речь, — мы не хотим социализма, празднующего победу над развалинами. Мы хотим добиться освобождения рабочего класса при минимуме социальных потрясений».

Итак, «установки» конгрессу даны. «Размежевание между социализмом и большевизмом», как того требовал Дан в своем приветствии, произведено полностью. Теперь «смело за дело», за новое демонстрирование крепости союза социал-интервентов с империализмом, с жизненными интересами господина капитала.

Перейдем, однако, к пунктам порядка дня.

Первый пункт, поставленный конгрессом на обсуждение, — «борьба за разоружение и военная опасность» — это, фигурально выражаясь — «дежурное блюдо» всех послевоенных конгрессов II Интернационала.

Вопрос о разоружении был обсужден и на Гамбургском конгрессе 1923 г.; он позволил щегольнуть «радикализмом» кое-кому из великой предательской семьи — на следующем конгрессе в Марселе; ему были посвящены длинные речи на конгрессе в Брюсселе в 1928 г. Наконец, этот вопрос был выдвинут в качестве «центрального» и на конгрессе в Вене, причем защитником принципиальных позиций выдвинут был бельгиец де-Брукер — один из самых ожесточенных врагов СССР и ярчайший апологет франко-бельгийского империализма.

И на всех четырех конгрессах этот принципиальный вопрос обрастал новыми «откровениями», новыми комментариями к подлой защите грабительской, явно интервенционистской политики и практики международного империализма.

Следует отметить, что обсуждение первого вопроса на венском конгрессе происходило на базе давным-давно «проверенных» и принятых решений. Большинство делегатов конгресса за 17 лет содружества социал-демократии с империализмом уже накопило такой большой опыт, такую уйму готовых решений, что ему не стоило многих затрат времени и энергии на то, чтобы быстро договориться. Отсюда ясно, что для того, чтобы понять содержание вопроса в его постановке на венском конгрессе, необходимо несколько «отступить» назад и посмотреть, как складывались эти «сугубо-принципиальные позиции», которые дали повод органу польской финансовой буржуазии «Нашему Пшеглонду» заявить в дни конгресса с насмешкой: «Мы имеем здесь (в Вене — **И. Б.**) большую мистификацию, которая состоит в

том, что социалисты говорят одно, а делают другое».

«Начинающий изучение нового языка... лишь тогда сможет свободно пользоваться им, когда получит способность без всяких припоминаний применять чужой язык и в нем забудет свою родную речь». Эти слова Маркса из «18 Брюмера» могут и должны быть применены в полной мере к героям II Интернационала при анализе всей их политики и тактики, а, в особенности, их позиций по вопросам военной опасности и разоружения.

В резолюции XI пленума ИККИ (апрель 1931 г.) мы находим следующее определение позиций социал-демократии в вопросах войны:

«На всех основных этапах развития классовой борьбы, со времени мировой империалистической войны и возникновения пролетарской диктатуры, социал-демократия была на стороне капитализма против рабочего класса. Она посылала миллионы пролетариев на империалистическую бойню под флагом «защиты отечества». Она помогала «своей» буржуазии проводить военную интервенцию в СССР в 1918—1920 гг.

По линии империалистического разбоя — это активное соучастие в версальской системе, в закулисных интригах сугубо тайной дипломатии, поддержка под «пацифистским» флагом вакханалии вооружений и подготовка к войне, поддержка империалистических военных союзов...

Вся контрреволюционная, антирабочая политика международной социал-демократии находит свое завершение в подготовке блокады и военной интервенции против первого в мире пролетарского государства».

Нет надобности углубляться в далекое прошлое для того, чтобы фактами иллюстрировать это исчерпывающее определение, данное международной социал-демократии. Достаточно обратиться к отдельным документам последних лет, чтобы убедиться в том, как II Интернационал «без всяких припоминаний» применяет язык империализма и «в нем забыл свою родную речь».

Начнем с самых последних документов.

На последнем с'езде французских социал-фашистов в Туре (май 1931 г.) лидер партии Леон Блюм следующим образом резюмировал явно империалистические откровения участников с'езда, выступавших по вопросу об «отношении партии к национальной защите»:

«Страна, отвергающая арбитраж и выступающая с оружием в руках, и есть нападающая сторона. Если бы Франция бросилась в войну, не выполнив мер международной гигиены (?! И. Б.), предусмотренных Лигой наций — долг французской социалистической партии заключался бы в поднятии вооруженного восстания. Однако именно Франция проявляла и проявляет инициативу в деле разоружения. Ее разоружение, несомненно, привело бы ко всеобщему разоружению. Впрочем, серьезная угроза делу мира таится в факте существования диктаторских правительств, не подлежащих никакому контролю».

На первый взгляд положение Блюма поражает своей «подкупающей» простотой. Франция, изображаемая добродушной Марианной, сеющей только «мир и спокойствие», является «образцом» политики разоружения. Именно она является «инициатором» в этом великом деле, именно она выполняет «меры международной гигиены», но... мешают «диктаторские правительства», которые отвергают арбитраж и склонны «выступать с оружием в руках».

Эта «простая философия», рассчитанная на уловление голосов французских лавочников и биржевых маклеров, на которых социалисты Франции строят свое благополучие, по существу представляет собой точно выполняемый социальный заказ французского империализма и его генерального штаба. Блюм выступал и выступает по сей день не только в роли законтрактованного адвоката Пуанкаре и его грабительской политики. Он направляет «острие» своей «философии» и против СССР — этого «диктаторского правительства, не подлежащего контролю». Не Польша, не Румыния, не Чехо-Словакия и не Югославия, вооружаемые до зубов средствами, главным образом, французского империализма, являются прямыми бациллоносителями военной опасности. О, нет, — они, по мнению Блюма, Бонкура и Ренoделя, выполняют только «почетную функцию стражей цивилизации», притом, преимущественно «на своих восточных границах» (из заявления Бонкура во время посещения им Варшавы). Опасен Советский Союз и поэтому проблема «национальной защиты», т. е., проще говоря, проблема поддержки ... тервенционистской политики в отношении

СССР не может быть снята с порядка дня социалистической партии[1].

«Мы социалисты признаем необходимость национальной защиты при капиталистическом строе, — заявил на этом же с'езде Лебай (делегат Верхней Вьенны), — ибо для нас великая надежда заключена в демократии». Вот этой проституированной «демократией» международная социал-демократия и хочет прикрыть свою подлинную, явно предательскую физиономию. Под сенью «демократии» она теоретически обосновывает и практически проводит всю свою гнусную политику повседневной поддержки и спасения разлагающегося капитализма.

«Социалисты должны были пойти против партийного решения, — писал в мае в провинциальной газете «Прогре дю-Тарн» социалистический агитатор французского империализма Поль Бонкур, — чтобы не отстать от своей страны в момент, когда она вынуждена в первый раз после войны (в первый ли? – И. Б.) ответить решительным «нет» на настойчивые германские притязания в отношении пересмотра мирных договоров».

Вот она — настоящая цена «демократии». Вот какова подлинная сущность подлейшей теории Блюма об арбитраже и «международной гигиене». Здесь приобретает всю свою значимость характеристика «демократии», данная Энгельсом в письме к Бебелю от 11 декабря 1884 г.

«Чистая демократия... в момент революции приобретает на короткий срок временное значение... в роли последнего якоря спасения всего буржуазного и даже феодального хозяйства... точно так же в 1848 г. вся феодально-бюрократическая масса с марта по сентябрь поддерживала либералов для того, чтобы удержать в повиновении революционные массы... Во всяком случае, во время кризиса и на другой день после него нашим единственным противником явилась вся реакционная масса, об'единяющаяся вокруг чистой демократии, и этого, как я полагаю, ни в коем случае из виду упускать нельзя». (Разр. наша — И. Б.).

Итак, позиция французских социал-фашистов в вопросе о разоружении ясна. Она является прямым продолжением политики Пуанкаре, Бриана и всего руководства современного жандарма Европы. Французская буржуазия может спать спокойно, у ее дверей стоит отлично выдрессированный и преданный сторожевой пес.

II

Было бы неверно отдать пальму первенства в вопросе войны и вооружений только французским социалистам. Германские социал-демократы вовсе не намерены быть последними в таком важном для судеб капитализма вопросе. А от немцев нисколько не отстают англичане, бельгийцы, голландцы и т. д. В этом отношении у них поистине действует «интернациональное единство».

«Когда дело будет итти о защите отечества, я охотнее десять раз пойду вместе с генералом Гренером, чем один раз с господином Штеккером», — так заявил недавно социал-демократ Шепфлин. И это — не обмолвка. Германские социал-демократы давным-давно питают (и выражают это весьма открыто) самые «добрососедские, солидарные чувства» к решительным носителям «старо-германских» традиций. Эберт, Шейдеман, Носке, Зеверинг, Гильфердинг, Каутский, словом весь цветник германских предателей, не раз и не десять раз, а сотни раз и на публичных заседаниях и в печати подчеркнуто афишировали свою приверженность к «старой императорской гвардии», т. е. к махровым монархистам, выражая одновременно свою бешеную ненависть к коммунистам, к растущим коммунистическим рядам пролетариата, к СССР.

«Два человека спокойной и твердой рукой спасли нас от гибели: Гинденбург и Эберт», — так заявил в августе 1927 г. представитель германской народной партии (партия тяжелой промышленности Германии) фон-Кардорф. Точнее говоря, соединение политики и тактики двух партий — монархической и социал-демок-

---

[1] Замечательно, как господа Блюмы и Ренодели повторяют точь-в-точь Пуанкаре. Последний, в одном из своих выступлений весной 1930 г. в палате, заявил следующее:

„Достаточно кинуть издалека взгляд на Бессарабию. В этой румынской провинции мы видим конфликты, возбуждаемые СССР с целью воспользоваться ими рано или поздно как предлогом для новых интриг. Нетрудно также увидеть кое-какие темные пятна на польских границах. Разве может Франция в подобные моменты задерживаться на мелких внутренних раздорах. Нет, поистине, перед нами дела поважнее". В самом деле, какие могут быть у интервенционистов более важные дела, чем подготовка войны против СССР.

ратической — «спасли» Германию от пролетарской революции.

«Социал-демократ Эберт, — писал в некрологе о последнем орган рейнской горной промышленности «Дейче Бергверксцейтунг», — если принять во внимание все обстоятельства, был «отцом страны» в таком смысле, как Вильгельм I... У Маркса пост президента превратился бы в свою противоположность. Не то с Гинденбургом. Он был генерал-фельдмаршалом, и все же какая-то внутренняя близость с бывшим седельщиком Эбертом. Внутреннее родство, которое основано на характере. Гинденбург, Эберт, старый кайзер — это троица, которая делает честь понятию «отца страны», каким он должен быть».

Автор этих слов был глубоко прав. «Внутреннее родство» в настоящее время уже переросло общность характера. Оно давным-давно перешло в общность действий, взглядов и представлений. Сами предатели не скрывают теперь своих связей с монархией, свою приверженность к ней. Шейдеман, в своих свидетельских показаниях во время процесса (декабрь 1922 г.) по поводу покушения на его жизнь, с особой подчеркнутостью защищается от брошенного ему подсудимыми обвинения в том, что он предал монархию. И для того, чтобы его «самозащита» была более основательной, он процитировал следующую выдержку из статьи о нем же, написанной графом Бернсдорфом: «Шейдеман отнюдь не добивался революции, но он выставлял отречение кайзера, как необходимое условие для возможности сохранения монархии». Это была сущая правда. «Кто хочет спасти монархию, — говорил этот подлый социал-предатель в заседании кабинета 31 октября 1918 г., — должен действовать немедленно», или «нужно отказаться от нелепого утверждения, будто мы хотели революции и подготовляли ее» (заявление на мюнхенском процессе, октябрь 1925 г.).

Итак, не подлежит никакому сомнению, что в вопросе войны и вооружений, являющемся по существу прямым продолжением идеи монархизма, германская социал-демократия всегда предпочтет пойти, выражаясь словами Шепфлина, «десять раз вместе с генералом Гренером, чем один раз с Штеккером». На деле это означает, что социал-фашисты целиком и полностью разделяют военную политику германской и всей международной буржуазии, направленной в конечном итоге против СССР, против страны пролетарской диктатуры. Достаточно сопоставить хотя бы два следующих выступления, чтобы увидеть это с особой отчетливостью.

Умерший пару лет тому назад ярчайший представитель германского империализма и монархизма генерал Гофман в свое время обратился к французскому и английскому империалистическим правительствам с меморандумом, в котором он писал так:

«Остается только свергнуть советское правительство военной интервенцией извне. Только после этого можно заложить в России фундамент восстановления русской экономики и нового вовлечения России в орбиту европейского и мирового хозяйства. Об'единенные державы должны совместной военной интервенцией свергнуть советское правительство».

Так германский империалист формулировал задачи об'единенной европейской буржуазии, направленной против СССР. Но от Гофмана ни в какой степени не отстает и «маститый теоретик» современного социал-империализма Карл Каутский.

«С большевистской правительственной системой, — пишет сей старец в книге «Социалистический интернационал и Советская Россия», — у нас не может быть ничего общего... Подобно всякому военному деспотизму, подобно военной монархии Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов, она может быть преодолена только силой». По его мнению — наилучший способ окончательно разделаться с СССР — восстание изнутри. Он, как и вся представляемая им социал-демократия, делал и делает по сей день ставку именно на внутренний взрыв. Об этом в достаточной степени рассказали меньшевики-вредители; это было отчетливо выявлено и на процессе «промпартии».

Каутский, однако, достаточно предусмотрителен. А что, если внутренний взрыв не удастся? — задает он сам себе вопрос. Тогда — единственно верный способ — интервенция. Нужно твердо поставить перед собой эту задачу, — говорил он недавно, заявляя при этом, что его «страшит мысль об ослаблении воли и намерений II Интернационала» в отношении большевизма.

Интересно отметить в связи с этим один характерный момент. Меньшевики Абрамович и Дан согласны с Каутским во всем. Они

целиком поддерживают мысль Каутского о том, что «большевики устранили величайшие завоевания революции — свободу владения землей для крестьян и в этом отношении даже ушли дальше эпохи царя Александра II, вводя фактически в крупных предприятиях крепостничество для рабочих». Они, разумеется, также за свержение большевиков, за поражение СССР, но... без интервенции. Здесь они делают стыдливую мину и «доказывают» на бумаге неудобство интервенции потому, что это приведет к бонапартизму.

Фактическое содержание этих бумажных «страхов» Данов и Абрамовичей нам отлично известно. На недавнем процессе меньшевиков вскрыто было со всей отчетливостью непосредственное участие меньшевиков в подготовке интервенции против СССР, участие которое осуществлялось при полной поддержке II Интернационала. Характерно, однако, как Каутский доказывает меньшевикам всю неосновательность их опасений, что в случае интервенции на смену большевизму может притти бонапартизм.

Все, что придет на смену большевизму, — говорил он — будет несомненно лучшим последнего. «Возможно ли, чтобы на место того ада, который представляет собой нынешняя Советская Россия, пришло что-либо еще худшее. Может ли крушение диктатуры принести с собой что-либо иное, чем смягчение этого ада». По его мнению «русский народ имел бы основания почитать себя счастливым, если бы советская диктатура уступила место диктатуре режима вроде Наполеона III. Но большевики, к сожалению, не пойдут на эту уступку»[1].

«Смягчения диктатуры», т. е. сдачи всех позиций капитализму, помещикам, реставрация буржуазно-монархического режима — вот чего добивается устами Каутского международная социал-демократия. И ставя вопрос о вооружениях для гниющего капитализма (под флагом «разоружения»), изыскивая пути и способы укрепления своих национальных границ, она направляет острие всех своих теоретических установок и практической деятельности в одну сторону — на Восток, в направлении СССР[2].

«Для меня крайне мучительно, когда ослабляют силы нашего похода против неслыханных ужасов диктатуры, когда утверждают, что положение может ухудшиться после ее падения», — так отвечает Каутский всем «сомневающимся», вроде меньшевиков, и всем тем, кто под прикрытием «левизны» пытается разоружить активность социал-демократии.

Имея перед собой такую отчетливо выраженную «путевку» в империализм, не трудно представить все содержание «работы» венского конгресса II Интернационала по первому пункту — о военной опасности и вооружениях.

Действительно, предложенная де-Брукером от имени «разоружительной» комиссии резолюция, принятая после весьма непродолжительных прений 304 голосами против 4, вновь в старых, изжеванных выражениях требует от капиталистических правительств установления «международного контроля», создания постоянного международного органа, периодически руководящего конференциями по разоружению и сокращению сооружений. Эта «скромная», как назвал ее де-Брукер, резолюция должна послужить той основой, на которой международный пролетариат «может деятельно проводить борьбу» с империализмом, с захватнической политикой капитализма. Больше того, де-Брукер предвидит «возможность крушения конференции по разоружению» (он имеет в виду Лондонскую конференцию, которая должна собраться в 1932 г.), и отсюда он делает вывод, что II Интернационалу придется взять инициативу в свои руки. Поэтому нужно быть готовыми... к демонстрациям, петициям и т. д.

Ни слова о революционной классовой борьбе против подготовки войны и интервенции, о создавшемся напряженном положении на Востоке (Китай, Индия), об открытой, явно империалистической возне на польско-румынско-советских границах. Здесь для II Интернационала «все обстоит благополучно».

Больше того, кое-кому даже слышатся «чересчур решительные» тона в резолюции и обосновании ее де-Брукером. Жуо, например, полагает, что «в вопросе о разоружении имеется противоречие между интересами и убеждениями. Сокращение вооружений приведет к сокращению военной промышленности и тем самым увеличит безработицу». И Жуо непрочь «немно-

[1] См. „Gesellschaft“, январь 1931 г.

[2] Вожди зовут в поход против СССР, а вот что говорят рабочие по поводу этих гнусных выступлений: „рабочие ненавидят господина Розенфельда и все его статьи, печатающиеся в „Попюлер“ (центр. орган франц. соц. партии),— так заявил делегат Савойи на Турском конгрессе французской социалистической партии, имея в виду выступления бегло о меньшевика-интервента, приютившегося на страницах этой газеты.

го сбавить тон», хотя резолюция и точка зрения докладчика «безусловно приемлемы».

Увенчивает резолюцию, как всегда, изображение Лиги наций — этого органа, прикрывающего собою международный грабительский империализм, — единственным, оправдавшим себя «оплотом мира и правопорядка».

Так еще раз, под давно вылинявшим флагом буржуазно-пацифистских идеек, сдобренных лицемерием, ложью и клеветою на СССР, расчищена была дорога к новой империалистической войне, к широкому антисоветскому походу.

Достаточной иллюстрацией явно враждебного отношения конгресса к Советскому Союзу может служить, между прочим, «чествование» меньшевика Абрамовича. Как раз'яснил президиум конгресса, оно вызвано стремлением дать отпор попыткам советского правительства скомпрометировать Абрамовича в глазах пролетариата на процессе меньшевиков. «Чествование» уличенного соучастника интервенции хотя и было «апофеозом» всей работы конгресса, но по содержанию оно было завершением обсуждения первого вопроса.

При таких результатах с.-д. газета «Абенд», подводившая итоги «обсуждения» первого пункта, имела все основания спросить на следующий день после доклада де-Брукера:

«Где же генеральный штаб пролетариата, задачей которого является вести борьбу против капитализма, империализма, за разоружение?». Ответа из Вены, конечно, не последовало и не могло последовать, потому что таким подлинно-революционным штабом является только Коммунистический Интернационал. Что касается «штаба», разыскиваемого газетой «Абенд», то он свой адрес переменил давным-давно и теперь обретается под одной крышей с генштабами международного империализма.

Декорум всех с.-д. с'ездов был соблюден и на венском конгрессе. На нем присутствовали в качестве «обязательного ассортимента» и господа «левые» (преимущественно из германской с.-д. партии), причем как всегда и везде они и здесь пытались «блеснуть» своим давно разоблаченным радикализмом. Но все их демонстрации, разумеется, не внесли никаких изменений в ход работы и решения конгресса.

В самом деле, что могли изменить эти жалкие капитулянты, которые на своих национальных с'ездах, после больших клятв в верности делу рабочего класса, тут же снимали маски и показывали лица настоящих социал-фашистов и апологетов интервенции. Лейпцигский с'езд германской с.-д. партии, Турский — французской соц. партии и Краковский — ППС отлично иллюстрировали подлинное содержание этих жульнических трюков «левых». В вопросах войны и разоружения «левые» давным-давно поют в унисон со своими товарищами по партии.

«Левый» германский с.-д. З е г е р еще на Магдебургском с'езде недвусмысленно заявил, что по существу его единомышленников от установок партии отделяют небольшие разногласия. К чему все это нарочитое афиширование поддержки партией политики вооружений Германии, когда имеется «тысяча возможностей» поставить это дело совершенно по иному.

Почему бы, например, «в вопросе войны и вооружения, — спрашивает Зегер, — не следовать нам по тому же пути, по какому мы следуем в вопросах экономической политики? Почему нам не заявить, что мы отвергаем рейхсвер, но поскольку мы еще лишены возможности его устранить, мы хотим его реформировать. Ведь реформируем же мы капитализм, поскольку мы еще не располагаем властью и п о с к о л ь к у е щ е н е н а с т у п и л о в р е м я свергать его. Так почему же в отношении военного вопроса не исходить из той же практической политики?»[1].

Как видим «левые» предлагают чрезвычайно простой способ «невинность соблюсти и капитал сохранить». Он сводится всего на всего к... преодолеванию грабительского империализма теми же путями, какими «мы хотим преодолеть капитализм». Конкретно это означает то же предательство, та же социал-интервенционистская установка на поддержку «культурных исканий» капитализма, что у правых[2]. Разница между ними

---

[1] G. Sveger. „Pazifistischer Sozialismus"—„Форвертс" 11 I, 1929 г.

[2] Вот образчик этих явно империалистических установок, принадлежащих коллективному перу трех французских социалистов — Реноделя, Спинаса и Жиромского:

„Социализм прямо заинтересован в развитии производительных сил земного шара,—читаем мы в одном партийном документе, — он требует интенсивного использования экономических благ и, таким образом, естественно возникает перед ним вопрос о сношениях, отношениях и соприкосновениях с менее развитыми в хозяйственном отношении областями... Он не может поощрять или принять самоограничивающийся национализм, и потому интервенция хозяйств, достигших уже известной степени развития, есть логическое следствие его принципов". Эта империалистическая директива была написана в 1929 г. и получила официальное одобрение партии.

лишь та, что правые не только говорят, но и делают свое дело открыто, между тем, как «левые», выражаясь словами Ленина, — это «зло прикрытое, дипломатически подкрашенное, засоряющее глаза, ум и совесть рабочих».

Впрочем на этот раз даже обычное прикрытие не помогает. Предательская сущность и массам ясна стала. Уже приходят времена, когда «левые» могли заявлять, что «массы за нами». Им теперь местами оказывают такой же «восторженный» прием, какой имеет место при встречах социал-демократов с рабочими.

«Мы не желаем бороться под черно-красно-золотым знаменем! Наше знамя — красное!» «Наденьте броненосец себе на голову». Такими «приветствиями» эссенские рабочие встречали на собрании в мае текущего года «бонз», как они называют партруководство, не различая при этом ни «правых» ни «левых».

На венском конгрессе «ортодоксия левизны» была представлена английскими «независимыми», польским «Бундом» и польскими «независимыми социалистами». Этот блестящий «триумвират» из сподвижников британского империализма, атамана Петлюры и «пана-начальника» Пилсудского, пошел в «наступление» на аргументы и резолюции де-Брукера.

Англичанин Броквей в напыщенных выражениях призывал отказаться от резолюции, которая по содержанию ничем не отличается от решений буржуазно-пацифистских конгрессов и обычных деклараций правительств. «Левый» Кирквуд говорил о необходимости сформулирования своего отношения к военной опасности «в более революционном духе»; по его мнению, принятие резолюции комиссии вызовет разочарование масс.

Кто-то из «левых» случайно для себя обронил по адресу Лиги наций слова «империалистические позиции», и этого оказалось достаточно для того, чтобы мосье Ренодель выступил с поучительной речью, содержание которой сводилось к тому, что «назвать Лигу наций империалистической — тактическая ошибка, ослабляющая позиции социал-демократии». Задача последней «всемерно укреплять социалистическое влияние в Лиге наций».

Резолюция «левых», составленная в духе выступлений ее защитников, призывает с.-д. партии «производить революционный нажим на свои правительства, дабы воспрепятствовать возникновению войны», а если последняя возникнет, прекратить ее «путем свержения капитализма». Настоящая цена всем этим «заклинаниям» известна. Вряд ли нужно доказывать подлинную сущность этих «революционных» жестов, фальшивых и лицемерных. История послевоенного периода слишком много раз подтверждала лживость всех этих выступлений и резолюций «левых». А об отношении всего конгресса социал-интервенционистов к этим «архиреволюционным» речам можно судить по тому, что проект «левых» был ним провален фактически единогласно.

III

В отличие от первого пункта порядка дня гораздо больший интерес представляет второй, который официально был так сформулирован — «состояние и рабочее движение Германии и Центральной Европы и борьба рабочего класса за демократию». Если отбросить «одеяния» этой необычайно длинной «формулы», то в практическом виде второй вопрос касался преимущественно положения Германии, охватившего ее кризиса и создавшейся угрозы паралича германской промышленности.

Нужно сказать, что как докладчик по второму пункту Отто Бауэр, так и почти весь конгресс подошли к этому вопросу со всей серьезностью глубоко заинтересованных, деловых людей. Страх за судьбы капитализма, стремление оградить Германию от угрозы революции, желание во что бы то ни стало предотвратить страны Центральной Европы от гибели и опасности «большевистской заразы» — все это сквозит буквально во всех выступлениях «лекарей» прогнившей капиталистической системы. В этом отношении второй пункт заслуживает того, чтобы на нем несколько задержаться. Однако вначале сделаем небольшое отступление, тем более, что фармацевтический каталог «лекарей» капитализма насчитывает довольно много «средств неотложной помощи» капитализму.

Как известно, период пребывания у власти правительства Брюнинга был периодом окончательного, неслыханного в истории «самоотречения» германской с.-д. партии. Она сбросила с себя все остатки своих одеяний, она решительно отказалась даже от призрачных намеков на свое прошлое; наконец, германская с.-д. партия открыто стала на путь фашизма и вместе со всей капиталистической олигархией заковала германский пролетариат в цепи жесточайшей эксплоатации и нищеты. И все это — за чече-

вичную похлебку, за право быть «на недалекой дистанции» от власти, за право сидеть у капиталистического стола.

Голос германского революционного пролетариата, голос протеста и возмущения брюнинговскими законами голода и пуль, прозвучал, однако, так сильно, что II Интернационал, наконец, не смог оставаться безгласным. На сцену выступил «сам» председатель Исполкома II Интернационала с «декларацией», но отнюдь не в защиту германского рабочего класса и не с протестом против жесточайшего наступления капиталистов и фашистского правительства на жизненные интересы пролетариата. Он избрал себе тему, более подходящую для адвоката империализма — защиту союза германских социал-фашистов с брюнинговской кликой.

«Когда социал-демократическая фракция в рейхстаге, — писал он 30 мая 1931 г. в «Лейпцигер Фольксцейтунг», — своим воздержанием от голосования отказалась от свержения правительства Брюнинга и когда она голосовала за кредиты для постройки броненосца «Б», наши друзья в Саксонии и кое-где в других местах спрашивали, не вызовет ли это голосование критики со стороны социалистов других стран.. Я думаю, что наступил момент, когда мы на этот счет должны успокоить наших германских товарищей... Мы не только одобряем эту политику... Социалистические партии восторгаются ею».

Браво, господа предатели из германской с.-д. партии! Браво, господа Ренодели и Блюмы, Гендерсоны и Сноудены! Продолжайте в том же духе! — таков смысл этого благословения вождя II Интернационала. После этого разве можно удивляться докладу Зольмана на Лейпцигском с'езде, в котором он в соединении с Тарновым развернул новую теорию предательства, получившую название теории «меньшего зла».

«Была только одна альтернатива, — говорил он: — кабинет Брюнинга или открытая фашистская диктатура. Мы не могли играть на руку политике национал-социалистов и уничтожить парламентаризм... Правительство пыталось своими 25 чрезвычайными законами налогового, социально-политического и хозяйственно-политического характера устранить эту опасность... Что означало бы уничтожение этих новых чрезвычайных законов?.. Мы имели бы финансовую и экономическую катастрофу и политический кризис с невообразимыми последствиями».

Охранники буржуазного правопорядка испугались «невообразимых последствий» и потому решили спасать Брюнинга. Опасаясь того, что приход к власти национал-социалистов, т. е. фашистов, кстати сказать, пользующихся симпатиями самого правительства Брюнинга, приведет к «уничтожению парламентаризма», Зольманы не говорят ни слова о том, что 25 чрезвычайных законов, поддержанные ими, это по существу открытый вызов парламентаризму и выражение наплевательского к нему отношения. Будучи направленными против рабочего класса, против его жизненных интересов, против его подлинного классового представительства—германской компартии, все эти законы были проведены помимо рейхстага, через голову его, но зато при полной поддержке людей из II Интернационала.

«Терпимое отношение к этим важным законам (чрезвычайным законам — **И. Б.**) было для нас политическим испытанием, по сравнению с которым воздержание от голосования при ассигновке пары миллионов на броненосцы является чем-то невинным...» — так заявил Зольман на Лейпцигском с'езде германской с.-д. партии.

Итак, броненосная политика вооруженного капитализма, поддержка и проведение в жизнь драконовских законов голода и нищеты, направленных прежде всего против пролетарских масс, все это — «невинные» тактические шаги, продиктованные интересами сегодняшнего дня. И на этой основе международная социал-демократия намерена и в дальнейшем охранять капиталистическую систему, вести борьбу с фашизмом и отстаивать интересы рабочего класса и заодно принципов демократии.

Не трудно разглядеть во всем этом настоящее лицо современной социал-демократии. Оно — социал-фашистское; на нем отражены все черты, которые присущи носителям режима подлинной фашистской диктатуры.

«Я не завишу от моей партии», — заявил с.-д. министр Зеверинг в бюджетной комиссии рейхстага. «Министр не должен быть рабом своей партии и я никогда не подчинюсь рабски какой-нибудь партии». Эта реплика поистине замечательна, особенно если ее дополнить заявлением того же Зеверинга, сделанным им 3 марта 1929 г. в Эссене о том, что когда «дело дойдет до того, что придется управлять на основании ст. 48 Веймарской конституции, то

я не уклонюсь ни от какой ответственности и отдам себя в распоряжение республики» [1].

Перейдем, однако, к докладу Бауэра. «На последнем контрессе в Брюсселе, — начал свой доклад Бауэр, — II Интернационал констатировал стабилизацию капитализма. Теперь положение коренным образом изменилось, и мировое хозяйство находится на пороге новой фазы тяжелых экономических, социальных и политических потрясений».

Таким образом, Бауэр начал с «самокритики», с признания ошибочности теоретических прогнозов II Интернационала. Правда, он не договорил до конца: ни слова он не сказал о том, что недавние утверждения II Интернационала о незыблемости капиталистического «процветания», о «хозяйственной демократии», о «промышленном мире» и т. д., — все это оказалось чистейшим обманом, усыплением бдительности пролетариата и отвлечением его от непосредственных задач классовой борьбы. Он об этом ничего не говорил, но в этом строго говоря не было надобности, ибо задолго до его собственных признаний Коммунистический Интернационал разоблачил всю подлость, всю лживость всех этих утверждений II Интернационала.

Интересны, однако, не выводы, к которым господ Бауэров привели факты и от чего они уж никак не могут откреститься. Важно то, какими методами, какими способами II Интернационал намерен «разрешить» проблемы, вырастающие на пороге «предстоящих экономических, социальных и политических потрясений». Вот здесь и раскрывается все содержание «самокритики» и самобичевания социал-фашизма.

Основной вывод, который Бауэр делает из создавшегося положения, — это необходимость международными усилиями преодолеть опасность победы фашизма в Германии, угрожающей всем завоеваниям «демократии и культуры». Единственной силой, могущей оказать влияние на дальнейший ход событий, должен быть признан международный капитал. К нему, и только к нему апеллирует господин Бауэр.

Для спасения Германии, — говорил Бауэр, — необходима срочная помощь всего капиталистического мира. Необходимо «широко задуманное об'единенное выступление не для спасения германского капитализма, а для спасения центрально-европейского рабочего класса, центрально-европейской демократии и европейского мира». Но Бауэр не ограничивается одними только общими пожеланиями. Время для общих разговоров прошло; нужно выступать с конкретными предложениями. Германский пролетариат и демократию должны спасать не капиталисты («капитализм... не умеет больше применять своих богатств»), а правительства: Гувер — в Америке, Лаваль, Бриан и Тардье — во Франции — вот кто должен непосредственно выступить в качестве «спасителей» погибающей Германии.

«Мир, — читаем мы в резолюции, предложенной Бауэром и принятой конгрессом, — стоит перед выбором: или широкое международное содействие по спасению хозяйства, демократии и мира, или же катастрофа и гражданская война» [1]. Если же перевести эту немудрую альтернативу на язык будней социал-фашизма, то это означает не больше и не меньше, как призыв к капитализму немедленно об'единиться против опасности революции, против Советского Союза, против поднимающегося движения пролетариата.

Замечательно при этом одно обстоятельство: Бауэр «доказывает», что предлагаемый им путь — единственный, вытекающий из интересов рабочего класса как Германии, так и всех стран Центральной Европы. Ссылаясь на Карла Маркса, фальсифицируя его высказывания по поводу связи освобождения Польши с политической эмансипацией международного рабочего класса, Бауэр нагло заявляет, что пока не созданы еще предпосылки для освобождения германского пролетариата «от всех несправедливостей, которые причинены германскому народу в результате проклятой войны Габсбургов и Гогенцоллернов», а потому необходимо «немного потерпеть» и «пойти на жертвы, продиктованные обстоятельствами».

«II Интернационал, — говорит Бауэр, — предлагает германскому правительству добровольно предоставить максимальную гарантию кре-

[1] Это не были пустые слова, а „деловая декларация", которая спустя 2 месяца, как известно, получила практическое оформление в самом Берлине. Цергибель—один из прямых исполнителей приказов Зеверинга расстрелом первомайской рабочей демонстрации показал, что значит обещание с.-д. министра „ни уклоняться ни от какой ответственности".

[1] Как социал-фашисты повторяют друг друга! Выше мы уже приводим выдержку из речи Зольмана на лейпцигском с'езде германской с.-д. партии. Теперь — Бауэр. Удивительно „дружная семья" предателей.

дита, чтобы обеспечить демократию и мир». Что оне означает не приходится особенно доказывать. II Интернационал выступает в защиту требований франко-американского капитала; он выступает в защиту тех чрезвычайных и новых тягот, которые должны пасть и уже пали на плечи германского пролетариата. Наконец, этот синклит адвокатов международного империализма поднимает свой голос за полное сохранение Версальского грабительного «мирного» договора, т. е. за сохранение договора кабалы и нищеты миллионов трудящихся. Больше того, лидер социал-предательства выступает с категорическим требованием не чинить препятствий германской социал-демократии вступать в союз с капиталистической олигархией, с фашистскими силами Германии, ибо «момент слишком ответственен» и «конгресс не мог бы допустить большего легкомыслия, чем ограничить как раз в нынешней борьбе не на жизнь, а на смерть (с кем? — конечно, с нарастающей революцией. **И. Б.**) гибкость действий германских социал-демократов».

«Мы не хотим гражданской войны с капитализмом», — вот заключительный аккорд этого рафинированного предательства. «Имеются разные пути к социализму, — заявляет Бауэр, — в том числе путь диктатуры и террора, по примеру русской революции, манящей широкие массы... Этот путь — не наш путь. Мы хотим напрячь все силы, чтобы сохранить демократическую почву для борьбы, призывая рабочих принести самые большие жертвы для сохранения демократии» [1].

Итак, Бауэр изложил в самой совершенной форме все то, что накопилось на душе предателей за время, прошедшее с Брюссельского конгресса. Он изложил плотформу, под которой капиталистические публицисты всех стран уже сейчас спешат приложить свою подпись. *Социал-демократия и за сохранение версальской системы, и за участие франко-американского капитала в «спасении» Германии и за большие жертвы рабочего класса и против* СССР. Чего большего можно требовать от этих послушных агитаторов современного фашизма?

«Стокгольмс Дагблад» — орган крейгеровского спичечного синдиката с большим удовольствием цитировал выступление Бауэра и резолюцию, принятую конгрессом по второму пункту порядка дня. «Заслуживает внимания, — писала газета 2 августа, — что эта резолюция как по форме, так и по существу носит преимущественно буржуазный характер. В *этом чувствуется направление развития социал-демократии.* И сейчас вину за кризис возлагают на капиталистическую систему. Но теперь не строят планов свержения этой системы, а заявляют, что помощь Германии могут принести только капиталисты. *Это показывает, в какой степени международная социал-демократия связала свою судьбу с буржуазными демократическими государствами».*

Вряд ли есть необходимость дополнить чем-нибудь этот «блестящий» отзыв органа монополистического капитализма. Выступление Бауэра и принятая резолюция, вызывающие такие восторги буржуазии — прекрасный материал для окончательного разоблачения всех явных и тайных фашистских и интервенционистских комбинаций II Интернационала.

IV

Остановимся в заключение на последнем пункте — «мировой экономический кризис и безработица» — докладчиком по которому выступил Гримм. II Интернационал и в этом вопросе, как и во всех прочих, неизменно стоит на своих «испытанных» позициях.

Следует с самого начала отметить, что по сей день столбцы социал-демократической прессы заполняются теоретическими обоснованиями «незыблемости основ капитализма», продолжающегося торжества «эры организованного капитализма» и расцвета идеи «хозяйственной демократии». *В то время как вся капиталистическая система вступила в решающую стадию своего разложения,* когда она буквально догнивает и каждый день от нее отваливаются огромные глыбы, международная *социал-демократия, как ни в чем не бывало, провоз-*

[1] „Левые“, конечно, демонстрировали свое „принципиальное расхождение с Бауэром и большинством конгресса“. Отвергнуть сотрудничество с буржуазией, „перейти к обостренной классовой борьбе“, использовать экономические предпосылки, созревшие для социализма“, — вот этот набор фраз Мэкстон, Эрлих и др. противопоставили откровенным предательским формулам конгресса. Однако левые не обошлись без обычного „но“, раскрывшего всю фальшь и лицемерие их революционности. Все, что они предлагают, должно укладываться „в рамки парламентской деятельности“. Поистине: „тех же щей только пожиже влей“. Эта мышиная возня в лагере социал-фашизма, конечно, закончилась провалом.

глашает «отсутствие каких-либо причин к паническим размышлениям о катастрофе».

В этом отношении образцом подлой политики замазывания может служить австрийская социал-демократия.

Первого января 1930 г. центральный орган этой партии «Арбейтер Цейтунг» подводил следующим образом итоги 1929 г., года, характерного кризисом, охватившим всю центральную Европу и крепко застучавшегося в массивные двери САСШ: «1928 г. был годом мощного развития организованного капитализма... В 1929 г. началась новая эра капитализма... Новый капитализм преодолевает и устраняет все то, что обусловило анархию капиталистического хозяйства...» и т. д. Словом, для 1930 и последующих годов открываются новые, «исключительно здоровые» перспективы, позволяющие уже сейчас утверждать, что «мировое хозяйство может вестись и в плановом порядке».

В феврале 1931 г. «Арбейтер Цейтунг» несколько меняет тон. Развал мирового хозяйства, видимый даже невооруженным глазом, смущает «австро-марксистов». Флюгер получает некоторое отклонение от «генеральной линии». Газета в номере от 25 февраля 1931 г. пишет: «Капитализм оказался несостоятельным даже в своей самой современной форме... Мировой экономический кризис небывалого размаха и остроты является ответом на титанические попытки капитализма покончить с кризисом при помощи капиталистических средств».

Какой же выход предлагают господа «австро-марксисты»?

Может быть еще большую активизацию растущих революционных сил пролетариата, может быть массовую революционную организацию миллионов безработных на штурм капитализма? О, нет! Только не революцию, которой II Интернационал боится «как греха», только не восстание рабочих масс и не диктатура пролетариата, а... «государственный капитализм».

«Единственно возможным для Германии разрешением вопроса является в настоящее время государственный капитализм»,—к такому выводу приходит «австро-марксист» Отто Лейхтер в своей статье, напечатанной в номере от 19 июля т. г. Революционные события нарастают семимильными шагами. Уже не может итти разговор об одной Германии. В сферу событий вовлекаются каждый день все новые и новые государства, но «стрелочник» Лейхтер спешит отвести бегущий локомотив с основного пути и переводит стрелку на далекий, «спокойный» запасный путь. «Это даже не всеобщий экономический кризис и не предреволюционная буря, — рассуждает Лейхтер, на следующий день после очевидного для всех финансового краха Германии, — а... всего на всего «кризис доверия».

Необходимо решительно изменить свои отношения к интересам отечества и государства— журит и поучает социал-демократия своих капиталистических хозяев, бросившихся наутек с своими золотыми запасами. Необходимо восстановить пошатнувшееся «доверие», в противном случае могут произойти «большие политические осложнения». Что касается рабочего класса, то для него, для 40-миллионной армии безработных и голодных, международная социал-демократия уже приготовила новое средство для утешения и «терпеливого ожидания» лучших времен.. Это средство родилось и получило свое признание на Лейпцигском с'езде германской с.-д. партии в виде т. н. «теории меньшего зла».

Последнее «изобретение» социал-фашизма, строго говоря, не является чем-то новым, неведомым. Оно было применено, правда, в других условиях и в другой области, в той же самой Германии в ноябре 1918 г., когда Эберт и Шейдеман совместно с Максом Баденским, Гинденбургом и генералом Гренером искали «формулу перехода» от Вильгельма к более смягченной форме монархического управления страной. Тогда, как известно, ничего не вышло из этих намерений. Желания социал-монархистов Эберта и Шейдемана оказались опрокинутыми революционным шквалом. События пошли в совершенно ином направлении.

Теперь, как и в 1918 г., социал-демократия вновь осуществляет политику единства интересов, но на этот раз с целью спасения капитализма в целом. Теперь Эберта уже замещают десятки его копий, причем те дела, которые в то время облекались только в практическую оболочку, в наши дни обросли кое-какими теориями, в том числе и «теорией» «меньшего зла», новоявленного «теоретика» партии Тарнова.

Вот что сей жрец «чистого и здорового капитализма» заявил на Лейпцигском с'езде:

«Я не думаю, чтобы это был последний кризис капиталистической системы. Если бы я мог верить, что мы действительно стоим перед осуществлением социалистических идей, это было

прекрасной перспективой. Но этой возможности я не вижу. А другая возможность, если бы этот тезис был верен, заключалась бы в том, что мы должны будем претерпеть еще бесконечное время нищеты, пока, наконец, хозяйство действительно придет в полный развал».

Поразительное олимпийское спокойствие! В то время, когда капиталисты сами признают, что мировое хозяйство находится на краю пропасти, когда буржуазные теоретики буквально вопят о грозящей катастрофе, когда Ллойд Джордж в венгерской газете «Пештер Ллойд» пишет о том, что пациент (капиталистическая система — И. Б.) истекает кровью и каждый момент может скончаться а по мнению лейб-органа британского империализма «Таймс» «начался финансовый паралич центральной Европы» — на социал-демократической Шипке все обстоит благополучно.

Неважно, что сейчас происходит процесс стремительного свертывания производственной деятельности капиталистической системы; неважно также и то, что новые сотни тысяч людей влились в армию безработных, новые сотни тысяч ввергнуты в нищету в результате совершенно дискредитированной экономической политики капитализма. Вместо того, чтобы сделать логический вывод из всей создавшейся обстановки разложения капитализма, вместо того, чтобы взвесить на точные политические весы всю значимость факта нарастания экономических боев во всех отраслях капитализма, захваченных кризисом и наступлением капитала (в Англии число забастовок в горной промышленности составляло в 1930 г. 48% всех экономических боев в этой стране за год, во Франции — 40%. За один январь 1931 г. число потерянных рабочих дней составляло около 75% всех потерянных рабочих дней в течение всего 1930 г. Забастовка металлистов в Германии осенью 1930 г. обошлась в количество рабочих дней, намного превысившее потери за весь год и т. д.), Тарнов заявляет, что:

«все серьезные хозяйственные теоретики согласны в том, что хозяйство и из этого кризиса выйдет и что наступит новый период под'ема... Но мы не можем ограничиться ролью диагностика кризиса. Мы должны чувствовать себя также врачами, которые лечат больного пациента».

Итак, необходимо немедленно «перестроиться» и приступить к организованному «лечению» капитализма. Именно эта, а не другая задача, должна быть выдвинута на первый план; именно она должна быть ведущей во всей экономической политике партий II Интернационала.

Как же венский конгресс поставил вопрос о кризисе и безработице?

Гримм начал свой доклад, примерно в таком же духе, как и Бауэр. «Капитализм переживает небывало глубокий кризис»; «капитализм выявил полную свою неспособность организовать народное хозяйство».. «Каждое средство, которое капиталистический мир применял для оздоровления своего хозяйства, превращалось в проклятие для рабочего класса» — такими фразами патетически изобличал Гримм капитализм, забывая прибавить к этому одну «мелочь», что все эти средства по существу рождались и проводились в жизнь при полном содействии социал-фашизма.

Но что же последовало после всей этой патетической части? Гримм быстро спустился с высот бичевания к успокоительным выводам. «Кризис невозможно ликвидировать надолго без ликвидации капитализма», — таков был заключительный аккорд всей патетики. А посему.... «нужны переходные лозунги», ибо «период серьезных боев обоих классов еще предстоит» и еще много времени пройдет, пока пролетариат сможет сказать решающее слово.

Убожество выводов Гримма дополнила предложенная им и принятая конгрессом резолюция. Набор избитых повторенных на всех конгрессах II Интернационала «предложений», вроде «ратификации Вашингтонской конвенции о 8-часовом рабочем дне», о «публичном контроле за деятельностью трестов и картелей», «об укреплении руководящего влияния социалистического Интернационала в Лиге наций» и все это на фоне цинического восхваления всех добродетелей последней. Когда же «левые» предложили «немного подправить» эту резолюцию Гримма, кое-что вычеркнуть (в частности, голландец Шмидт настаивал на том, чтобы были вычеркнуты хвалебные отзывы о Лиге наций), вставить отдельный пункт о борьбе за свержение капитализма и другие обычные трафаретные «поправки» господ «левых», конгресс почти как один встал на дыбы и категорически отверг все «поправки». Моррис Хилквит, этот почетный сподвижник американских капиталистов, даже подчеркнул, что предложения «левых», аналогичные дополнению к резолюции о необходимости бороться за свер-

жение капитализма, ведут «к реакционной пассивности в отношении повседневных требований рабочего класса».

Так, конгресс «обсудил» и «разрешил» один из самых больных, самых важных вопросов сегодняшнего дня. Ни единым словом конгресс не обмолвился по поводу способов борьбы с ложащимися и уже легшими на плечи рабочего класса тяготами кризиса и безработицы; ни одного слова он не произнес в защиту десятков миллионов безработных, которых нищета и голод буквально душат во всех странах капитализма. Он направил все свое внимание на изыскание способов «лечения» и спасения капитализма от угрожающих ему бед полного крушения. О безработице же, о непосредственных нуждах пролетариата, о путях дальнейшей классовой борьбы конгресс не счел нужным сказать своего слова.

Венская «Рабочая газета», подводя одной из первых итоги конгресса, писала, что последний «был самый серьезный, самый важный из всех конгрессов социалистического интернационала. Ужасный кризис, потрясающий сейчас хозяйство всей Европы, политические опасности, вызываемые этим кризисом, определили серьезнейшее значение работы конгресса». В таком виде представлен конгресс социал-фашистов одним из штабных органов II Интернационала.

А вот как орган французской тяжелой индустрии «Бюллетен котидьен» оценил «работу» конгресса:

«Русские коммунисты, — писал этот орган, — убили свой капитализм. Ни Блюм, ни Брейтшейд не способны на неблагоразумный акт убийства капитализма — их кормильца: им нужен капитализм, достаточно больной, чтобы оправдать смысл их существования, но достаточно хорошо себя чувствующий, чтобы питать социалистические партии и ее клиентуру».

«Бюллетен котидьен» в одном совершенно неправ. Социал-фашизм ратует не за больной, а за здоровый, полнокровный капитализм, так что в этом отношении орган капиталистов проявил определенную недальновидность. В остальном — нам ничего не остается добавить к этому отзыву вчерашних, сегодняшних и завтрашних друзей социал-демократии. Пусть он послужит «оправдательным документом» к той новой странице, которую предатели вписали в свою послевоенную историю.

Испанская революция и церковь

Ил. Эльвин

I

Католическая церковь в Испании представляет собой огромную, могущественную организацию, по сей день сохранившую в условиях испанского феодализма почти нетронутой всю свою силу. В течение веков испанское духовенство было буквально хозяином жизни испанцев; ему были подчинены все стороны жизни—политической, культурной, бытовой; огромная идеологическая сила испанской церкви имеет своей базой колоссальную экономическую мощь. Церковь Испании является прежде всего крупнейшим феодалом. 4900 монастырей, в подавляющем большинстве—женских (из них 170 в одном Мадриде) владеют огромными латифундиями по всей стране, большими участками земель в сотнях городов страны. На этих землях работают в качестве арендаторов или колонов (полукрепостных) испанские крестьяне, платящие оброк, барщину монахам, жиреющим за счет крестьянского рабского труда.

Но церковь не только помещик, — она и крупнейший владелец промышленных предприятий, богатейший акционер железнодорожных пароходных компаний; ей принадлежат железнодорожные копи в Бискайе и в Северном Марокко. Церковь монополизировала водочно-ликерное, шоколадно-конфетное и кружевное производства. Баснословными богатствами владеют в движимом и недвижимом имуществе также многочисленные ордена, которыми так кишит Испания, в первую очередь орден иезуитов, треть которого (7 000 из 20 000) живет в Испании.

Через известный банк Урквихо, фактически контролируемый иезуитами, орден извлекал колоссальные прибыли из нефтяной монополии. Иезуиты создали подлинный универсальный «торговый дом» с центром в Мадриде и филиалами во всей стране, охватывая многочисленные отрасли промышленности в качестве землевладельцев, фабрикантов, ростовщиков. В самом Мадриде иезуитам принадлежат огромные участки земли; говорят, что до половины всей территории испанской столицы принадлежит иезуитам. Они — акционеры общества городского трамвая, общества газо- и электроснабжения. Они контролируют крупнейшую судоходную компанию «Трасмедиттерранео», обслуживающую линию Испания — Марокко. Лицом, фактически представляющим орден иезуитов, является некто Луис Сенен, известный миллионер, председательствующий в десятках компаний, принадлежащих де-факто иезуитам. Иезуиты владеют копями в Астурии, металлургическими заводами в Бильбао и текстильными фабриками в Каталонии, и вряд ли преувеличены почти единодушные утверждения знатоков Испании, что не менее одной трети национального богатства находится в руках церкви. О богатствах церкви можно создать себе некоторое представление по той неустанной стройке соборов, монастырей, которые по числу и по своей грандиозности и пышности не имеют себе сейчас равных в Европе. В округах, населенных беднейшими крестьянами, где десятки и сотни тысяч безработных батраков, возводятся поражающие своим великолепием храмы (см. книгу американца Клейтона Седжвика Купера: Understanding Spain, 1928, стр. 87—99).

Необходимо, однако, сказать, что испанское духовенство тщательно скрывает от посторонних взоров какие бы то ни было сведения о реальных своих богатствах. Пользуясь совершенно неограниченными правами и привилегиями, церковь ни перед кем никакой отчетностью не обязана, монастырские стены толсты и

высоки, а казначеи и управители этих божественных благ умеют держать свои кладовые на запоре и язык за зубами. И надо полагать, что лишь в будущем удастся более или менее точно оценить безбрежные богатства церкви и орденов, накопившиеся и оседавшие путем грабежа былых колоний Испании и родных масс.

Колоссально велик аппарат испанской церкви. При населении в двадцать три миллиона человек в стране имеется свыше 200 000 попов, иначе говоря, на каждые сто граждан приходится одно духовное лицо. Помимо тысяч монастырей в Испании насчитывается до 38 000 соборов, церквей и часовен и при всем этом по бюджету 1929 года на церковь было ассигновано 63 миллиона пезет.

Отношения между церковью и государством в течение последних 80 лет определялись специальным соглашением (конкордатом), заключенным в 1851 году королевой Изабеллой II, бабушкой последнего Альфонса, и папой Пием IX. Этот конкордат не отменен и поныне; на него ссылаются в своих требованиях испанские церковники и по сей день. Но каковы бы ни были его дальнейшие судьбы (конечно, остаться в силе в полном об'еме он не сможет), основные параграфы этого документа, строго регулировавшего жизнь большой страны на протяжении почти столетия, а по духу своему, существовавшему и задолго до 1851 года, — представляют исключительный интерес.

Вот некоторые параграфы этого документа:

§ 1. Католическая апостолическая церковь — в противовес любой другой — есть и будет впредь единственной религией испанской нации; она будет сохранена на вечные времена во всех странах, подвластных его католическому величеству, со всеми правами и прерогативами, которыми она (религия) должна пользоваться в соответствии с законом бога и предписаниями священных канонов.

§ 2. Из предыдущего вытекает, что преподавание в университетах, в семинариях, общественных и частных школах любого класса должно во всем соответствовать доктрине католической религии и, памятуя об этом, не может быть создано никакое препятствие для епископов и окружных прелатов, которым доверено дело охранения чистоты доктрины и веры, и обычаев, и религиозного воспитания детей, — при исполнении ими их обязанностей, в том числе и в общественных школах.

Остальные пункты выдержаны в этом же духе.

Что это значит в переводе на язык экономических отношений, мы уже частично видели. Покажем еще вкратце, что это значит в области народного просвещения.

Испанская школа всех ступеней находится фактически, а до последних декретов находилась и официально, целиком в руках церкви. Обязательно было не только преподавание религии, но насквозь религиозный характер всего обучения на всех его ступенях. Основа основ всей грамоты — катехизис, молитвенник. Десятками тысяч исчисляются попы, ведающие насаждением образования среди испанских детей. Результаты налицо.

По утверждениям уже упомянутого Клейтона, в Испании, где свыше 30 000 церквей, нехватает 50 000 низших школ. Попы считают народное образование абсолютно ненужной роскошью. «Народное образование Испании в настоящую минуту ни на один градус не выше того уровня, на котором оно находилось 100 лет назад», пишет Клейтон. По проценту неграмотных Испании принадлежит первое место в Европе и, вероятно, одно из первых во всем мире, включая колониальные страны. Газета «Каталанский курьер» приводила несколько лет назад цифры по отдельным округам Испании:

В Кордове — 62%, в Сьюдад-Реале — 62,28%, в Мурсии — 65,10%, в Альбасете — 65,73%, в Гренаде — 65.5%, в Малаге — 70%, в Хаэне — 71%, а в одном из округов последней области — округе Орсера этот процент повышается до 88,5% всего числа населения.

Неудивительно, что, как заявляет английский исследователь Дикин (Deakin), он не раз встречал офицеров в довольно высоких рангах — майора и выше, — которые подписывали приказы... крестиками, либо передоверяли такое сложное и трудное занятие, как выведение своей подписи, каким-либо приближенным лицам. Клейтон рассказывает, что в целом ряде отелей, где он побывал, служители не могли назвать года своего рождения; они отвечали так: «За два года до большого землетрясения», «в год большого пожара в нашем городе» и т. д. Одна мадридская газета недавно заявила прямо: «мы не знаем до сих пор, хотя бы приблизительно, количество школ в Испании, количество классов, число учеников, посещаемость и т. п. Мы не знаем даже, сколько у нас школьных зданий».

Церкви подчинена также высшая школа. Богословие занимает одно из центральных мест даже в факультетах естествознания, ме-

дицины, техники. Помимо того существуют и специальные католические «вузы».

40 тысяч церквей и отсутствие школ, 5 тысяч монастырей и почти повальная неграмотность населения — такова одна из статей баланса хозяйничанья церкви феодальной Испании, таково одно из самых ярких проявлений загнивания этой страны.

Значительную активность проявила испанская церковь также в области социальной политики. Если до периода испанской революции 1869—1873 года церковь ограничилась только эксплоатацией и культивированием невежества, то затем, особенно по мере роста социалистической партии и большого успеха социалистических и анархо-синдикалистских идей среди рабочих и батраков Испании (как известно наибольшим успехом идеи Бакунина пользовались наряду с швейцарскими часовщиками среди ремесленного пролетариата Испании того времени), церковь тоже начинает создавать свои поповские рабочие контрорганизации. Такие союзы возникли в начале 90-х годов прошлого столетия, отчасти в ответ на энциклику Льва XIII «Рерум новарум» сперва в наиболее промышленных провинциях Каталонии и Бискайе, но вскоре такие же союзы были учреждены в Мадриде, в Хихоне и ряде других мест.

Особенное внимание профессиональной работе среди рабочих церковники стали уделять после революционной вспышки в Каталонии в 1909 году, когда по прямому требованию иезуитов был расстрелян Франсиско Феррер, вождь движения за светскую школу. Католическое профдвижение стало четко оформляться и «синдикатос католикос» достигли значительного развития. Их вдохновитель и верховный шеф тогдашний кардинал архиепископ Антонио Монедеро сумел создать в лице этих организаций очень серьезного конкурента синдикалистскому движению. Особенным успехом пользовались эти союзы среди сельскохозяйственного пролетариата (в Испании до 3 миллионов батраков, положение которых ужасно), которому союзы обещали всяческие блага. Католические профсоюзы до последнего времени насчитывали до 100 000 рабочих и батраков и были организацией очень разветвленной и сильной благодаря наличию огромной армии агентов на местах в лице местного низшего клира, — в Испании нет того населенного местечка, которое не имело бы своего собственного попа.

В 1914 году наряду с католическими профсоюзами возникла новая организация — Национальная католическая аграрная федерация, — поставившая своей задачей способствовать аграрной реформе. НКАФ проводила эти реформы довольно своеобразно: она, например, ввела страхование от огня построек, людей, скота, инвентаря, посевов, на чем заработала миллионы пезет. Она занялась перепродажей сельскохозяйственных машин, удобрений и, конечно, банковскими операциями, делая на всем этом, как выражается все тот же Клейтон, «хороший бизнесс». Особенно любопытны ее операции с землей. Скупая подешевле у разорившихся помещиков или у монастырей большие участки земель, федерация дробила их на множество мелких и мельчайших участков в несколько га. Эти участки она продавала крестьянам «в рассрочку» обычно по 300 долларов за надел. Доходы от этих операций были огромны, поскольку «благодетельствуемый» фактически сразу попадал в кабалу к церковникам, вынужденный продавать через них свой хлеб и через них же закупать свой инвентарь; а так как по контракту эти земли покупатель был не вправе продавать кому бы то ни было помимо НКАФ, то большая часть земель оказывалась снова в руках федерации. Финансовое могущество этой федерации очень велико. Оно разбито на 58 областных федераций и числит 5 000 отделений. Все эти операции производились в порядке «земельной реформы», т. е. при полной поддержке государства, и давали благочестивым отцам изрядные дивиденды за счет феодального грабежа широчайших крестьянских масс.

Картина будет неполной, если не упомянуть и целой сети культурнических и политических организаций, учрежденных церковью для возможно более полного охвата масс. Имеются бесчисленные поповские клубы, юношеские и детские организации мужской и женской молодежи, католические спорторганизации и т. д.

Что касается участия в самом политическом управлении государством, то и здесь церковь играла огромную роль, присутствуя в законодательных учреждениях, при Примо де Ривера и в так называемой директории. Сам король Альфонс, титуловавшийся в официальных бумагах «Его наикатолическое величество», — питал к церкви исключительно нежные чувства и пользовался взаимностью. Альфонс Бурбон числился в ряду самых правоверных католиков. Известно же, что еще в 1923 году, нахо-

дясь в Риме, на аудиенции у папы, он воскликнул, что готов возглавить священный крестовый поход против неверных (марокканцев) и безбожников, за что папа Пий XI благословил его и, вероятно, отпустил все его прошлые, настоящие и будущие грехи, а их накопилось изрядное количество. Альфонс бережно придерживался буквы и духа конкордата и отпускал бесчисленные миллионы на католическую церковь, — в этих миллионах и он имел долю: установлено, что состояние испанского дома Бурбонов составляет около 100 миллионов незет, не считая драгоценностей и вкладов короля в иностранных банках, а их, по словам «Манчестер Гардиан», имеется в одной Англии 3 миллиона фунтов стерлингов (об этом много занимательного можно узнать в книге Висенте Бласко Ибаньеса «Разоблаченный Альфонс»).

Происхождение этих миллионов, впрочем, не совсем «благочестивое». Альфонс зарабатывал на поставках для марокканской войны, будучи тем самым заинтересованным в продолжении войны, стоившей стране ежедневно 5 миллионов песет и унесшей четверть испанской армии — 25 тысяч жизней. Король Альфонс получал акции от автомобильной фирмы Испано-Суиза и целого ряда других капиталистических компаний, хотя никакого участия в капиталовложениях фирмы не имел, это была элементарная взятка, показывающая, по словам т. Радека, что на испанском троне сидел Альфонс не только по имени... Но это между прочим. Для христолюбивых качеств Альфонса характерен, между прочим, королевский декрет, опубликованный в официальном правительственном вестнике «Gaceta» 14 марта 1924 года о создании так называемого «Хунта экклезиастика» («церковная хунта» — союз). Этим королевским декретом учреждалась хунта, возглавляемая самим королем, как патрона всех церквей Испании для выявления или выдвижения лиц, которые должны занимать вакантные должности в церковных пребендас и бенефисиос (приходах). Еще в феврале 1931 года, прежде чем обещать созыв кортесов, Альфонс, посетив эскуриал, усыпальницу королей Испании, «чтобы испросить совета у дорогой покойной матери на ее могиле», как гласило официальное коммюнике, — чтобы посоветоваться с отцами иезуитами, как говорили люди знающие. Одним словом, христианнейший дегенерат король, спекулянт и развратник, с одной стороны, церковь — очаг мракобесия и мерзости, величайший эксплоататор испанских масс — с другой, — стоили друг друга.

II

Переворот 12 апреля заставил, естественно, церковь насторожиться. Она понимала, что всякий переворот, какого характера бы он ни был, должен волей-неволей ударить и по ней. Головка испанской церкви с величайшей неприязнью и враждебностью наблюдала резкий под'ем рабочего движения на протяжении 1930 года, который не сулил им ничего хорошего, и деятельно помогала бороться с ним.

По мере приближения дня выборов в муниципалитете церковь проявляла все большую нервозность и активность. Верховные церковные сановники открыто призывали голосовать за монархистов, за христианнейшего и благочестивейшего короля Альфонса, пугая воображение городской и сельской буржуазии перспективой захвата власти коммунистами в случае победы республиканцев. В самый канун муниципальных выборов католическо-иезуитский орган Испании при Примо де Ривера, служивший фактически официозом «Эль Дебате», сообщая о том, что «изо дня в день в разных пунктах страны появляется все большее количество ораторов-коммунистов, и изо дня в день рабочие организации все большими массами переходят от социализма к коммунизму, что образ мыслей большинства левой молодежи — это чисто коммунистический образ мыслей», вещает: «Если в Испании восторжествует республика, то от коммунизма ее будет отделять короткая дистанция».

Несмотря на усилия церковно-монархического блока, широчайшие массы испанского народа «самого христианского и самого монархического» голосовали против монархии за республику.

Итак, король Альфонс «счел за благо» навострить лыжи и покинуть «нашу дорогую родину, любовь которой мы потеряли». Бежал, кстати сказать, при ближайшем участии и покровительстве «революционного правительства».

Перед церковью возник серьезный вопрос: как быть? Итти ли против республики с монархией, об'явив войну новому правительству, или немедленно признать республику?

Церковь в лице высшего духовенства, после некоторых, очень непродолжительных колебаний, высказалась за второе, за республику. Почему?

Во-первых, потому, что увидала, что в лице нового правительства имеет дело с друзьями, а не с врагами.

Во-вторых, по той причине, что снизу на высший клир давило низшее духовенство, которое, в противоположность высшему, шло «вместе с массами» против монархии и за республику уже задолго до переворота.

В-третьих, потому, что шансы монархии на реставрацию с каждой минутой падали, а ненависть к Альфонсу оказалась значительно более острой, нежели это казалось прежде.

Наконец, — и это главное — и потому, что церковь решила, что если нельзя спасти монархию, то можно и должно спасать, по крайней мере, капиталистический строй. Церковь понимала, что именно на этой базе борьбы с красной опасностью она быстро найдет общий язык с новыми управителями Испании. И она не обманулась.

В самом деле.

Кто они — прежде всего — эти новые правители республиканской Испании? Вот глава правительства А л к а л а С а м о р а. Он отнюдь не новичок в политике. Убеленный сединами, Самора еще до недавнего времени был определенным монархистом, в свое время, до директории Примо де Риверы, участвовал даже в разных министерствах. Лишь года два назад Самора об'явил себя «умеренным республиканцем». Алкала Самора известен как п р а в о в е р н ы й к а т о л и к, никогда не пропускающий мессы, хотя бы это вызывалось экстреннейшей политической необходимостью. Вот изумительный пример, сообщаемый швейцарской буржуазной газетой «Журналь де Женев» (14 мая):

В декабре прошлого года, в самый канун об'явления всеобщего восстания, «вождь революционеров» запоздал на несколько часов на одно чрезвычайно важное собрание заговорщиков, вызвав тем самым замешательство в их рядах. Оказалось — Самора и не подумал этого скрывать — он был в это время на богослужении в родной церкви. Не прерывать же в самом деле мессу, хотя бы на карту ставилась революция! На католическом богослужении вождь получал боевую зарядку для борьбы с клерикально-монархическим блоком...

Еще в феврале французская газета «Эксельсиор» приводила програмку Саморы и др., где говорится о создании «республики в согласии с армией, духовенством и капиталом».

Наряду с Саморой в составе временного правительства имеется и целый ряд других не менее благочестивых католиков, вроде минпнудела Мигуэля Маура, тоже недавнего монархиста, военного министра Асанья и прочей камарильи. Есть еще в правительстве несколько радикалов и социалистов, но за самыми редчайшими исключениями, никак нельзя их назвать непримиримыми противниками церкви. Что же касается испанских социалистов, то о них мы еще поговорим особо.

Далее, как было отмечено выше, на высший клир давило снизу низшее духовенство, среди которого республиканские идеи были чрезвычайно популярны. Дело в том, что низшее духовенство, тесно связанное с крестьянством и в основном существующее за его счет, не избежало ударов свирепого экономического кризиса: чудовищное обнищание крестьянства больно хлестнуло и по младшим попам. Эти попики видели, однако, что их сановные владыки, епископы и прелаты, равно как смиренные «отцы пустынники и сестры непорочны» в монастырях ничуть не отощали от народных бедствий, и доходы их нисколько не сократились. Это настраивало низший клир оппозиционно по отношению к верхам и усиливало доброжелательное отношение к республике, которая, как они надеялись, обогатив крестьянство, тем самым обогатит и их, этих самых попиков... Дошло до того, что в ряде массовых выступлений на селе на протяжении последних месяцев монархии сельские попы участвовали активно на стороне крестьян и батраков, за республику. Это давление снизу на высшее духовенство тоже сыграло свою роль в быстром восстановлении сердечного контакта между церковью и новым режимом.

Но бесспорно: политика испанской церкви в основном продиктована страхом перед революцией. Очень хорошо выразила это та же «Журналь де Женев»:

«Это сближение (церкви и республиканцев) имеет глубокий смысл: с т р а х п е р е д с о ц и а л ь н о й р е в о л ю ц и е й. Все эти люди старого режима решили, что следует поддерживать правительство, дабы дать возможность преодолеть разрушительные силы, и что раз монархия пала, следует по меньшей мере спасать порядок и общество. Страх перед Россией был для этих людей тем, что толкает к мудрым действиям».

Самый переворот повидимому не застал врасплох очень многих из князей церкви, особенно же Ватикан, который встретил испанские события, как об этом можно судить по центральному органу «Оссерваторе Романо», весьма сдержанно и спокойно. Более того: существовало даже, очевидно, какое-то специальное предварительное соглашение между

республиканским и папским нунцием в Мадриде — Тедескини. На это именно соглашение и намекает осведомленная итальянская пресса, в частности газета «Пополо д'Италиа» (13/V), когда говорит, что поджоги монастырей Ватикан рассматривает как прямое нарушение торжественного обещания, данного Саморой и другими республиканцами (очевидно Ватикану еще до переворота).

Ни о каком серьезном ущемлении гигантских прав и привилегий церкви правительственные партии и не думали. Правда, в иностранной печати (и даже советской) стали появляться сведения о том, что правительство Саморы замышляет чуть ли не полный разрыв с церковью. Это оказалось, как и следовало ожидать и как мы увидим в дальнейшем, невероятным преувеличением. Единственный серьезный законопроект, выработанный министром просвещения Марселино Санхуаном — это закон об отмене обязательности религиозного преподавания в начальных школах. Но он обставлен целым рядом таких оговорок и ограничений, которые превращают его по существу в пустую декларацию.

Зато, с другой стороны, правительство не чинило никаких препятствий тем непримиримым группам церковников, которые вели ярую монархическую агитацию среди масс верующих как со страниц своих многочисленных газет (главные из них «АВС» и «Эль Дебате»), так и с амвонов церквей, направленную против республики и восхвалявшей доблести короля Альфонса.

Правительственные декларации по аграрному и другим вопросам не содержали никаких указаний на предстоящее, по крайней мере, до кортесов (учредительного собрания) из'ятия церковных владений, или хотя бы прекращения отпуска сумм, предусмотренных конкордатом.

Тогда слово взяли массы, взяли, не испросив на то разрешения сеньоров Самора, Маура или Ларго Кавальеро.

Волна народного гнева против тирании церкви и предательски соглашательского поведения политических вождей по отношению к попам, вылилась в дни 10—12 мая и в следующие дни в форме массовых поджогов монастырей, церквей, редакций поповских газет, иезуитских школ и т. д.: пламенная ненависть переключалась в огненные языки, лизавшие стены поповских крепостей.

Были ли выступления 10—15 мая чем-то неожиданным, внезапным, случайным, были ли они психозом, как в этом хотят уверить буржуазные испанские и заграничные источники, или быть может эти выступления явились взрывом длительно и многими годами накоплявшегося негодования и ненависти? Как это ни странно, но ответ на этот вопрос, — подтверждающий именно второе, — дает орган французских клерикалов, уже цитированный нами «Круа». Он пишет, что уже с самых первых дней революции, т. е. во второй половине апреля и в начале мая в различных пунктах страны стали назревать отдельные антицерковные инциденты, сперва легкие, но быстро разраставшиеся. «Круа» повествует, например, о таких фактах:

«Спекулируя на событиях, народный сброд (canailles — канальи) в одном месте уничтожил святую статую, в другом — громил дом священника, затем даже муниципалитеты — это уже посерьезнее. В разных пунктах притеснял монахинь, служащих в госпиталях, либо изгонял братьев-учителей. Сперва это были разрозненные и довольно редкие факты; но за последние недели они стали грозно учащаться» [1].

Таким образом, майские события, если и были провоцированы наглыми выходками отдельных представителей высшего духовенства (в частности посланием примаса-кардинала толедского Сегура и разоблачением участия не-

---

[1] Новейшая история Испании знает ряд очень резких антиклерикальных выступлений, которые почему-то совершенно не учитываются, когда говорят о влиянии католицизма в массах. Напомним хотя бы такие события, как яркое антицерковное движение во время наполеоновских войн, когда революционные провинциальные хунты захватывали усадьбы и сжигали монастыри и церкви в десятках мест, как знаменитые поджоги монастырей 17 июля 1834 г., когда в Мадриде было сожжено 8 монастырей и убито 80 священников (эти события известны под именем „монашеской вечери"), как поджог и разгром монастырей в Барселоне в 1909 г. во время знаменитой революционной вспышки, при которой был расстрелян Феррер, вождь движения за свободную школу. Пискорский в своей „Истории Испании и Португалии", 1909 г. стр.184 констатирует значительный рост антиклерикального движения в конце 19 века.

Наконец, заслуживают внимания и те разрозненные антицерковные выступления, которые имели место еще в декабре 1930 г., в связи с военным восстанием в Хаке и на Мадридском аэродроме „Куатро внентос" (о них сообщает, например „Манчестер Гардиан" в № от 18 декабря) в Кальоза Сегура, в Хихоне и т. д.

которых высших сановников церкви в широко разветвленном монархическом заговоре), то тем не менее — и это крайне важно — они подготовлены серьезным антирелигиозным движением в стране в самых широких массах трудящихся.

От слов массы перешли к прямому действию.

Баланс актов народного движения мести против ненавистного эксплоататора — церкви, примерно, таков (в далеко неполном виде).

В Мадриде сожжено 10 крупных иезуитских монастырей и церквей. На кострах сжигались монашеские сутаны, хоругви и т. д. В числе других сожжены: иезуитский «университет искусств и ремесел», монастырь иезуитов на улице Флор, считавшийся одним из наиболее реакционных центров испанской аристократии, и главная резиденция ордена иезуитов в окрестностях Мадрида, представляющая собой огромный комплекс зданий. Этот монастырь вызвал особенную злобу мадридского населения тем, что незадолго до падения монархии заломил сумасшедшую цену за ничтожный клочок своих строений в самом городе, необходимый для расширения улицы; муниципалитет эти деньги, между прочим, уплатил. Монахи бежали из монастыря, переодетые в штатские костюмы. К ночи монахи бежали из всех мадридских монастырей. Впрочем, благодаря помощи правительства большинство монастырей успело заблаговременно вывезти наиболее ценное имущество. Что касается иезуитов, то установлено, что их архивы были еще до переворота перевезены в Рим, в Ватикан. Иезуиты оказались дальновидными.

В Аликанте были разгромлены общежития иезуитов, 7 монастырей, 2 типографии реакционных газет и епископская резиденция. В Кадиксе подожжены 4 монастыря. В Малаге демонстрантами ночью сожжены 2 монастыря и епископский дворец. В Гранаде была взорвана честь монастыря кармелитов и сделана попытка поджечь монастырь ордена маристов, а также помещение редакции «Газеты Юга» (Gaceta del sud).

В Бургосе подожжен киоск и контора католической газеты «Ла Вердад». Общежитие францисканцев и монастырь Изабеллы сожжены до тла.

В Валенсии подожжен ряд монастырей, где обнаружено много огнестрельного оружия, сожжен католический семинарий.

В Алжесирасе, Сан Роке, Ла Лиена массы нападали на церкви, «кощунственно надругались над алтарями, разбивали по улицам статуи святых и пели богохульные песни» (сообщение «Эль Дебате»).

Это был изумительный по силе и блеску взрыв вполне заслуженной и законной мести по адресу ярого и злейшего врага со стороны тех масс, о которых существовало чрезвычайно широко распространенное убеждение, как о массах глубочайшим образом верующих людей. Исторические события внесли серьезный корректив в это утверждение.

Ну, а правительство? Как же реагировало оно? И повлияли ли все эти события, нарушавшие как будто колею мирного сердечного сотрудничества буржуазного республиканского правительства с церковью на их взаимоотношения, а если повлияли, то в какую сторону.

Во время поджогов правительство не решалось воспротивиться им силой. Гнев был слишком велик, и если благочестивый католик Самора переживал «личную трагедию», взирая из окон своего дворца на клубы дыма (как об этом говорит газета «Берлинер Тагеблатт»), то по словам той же газеты, Самора «слишком умный государственный человек, чтобы не понимать, что вмешательство силой подольет масло в огонь», т. е. толкнет на еще более грандиозные и более опасные выступления. В эти дни все усилия правительства были направлены на то, чтобы по возможности локализовать движение и спасать монахов. Правительство проявило при этом трогательную заботливость. Оно снабжало монахов и монахинь штатским платьем, выводило их задними ходами, предоставило всем желающим попам возможность без всяких препятствий улепетывать за границу — через Хандайю в Пиренеях на севере в гостеприимную по отношению к беглым монахам Францию, или на юг в Танжер и Гибралтар. Впрочем, в некоторых пунктах знаменитая «Гардиа Сивиль» (Гражданская гвардия, опричники монархии, которых новый режим даже не тронул и о которых министр Маура заявил, что они будут так же преданы республике, как были верны монархии) стреляла в толпу: в Бургосе, Кадиксе и Севилье были даже убитые. Но это была лишь прелюдия.

Едва наступило замирение, началась дикая погоня за революционными элементами, за зачинщиками. Были арестованы тысячи лиц, обвиняемых в поджогах, возбуждено огромное количество уголовных дел. Оргия преследований не затихает собственно и поныне; от арестов за поджоги правительству нетрудно было

перейти к общему преследованию революционных рабочих, особенно в тех пунктах страны, где высоко поднялась волна забастовочного движения. Газеты компартии «Мундо Обреро» и «Эральдо Обреро» («Рабочий мир» в Мадриде и «Рабочий вестник» в Барселоне) запрещены. Десятки виднейших вождей компартии и революционного профдвижения брошены свободной республикой в тюрьмы, сооруженные Примо де Ривера или Беренгером.

Эти преследования приобретают особую красочность на фоне того исключительно галантного, на редкость предупредительного отношения, которое проявляют господа из центрального правительства по отношению к попам, высшим и низшим, провоцировавшим все эти выступления. Число арестованных попов измеряется буквально единицами. В ряде мест монастыри после майских событий получили от правительства оружие для самообороны от масс. Поповские газеты, закрытые было по настойчивому требованию масс, сжигавших их газетные киоски, разрушавших их редакции, были очень скоро разрешены к регулярному выходу в свет. Таким образом, все сведения о каких-то репрессиях по отношению к церкви или даже значительном ущемлении ее прав оказались либо выдумкой газетчиков, либо невероятно преувеличенными слухами. Сами господа министры буржуазии, включая социалистов, выступали с формальными опровержениями.

Алкала Самора в беседе с корреспондентами газеты английской рабочей партии «Дейли Геральд», заявил, что «Испания не имеет ни малейшего намерения менять характер своих отношений с Ватиканом». В другой раз он же заявил, что переговоры с папским нунцием в Мадриде по поводу «прискорбных майских событий» ведутся в абсолютно сердечной атмосфере взаимного доверия и понимания». А когда пошли усиленные слухи о том, что правительство готовит изгнание иезуитов из страны, то министр внутренних дел Мигуэль Маура заявил категорически:

— Решительно никто не понуждает отцов иезуитов покидать страну и точно так же никто не мешает им снова занимать покинутые ими монастыри.

И те действительно водворились обратно.

Между тем массы выдвигали совершенно иные требования. В целом ряде пунктов массы потребовали немедленной конфискации покинутых церковных зданий и передачи их муниципалитетам для общественно полезных функций. Так, жители Коруньи направили центральному правительству петицию о том, чтобы монастырь иезуитов отдать под библиотеку, монастырь доминиканцев — под биржу труда, остальные церковные и монастырские здания — под народные дома, ремесленные и художественные школы, приюты, госпитали и т. д. Муниципалитет города Мелильи потребовал от правительства разрешения изгнать все религиозные общины, особенно иезуитов.

Заявление Мауры — достаточно красноречивый ответ на эти требования масс.

Таким образом, господствующая буржуазия, если не считать нескольких мелких противо-церковных мероприятий, и не помышляет о том, чтобы рвать с церковью, чтобы отказаться от ее помощи в борьбе с общим врагом — революцией. Правительство приняло к сведению слова одного из архиепископов, в своем пастырском послании напоминавшего «властителям» уроки... баварской советской республики в 1919 году, когда «христианская Бавария была спасена об'единенными силами благочестивых мирян и духовенства».

В свою очередь церковь тоже решила не чинить затруднений правительству в связи с событиями 10—12 мая; она с замечательным единодушием набросилась всей сворой своих газет, всей бандой своих проповедников на коммунистов, которые де являются единственными зачинщиками эксцессов, стоивших церкви таких огромных убытков.

Во всяком случае истекшее с тех пор время показало, что не только не может быть речи ни о каком серьезном конфликте между церковью и буржуазией, стоящей у власти, но наоборот во время кампании выборов в учредительное собрание республиканцы искали возможно более тесного контакта с клиром, дабы использовать его в качестве орудия пропаганды и агитации, причем в своих «реформах» — аграрной, по трудовому законодательству и т. д. правительство довольно бережно ограждает интерес церковных привилегий и имущественные права церкви. Декрет об'являет свободу отправления верующими некатолического вероисповедания своих культов, но в Испании, где всего около 30.000 христиан некатоликов (евангелистов и т. д.) и около 6 000 евреев — это чистая декларация, тем более, что по существу он не ущемляет прав самого католицизма.

С этой стороны, — со стороны буржуазного правительства, испанской церкви не угрожает никакая опасность. Учредительное собра-

ние тоже не сулит ничего страшного, кроме, быть может, шумных деклараций и жалких антицерковных мероприятий.

III

Ну, а господа социалисты, чей председатель Бестейро избран председателем испанской учредилки? Какую позицию усвоили они по отношению к духовенству, церковному землевладению и религии вообще?

Очевидно, природа социал-фашизма в основном едина. Испанские социалисты исключения не составляют. Если социал-демократы Германии помогают прусским попам заключать сперва конкордат с папой, а затем и с евангелической церковью, если австро-марксисты культивируют «религиозный социализм», если чехо-словацкие демократы вотируют кредиты церкви, если английские социалисты щеголяют своими связями с церковью и религиозностью своих вождей, если так, — то почему бы испанским социалистам быть белыми воронами в стае и нарушать общую линию II Интернационала, линию отказа от борьбы с клерикализмом, линию соглашения с церковью?

И в самом деле, испанские социалисты, которых так же пугают перспективы социальной революции, как и их кормильцев-капиталистов, подобны своим собратьям по интернационалу. Они выступают против церкви лишь «постольку, поскольку» церковь выступает слишком агрессивно, строя заговор против республики, поскольку, наконец, их, социалистов, толкает на антицерковные выступления стихия масс.

Все это сказалось с полной отчетливостью как на поведении представителей социалистической партии в правительстве (министр юстиции Фернандо де Лос Риос, министр труда Ларго Кавальеро и министр финансов Индалесио Приэто) и в социалистической печати, в частности, центрального органа партии «Эль Сосиалиста».

Известно, что из всех так называемых оппозиционных партий в эпоху диктатуры Примо де Ривера, по существу одна только социалистическая партия существовала открыто и легально, имела легальную печать и откровенно поддерживала фашистскую диктатуру. Она была буквально оплотом фашистского режима, помогая Примо де Ривера проводить социальную политику, направленную на экономическое и политическое удушение испанского пролетариата. Именно при ближайшем участии социалистов, в особенности их вождей — самого Бестейро, затем Андреса Саборита, генерального секретаря социалистической партии, и «левого» Ларго Кавальеро, генерального секретаря Всеобщего союза рабочих, нынешнего министра труда. — именно при их участии и содействии Примо де Ривера создал так называемые «паритетные комиссии», нечто вроде фашистских корпораций, куда входили представители и рабочих, и капиталистов, и представителей «нейтрального» правительства в качестве арбитра для осуществления классового сотрудничества: социалисты оказали режиму Примо де Ривера огромные услуги: недаром Примо де Ривера был так признателен социалистам, которых именовал неизменно «мои социалисты».

Но связь с диктатурой уже сама по себе неминуемо предполагала безусловно лойяльное отношение к церкви. Так оно и было в действительности. Газеты и ораторы социалистической партии поругивали попов с изысканной вежливостью. Они не отказались от этой тактики и позже, при Беренгере и Аснаре. Мы просмотрели за полтора года орган испанских социал-фашистов «Эль Сосиалиста» и не нашли там почти что ни одной статьи сколько-нибудь резко и решительно — не то что революционно, куда там! — ставившей вопрос об ограничении чудовищных прав и прерогатив церкви и борьбе с религией. Когда «Эль Сосиалиста», набравшись как-то храбрости, уже решает лягнуть поповщину, то он пишет так:

«Духовенство нашего народа составляет без сомнения большое препятствие в развитии испанской жизни, но среди духовенства имеются и весьма почетные исключения («Эль Сосиалиста» от 7 февраля 1931 г.). Учтивость отменная.

Незадолго до того, в номере от 29 января 1931 года «Эль Сосиалиста» помещает обширную передовую под заглавием: «Марксизм и церковь». Но не ждите хотя бы намеков марксистской оценки и разоблачения на страницах этой газеты, именующей себя (о, верх нахальства!) марксистской, самого лютого из эксплоататоров народных масс,—статья ставит своей задачей укорять церковников за нарушение и забвение принципов истинного христианства, у которого де очень много общего с марксизмом. Мы находим в передовой ссылки на отцов церкви, причем автор проявляет немалую богословскую эрудицию. Мы читаем о том, что «отцы церкви не уставали бросать резкие обвинительные речи против частной собственности. Некоторые из них еще до Прудона называли богатых ворами». Далее идут ученые ссылки

социал-богословов из Иоанна Златоуста, блаженного Августина, Климента Александрийского, Тертуллиана, Епифания, Иеронима. Мало того: все эти апостолы и отцы церкви, оказывается, не только проповедывали коммунизм, но и сами жили в полном коммунизме. «Эль Сосиалиста» приводит в свидетели не кого иного, как самого.. папу Иннокентия III, который сказал «не иметь собственности, но все иметь общим» (в руках церкви разумеется). Дальше следуют уже самые настоящие перлы. Передовик центральной социалистической газеты бросает гневные укоры по адресу церковников «за забвение христовых истин». «Христианство настолько выродилось, что христос никогда не признал бы его сейчас своим. Вот почему неудивительно, что церковники сейчас ненавидят коллективизм. И как бы они презирали сейчас христа, если бы он явился».

Итак, в полосу острейшего экономического кризиса, полтора месяца после разгрома республиканского восстания в Хаке, в полосу нарастания революционного кризиса «господа социалистические литераторы» находят достаточно досуга и, повидимому, нужды, чтобы заниматься восстановлением чистого христианства и «доказывать», что чистое христианство и марксизм—вещи, не исключающие друг друга.

В дальнейшем уже в своей «революционной» практике социал-попы проводят ту же линию примирения с церковью.

Как известно, временное правительство издало вскоре после майских событий и под безусловным их влиянием закон о преподавании, который предусматривает необязательность религиозного преподавания в школе для детей в случае нежелания родителей детей, но обязательность в случае их желания. Декрет этот был разработан одним из видных испанских педагогов, социалистом Фернандо Льопис (Llopis). И вот, все тот же «Эль Сосиалиста» дает комментарий этому закону. «Эль Сосиалиста» хочет показать его благотворность, важность и необходимость. Что ж, намерение похвальное. Но послушаем, как он аргументирует. Это достойно внимания. Тем более, что речь идет снова-таки о редакционной, неподписанной статье, под названием «За благо Испании. Религия в школах».

Вот в чем заключается благо, получаемое Испанией от этого декрета.

«До сих пор (до декрета) священник боялся учителя, а учитель — по другим причинам — боялся священника. Священник и учитель были, таким образом, врагами. Они были врагами просто потому, что не могли вместе добрососедски сотрудничать (в том смысле, очевидно, что каждый из них требовал для себя больших прав — И. Э.). Отныне в силу последнего революционного декрета, провозглашающего максимальное уважение к совести ребенка, священник и учитель будут сотрудниками. Учитель или священник будут преподавать религию, если того захотят родители. Да, священник и учитель становятся сотрудниками. Священник будет делать то, чего не сможет учитель, а учитель то, чего не сможет делать священник. Как видим, это действительно и во всех отношениях революционный закон, наводящий порядок...».

Да, своеобразные понятия у испанских социалистов о революционности вообще... В законе, обозначающем хоть какой-то прогресс по сравнению с той буквально средневековой дикостью, которая имеется в Испании в области народного образования (об этом мы уже говорили), социалисты в первую очередь стремятся оттенить то, что должно успокоить поповщину. И ни слова у них не нашлось для того, чтобы пригвоздить к позору весь этот грандиозный церковный аппарат, веками сеющий черное невежество, предрассудки, аппарат, удерживавший 23-х миллионный народ на культурном уровне средних веков. Наоборот, они в восторге от того, что отныне, по их мнению, церковь сможет продолжать свою работу, не будучи стесненной официальным положением монополиста, не будучи стесненной также внутренней распрей с педагогами.

«Эль Сосиалиста» не счел нужным вообще выступить против религиозного воспитания, разоблачив его социальную функцию на службе капитализма; наоборот, он рад упорядочению всего дела («самым справедливым, самым правильным было бы отвести обучение религии туда, где ему надлежит быть, в храм, и это должны постановить законодательные кортесы», пишет в другом месте все тот же «Эль Сосиалиста»).

На все это способны, конечно, только господа социалисты.

Можно привести еще изрядное множество отдельных образцов, слов и дел испанских меньшевиков. Мы ограничимся приведенными.

Что касается отношения к майским событиям, к сожжению монастырей, разрушению храмов, издевки масс над предметами церковного обихода и т. д., то и здесь социалисты

остались верны себе. Они всячески замазывали революционный характер этого стихийного взрыва, их яркую антирелигиозную природу. Социалисты пытались доказать, что это всего лишь реакция масс на провокацию монархических кругов и является скорее баловством, чем серьезным массовым движением, и что не будь провокации со стороны монархистов и их газет, не было бы ни в коем случае всех этих «прискорбных событий».

Одним словом, не с этой стороны, не со стороны социалистов, точно так же, как не со стороны нового буржуазно-помещичьего блока, повисла угроза благополучию церковных богатств Испании. Подлинный враг церкви находится в другом месте, — это враг общий и церкви, и социал-фашизма, и буржуазно-помещичьего блока, и против этого общего врага и установлен по существу единый фронт всех этих сил; этот общий враг — революционный пролетариат Испании и его партия.

IV

Если послушать исконных и присяжных оруженосцев и трубадуров капиталистической «демократии», господ из II Интернационала, то произошла и уже завершилась революция, самая образцовая из всех, не революция — а модель для всех будущих революций, выражаясь языком церковным, «непорочно зачатая» революция. Парижский «Попюлэр» восхищенно писал: «Достаточно было картечи избирательных бюллетеней для того, чтобы опрокинуть одну из самых старых монархий Европы...» Эта революция является в некотором роде легальной революцией. Она признает неизмеримую ценность всеобщего избирательного права. Берлинский «Форвертс» в тот же день и час несказанно обрадовался «победе народа над монархией при помощи избирательного бюллетеня». Орган иезуитов от социал-фашизма, венская «Арбейтер Цейтунг», писал: «Испанская революция родилась из избирательной урны...» Наш знакомец «Эль Сосиалиста» писал, конечно, в том же духе: «достигнутая победа подтверждает эффективность эволюционного метода» — и так далее в этом же роде.

Для этих апостолов классового сотрудничества и капитуляции рабочего класса революция уже завершилась 14 апреля. Для них она была последним словом «революционной» техники, — поскольку свергнута монархия, а в правительственной коалиции сидят целых три социалиста. Революция была завершена также и с точки зрения либеральной или консервативной буржуазии, земельной и промышленной, решившей ценою Альфонса откупиться от революционного движения и продолжать эксплоатацию масс в порядке республиканском, а не монархическом.

Все это, конечно, вздор; эти господа действительно подменяют желаемым. События 12—14 апреля это не более чем первый этап, это начало буржуазной демократической республики, которая будет перерастать в революцию социалистическую и тем решительнее и быстрее, чем скорее гегемон этой революции, испанский пролетариат, руководимый компартией, сумеет увлечь за собою и массы сельской бедноты и батрачества на общую борьбу, чем ленински четче испанская компартия поведет свою линию.

В самом деле, что произошло в апрельские дни? Произошла передвижка в блоке господствующих классов; в помещичье-буржуазном блоке руководящую роль взяла буржуазия, не устраняя, однако, крупного землевладения от власти, поскольку финансовый и аграрный капитал в Испании сильнейшим образом переплетены, и крупнейшие земельные магнаты в то же время являются руководящими фигурами в испанской промышленности (вроде известного графа Романонеса, неоднократного члена испанских правительств, одного из богатейших людей Испании), поскольку финансовый капитал уже глубоко проник в сельское хозяйство (скотоводство плюс текстильная промышленность, переработка сельхозпродуктов, вроде сливок, винограда и т. д.). Во временном правительстве действительно представлено и помещичье крыло господствующих классов Испании. Уход Альфонса сам по себе не позволяет назвать этот переворот революцией, а тем более, конечно, завершенной.

Налицо, повторяем, **первый этап** буржуазной демократической революции. На наших глазах, однако, идет ее дальнейшее развитие и углубление; об'ективные условия для этого исключительно благоприятны именно в силу тех колоссальных социальных противоречий, которые существуют в этой стране с огромным количеством пережитков средневекового феодализма, переплетающегося с современным монополистическим капитализмом, в силу того, что новый буржуазно-помещичий блок и не думает — да и бессилен—разрешить аграрный вопрос так, чтобы удовлетворить огромные массы безземельного или малозе-

мельного крестьянства за счет крупного светского и церковного землевладения, в силу того, что этот блок не даст разрешения национальной проблеме, не сможет вывести страну из тупика, в который она загнана собственной гнилой экономикой, помноженной на всеобщий экономический кризис.

Прошло всего только несколько месяцев со времени апрельского переворота. Эти месяцы не устранили, конечно, а наоборот развязали силы народной революции. За эти месяцы мы наблюдаем колоссальное развитие стачечных боев, вопреки всем усилиям, ухищрениям и предательствам социалистов из Всеобщего союза рабочих (реформистские профсоюзы) «левых» анархо-синдикалистов Национальной конфедерации труда, при ближайшем участии правых и левых ренегатов, сторонников Маурина и Троцкого; мы наблюдаем бесчисленное количество всеобщих забастовок решительно во всех концах страны. Знаменитые майские события — поджоги монастырей и церквей, — явились одним звеном в общей цепи острого антиклерикального движения в массах, как движения против церковного рабовладельца и союзника рабовладельцев.

Таким образом, перспективы испанской революции хороши. Об'ективная ситуация превосходна. Как же обстоит с фактом суб'ективным, — с испанской компартией, задачи которой подлинно колоссальны?

Компартия Испании и молода, и слаба. Она переживала ряд детских болезней, обусловленных разношерстным составом ее рядов в предыдущие годы, когда среди членов компартии были представлены самые разнообразные социалистические анархо-синдикалистские и прочие мелкобуржуазные группировки. Испанская компартия, загнанная в глубокое подполье почти на второй год своего существования и с тех пор оттуда не выходившая, не имеет большого революционного опыта. Она слабо ориентировалась в событиях на протяжении 1930 года, когда стихийное движение масс достигло совершенно грандиозных размеров, когда произошло 150 политических стачек, из них 66 всеобщих, причем в этих стачках участвовало до 1½ миллиона рабочих — при общей численности промышленного пролетариата Испании в 1 300 000, помимо значительных слоев батрачества. Она по существу прозевала апрельскую революцию, во время которой она не сумела правильно оценить события и, увлеченная левой фразой, выбросила лозунги «против буржуазной республики», между тем, как этап буржуазно-демократической революции пройти необходимо. За этим «левым» лозунгом скрывалась в действительности пассивность организации перед лицом нараставших событий.

Но уже демонстрации 1 мая показали улучшение в работе компартии Испании; коммунистические демонстрации прошли с большим успехом в десятках городов, крупных и мелких, причем в Мадриде, Барселоне и Бильбао дело доходило до вооруженных столкновений с полицией и анархистами, в результате которых с обеих сторон были убитые и раненые.

Чем дальше, тем настойчивее и решительнее выпрямляет испанская компартия свою линию, выставляя боевые лозунги, вытекающие из современной ситуации, овладевая положением на рабочей улице и проникая в среду беднейшего крестьянства и батрачества. Компартия уже находит своих сторонников в среде городской мелкой буржуазии, жестоко страдающей от безработицы и общего экономического загнивания страны.

Испанская революция быстро развертывается и углубляется. Классовые противоречия обостряются с огромной силой. Экономические бои испанского пролетариата стихийно перерастают в политические. Буржуазное временное правительство отвечает репрессиями, принимающими все более яркий контрреволюционный характер. Испанские коммунисты подвергаются гонениям не менее лютым, чем при Примо де Ривера и Беренгере. Вожди — в тюрьмах. Помещения компартии и революционных профсоюзов, так наз. комитетов реконструкции — подвергаются разгрому. Но репрессии бессильны приостановить растущее влияние компартии, сумевшей быстро перестроиться и осознать свои первоначальные ошибки и вправо и «влево». Республиканские иллюзии, насаждавшиеся и насаждаемые социализмом, все еще очень цепкие, как показали выборы в учредительные кортесы, медленно, но верно исчезают; в массах города и деревни это отрезвление скажется еще отчетливее после того, как Учредительное собрание («кортес конституэнтес») окончательно обнажит свою контрреволюционную природу. И именно в данных условиях правильное усвоение коммунистами своих задач окажет величайшее влияние на быстрый переход к дальнейшему этапу революции путем образования советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, — которые становятся центральным лозунгом партии; путем борьбы за завоевание большинства рабочего класса,

создания единого фронта в борьбе с анархо-синдикалистскими и социалистическими предателями, занимающимися спасанием остатков феодализма в блоке с буржуазией; путем укрепления революционного профдвижения, до сих пор охватывающего всего около 100 тысяч рабочих в городе, путем консолидации и большевизации самой партии в огне боевых схваток.

В борьбе за осуществление непосредственных и ближайших задач выковывается мощный революционный авангард трудящихся масс Испании. Эта борьба обозначает «ясную, бесповоротную установку на революционную диктатуру пролетариата и крестьянства под гегемонией пролетариата, которая только в процессе своего развития может и должна перерасти в пролетарскую революцию»[1]. Этот путь, как путь всякой революции, может оказаться сложным и извилистым, но он неминуемо ведет к цели. Он может оказаться значительно короче, чем кажется иным в самой Испании и из-за испанского рубежа, откуда бдительно следят за испанскими событиями. Но он может оказаться вместе с тем и чреватым новыми сюрпризами для европейских капиталистов, ибо несомненно, что победа социалистической революции в Испании вызовет интервенцию в испанские дела тех, чьи миллиарды инвестированы в испанских предприятиях, и вообще всех, кому мало улыбается перспектива иметь в Европе новый очаг «коммунистической заразы». Но интервенция эта, как известно, палка о двух концах...

Таким образом, начавшаяся испанская революция, являющаяся разрывом империалистической цепи в одном из слабейших звеньев, раньше или позже приведет к расширению этого разрыва. И это делает революцию в отсталой, третьестепенной, с точки зрения капиталистической, фактом первоводрядного международного значения.

Естественно, что все силы реакции готовы будут отложить внутренние распри и об'единиться для подавления новой угрозы, — едва только волна пролетарской революции подымется на энное количество единиц выше, так сказать социального ординара, угрожая затопить мир капитализма бесконечно мощным потоком вешних вод революции, подлинной революции. И несомненно над возведением плотины этой великой волне будут трудиться, как трудятся фактически уже сейчас, все силы контрреволюции, включая вернейших слуг капитализма—социал-фашизм, во всех его разновидностях, и церковь.

Ясно, что чем основательнее обломать уже сейчас зубы и тем и другим, тем легче будет смыть эту вражью плотину, тем ближе победа испанского пролетариата.

Но обломать зубы такому хищному зверю, каким является испанская церковь, значит не только ущемить ее, лишить ее прав и привилегий, ее финансовой базы, это значит повести антирелигиозную пропаганду в массах испанских трудящихся, которые свою страшную ненависть показали уже не раз и показали достаточно ярко.

---

[1] См. «Коммунистический Интернационал», 1931 г., № 13-14.

Борьба с алкоголизмом в реконструктивный период

И. Дукор — М. Фридляндский

Мы хотим, прежде всего, повторить несколько достаточно тривиальных положений, для того чтобы ярче оттенить общий смысл нашего выступления. Проф. Гейманович во вступительной статье к социально-гигиеническому исследованию Гуревича и Залевского об алкоголизме совершенно правильно отмечает, что «проблема алкоголизма была одной из первых проблем, по линии которых медицина сделала стык с экономикой и социологией»[1].

В дни, когда психоневрология становится одной из ведущих областей на фронте социалистического здравоохранения, когда именно в области психоневрологии заостряются не только проблемы практического порядка, но и теоретического (в широком смысле этого слова), алкоголизм является одним из тех узловых пунктов, правильное понимание которых даст то «основное звено, за которое можно будет повернуть всю цепь» (Ленин). На наших глазах патология нервной клетки обрастает огромным социальным содержанием. Именно потому, что алкоголизм в общей системе психоневрологии является одним из наиболее изученных участков, именно поэтому внимательно приглядываясь к основным вехам антиалкогольного движения после Октябрьской революции, можно с достаточной ясностью представить себе общие контуры огромных возможностей в нашей области — в условиях первого в мире социалистического государства.

Алкоголизм встретился с Октябрьской революцией тогда, когда он находился в заторможенном состоянии после четырех лет царского запрета (период империалистической войны). Либеральничающие интеллигенты из «эволюционного» лагеря—от кадетов до меньшевиков — считали, что запретительная попытка (в связи с империалистической войной) приведет к серьезным успехам в деле отрезвления русского народа, еще со времен Владимира святого пользующегося крупной алкогольной квалификацией на международной арене. Однако все надежды, связанные с запретительной политикой царского правительства, лопались, как мыльный пузырь.

У нас, к сожалению, до сих пор нет достаточных данных, чтобы судить о динамике постепенной алкоголизации населения под двойным прессом империалистической войны и царского запрета с 1914 по 1918 гг. Мы напомним только один факт, достаточно показательный. Уже через 9 месяцев после царского запрета, весной 1915 г., в Харькове, при с'езде по вопросам организации разумных развлечений для народа, фигурировал ассортимент около 20 видов спиртных напитков, которые продавались из-под полы на украинских базарах и которые изготовлялись самыми разнообразными способами из лака, политуры, денатурированного спирта и т. д.[1]. Общеизвестно, что с 1915 г., от первых кустарных попыток, наше крестьянство и, частично, городские окраины (связанные с деревней) переходят постепенно к массовому, «фабричному» производству самогона.

Советское правительство в 1918 г. автоматически продлило запретительные мероприятия, вызванные империалистической войной. Необходимо отметить, что в этом автоматизме была своя глубокая революционная логика. Царский запрет был продиктован жи-

[1] Гуревич и Залевский. «Алкоголизм». Харьков. 1930 г., стр. 36.

[1] Цитируем по статье проф. Несмелова «Профилакт. медиц.» № 11, 1928 г., стр. 26.

вотным страхом дворянско-капиталистического режима; революционный запрет 1918 г. был продиктован лозунгом Ленина: «Алкоголизм и социализм не совместимы».

Если в условиях дворянско-капиталистического гнета, военной цензуры, ужасов империалистической войны — столетние алкогольные навыки, несмотря на запрет, просачивались в быт рабочего и крестьянина, то, к сожалению, первые годы революционной эпохи не внесли существенных изменений в эту подпольную алкоголизацию.

Тысячелетия алкогольного рабства наложили тяжелую печать на психику тех слоев населения, которые своими руками строили новый мир. Алкогольная капиталистическая выучка, нищее наследство, давали о себе знать на каждом шагу. Власть была захвачена, но задача переделки человеческого материала, который стал суб'ектом истории — была еще вся впереди. Отсюда специфические трудности, с которыми встретилось советское правительство на своем первом этапе борьбы с алкоголизмом. С одной стороны, огромная эмоциональная зарядка первых дней революции, ожесточенных гражданских боев; пафос революционной борьбы; наглядное претворение в жизнь гениальной формулировки Маркса «революция — это вихрь, сметающий на своем пути все ему сопротивляющееся»; с другой — тяжелая инерция прошлого, включающая в себя, как органический компонент, многовековую алкогольную традицию. С одной стороны — героизм авангарда рабочего класса и крестьянства; с другой — бытовая стихия отсталых крестьянских и рабочих масс. Нужно твердо помнить, что здесь дело не только в этой бытовой «стихии», нужно помнить, что методика самогоноварения — это давно испытанная методика капиталистических слоев деревни; что в любой капле самогона с необыкновенной наглядностью отражалась классовая дифференциация деревни эпохи 1918—1920 годов. Статистические сводки роста самогоноварения, несмотря на свою разноречивость и сбивчивость (нужно учесть возможности точной статистики в те годы), рисуют тревожную кривую самогонного пульса. По некоторым данным за 1921—22 г. крестьяне перегнали на самогон около 25 тыс. тонн хлеба. К 1925 г. случаи расхода на какие бы то ни было алкогольные напитки охватили 68,9% всех рабочих семей города Москвы. К этому времени прошло каких-нибудь полтора года после издания советской властью декрета о свободной продаже вина[1]. Процент алкоголизации рабочих семей в более отдаленных рабочих центрах был несравненно выше (Тула, Иваново-Вознесенск, Златоуст и т. д.). К этому же времени массовая фабрикация самогона создала очень солидную емкость потребления спиртных напитков и в деревне (впрочем, необходимо отметить, что емкость эта по сравнению с периодом доимпериалистической войны передвинулась в производящие земледельческие районы)[2].

Эти данные показывают специфическую алкогольную потенцию населения, которая накопилась за годы запрета, которая обслуживала себя почти в течение целого десятилетия (с 1914 по 1924 г.) тихой «самогонной сапой» широко разветвленной системой «приглушенной» алкоголизации.

Для советского правительства в годы нэпа не оставалось никакого иного выхода, как отменение запретительных мер. Десятки и сотни тысяч самогонных аппаратов поворачивались в лицо потребителя своей суровой, классовой подоплекой. Это — с одной стороны. С другой — для подпольного алкоголизма эпоха нэпа снимала те задерживающие центры, которые безошибочно действовали на протяжении империалистической войны и первых годов Октябрьской революции (военная цензура, пафос «прямого» революционного действия и т. д.). И еще: рост самогоноварения создавал прямую угрозу хлебному балансу страны; кулацкая прослойка росла на самогоне как на дрожжах. Единственным рациональным выходом из всего этого сложного переплета экономических, политических и общественно-психологических взаимозависимостей и была постепенная отмена антиалкогольных запретительных мероприятий.

Для того чтобы иллюстрировать необходимость выпуска сорокаградусной, мы приведем только один пример. В 1924 г. было изготовлено самогона 30% крепости 10 105 630 гкл., а в 1927 г. — 6 235 583 гкл.[3].

Это вытеснение отчетливо наблюдается в промышленных и потребляющих районах и сравнительно слабо в производящих, т. е. даже к 1927 г. позиции самогона в целом ряде

[1] МГСПС. Ларин „Алкоголь и социализм", стр. 91

[2] См. статистические выкладки Д. П. Родина в изд. ЦСУ РСФСР.

[3] „Алкоголизм в современной деревне", стр. 7.

уездов производящих областей были еще настолько крепки, что государство должно было итти на постепенное увеличение выпуска 40° (для окончательного разгрома одной из основных экономических предпосылок кулачества). Если бы нашелся пролетарский Гомер, который написал подпольную алкогольную Одиссею эпохи 1918—1922 гг., то мы имели бы гениальную зарисовку многовековых алкогольных навыков, живущих под многосложной цензурой заградительных отрядов, официального запрета, конфискации и т. д. Нам пришлось в нашей практической антиалкогольной работе [1] близко ознакомиться с контрабандистами выпуска 1918 г. Самогон из крупных подпольных центров направлялся по периферии тысячного радиуса. Способы этой переправки еще ждут своего внимательного исследователя — социолога и врача. Под колесами товарных составов; в резиновых поясах на голом теле под рваной одеждой; пропущенный через парафин и аккуратно упакованный в консервные банки; в высоких казачьих папахах с двойным дном — тысячами подпольных артерий пульсировал самогонный капитал, находя благодарную пищу в той алкогольной потенции, о которой мы уже говорили. Жалкие остатки разгромленных самогонных армий, в виде десятков тысяч арестованных самогонщиков и сотен тысяч конфискованных и сломанных самогонных аппаратов — громоздились в тюрьмах и около тюремных дворов. Д-р Воронов, один из лучших исследователей самогонной эпохи, приводит любопытнейшую цифру: на каждые сто обысков по РСФСР приходилось 30 задержанных аппаратов и 21,7 ведер самогона; по УССР — 51 аппарат, 13,5 ведер самогонки [2]. По нашим данным, еще в 1928 г. в некоторых деревнях недалеко от Орехово-Зуева из каждых 120 дворов 70 занимались шинкарством и самогоноварением. По данным некоторых исследователей, за 1927—28 г., было выпито 32 миллиона ведер водки и 15 миллионов ведер самогона. Как же велика, мощна была подпольная алкогольная стихия, если к 1928 г. потребность в водке покрывалась только на $^{2}/_{3}$ государственным производством!

Все эти схематически вырванные данные еще раз блестяще доказывают бессилие запретительных мероприятий. Алкоголизм умрет только тогда, когда для его смерти будут подготовлены соответствующие социально-экономические и выросшие на них общественно-психологические предпосылки. Поскольку в эпоху нэпа советскому правительству пришлось «развязывать» капиталистические элементы, а бытовое наследство долгих тысячелетий капиталистического режима не могло быть изжито за несколько лет Октябрьской революции и социально-экономический базис для построения подлинно социалистического общества был еще только в зачаточном состоянии — выпуск сорокаградусной стал исторически неизбежным. Также неизбежно было и то, что государственная продажа вина плюс длительная самогонная алкоголизация большого масштаба — выявили уже в 1925 г. первые грозные признаки легального алкоголизма. Один из основоположников антиалкогольного движения в СССР — д-р А. С. Шоломович совершенно правильно сигнализировал в свое время нарастающую динамику алкоголизации населения. Во вступительной статье к первому сборнику «Вопросов наркологии» он писал: «не количеством алкогольных психозов или алкогольных преступлений страшна эта динамика; ее опасность глубже всего сказывается в укреплении алкогольного быта, в утверждении безнадежного взгляда широких масс на алкоголь, как на неизбежность, с которой не справится и революция». Если финал этой фразы и звучит несколько аггравированно по адресу революции (мол, «революция не справится»), то в основном д-р Шоломович безусловно прав. В чем же заключались особенности алкогольной ситуации этого периода? Нам кажется, в трех основных моментах. Во-первых, остатки разгромленной буржуазии, широкая и рыхлая мелкобуржуазная прослойка, деклассированные отбросы гражданских фронтов и голодных приволжских деревень — все они дали массовую, еще примитивную и, вместе с тем, жадную реакцию на первые дозы легального алкоголя. Та же примитивность и та же жадность были у кулацких элементов деревни, для которых отсутствие подлинной культуры давало возможность легализации алкогольного деревенского быта и всех тех капиталистических перспектив, которые отсюда логически вытекали. Наконец, классовая ориентировка основных пролетарских кадров была в это время осложнена новой линией партии; эту линию не все понимали; диалектическая необходимость нэпа не была осознана всеми до конца.

[1] Подробнее об этом см. в статье И. Дукора, „Октябрь“ № 7, 1929 г.

[2] „Вопросы наркологии“, № 1, изд. 1926 г., стр. 70.

Таким образом, на почве экономических отношений, выросших вместе с нэпом, в общественной психологии создавался чрезвычайно сложный комплекс влияний и взаимодействий, которые впервые в истории пролетарской революции поворачивали проблему алкоголизма лицом к пролетарской общественности. Вопросы борьбы с алкоголизмом, приглушенные героическими годами первого периода Октября, всплыли на поверхность вновь в необычайно пародоксальных для них условиях. Пародоксальность эта, в основном, заключалась в том, что ленинский лозунг о несовместимости алкоголизма и социализма сталкивался «в лоб» с алкогольными навыками, оставшимися в наследство от тысячелетий капиталистического рабства.

Эта суровая и жестокая действительность сигнализировала алкогольную опасность тысячью «микро» и «макро» симптомов. Все учащавшиеся случаи эксплоатации кулачеством бедняцких слоев деревни на нэповской алкогольной почве, богатейшая хроника растрат и бытовых гнойников, тревожные сводки снижения производительности труда за счет «легальных литров» — все это создавало тот общественный симптомокомплекс, который властно требовал того или иного лечебно-профилактического разрешения, хотя бы в первичном виде. Вся эта обстановка и была исторической акушеркой первых «наркодиспансеров». В маленьких сырых подвалах, в первичной сутолоке вновь открывшегося антиалкогольного фронта; в лечебно-профилактической спешке первых вдуваний кислорода и уколов мышьяка, психотерапевтических сеансов и докладов на массовых рабочих собраниях — строились и росли те формы антиалкогольной работы, которые на сегодняшний день уже должны быть сдвинуты на новые позиции.

Советское здравоохранение вправе гордиться «героическим» периодом наркодиспансеров (с 1925 г. по 1928 г.). Нужно было пробиваться через тысячи препятствий. Даже для авангарда рабочего класса, для многих партийцев и комсомольцев совершенно непонятно было, зачем строить наркодиспансеры, если партия и советская власть пошли на государственную продажу спиртных напитков. И только постепенно успешная работа антиалкогольных лечебно-профилактических учреждений раскрывала перед широкими рабочими и крестьянскими массами необходимость организации тех первичных лечебно-профилактических ячеек, при помощи которых росло и крепло советское антиалкогольное движение.

Первый наркодиспансер работал 9 месяцев при совершенно невероятных трудностях: 3—4 проходных комнаты, зимой далеко нетеплых, совершенно не оборудованных (даже без уборной и умывальника), а главное, без всякого штата — оно обслуживалось районными наркологами по очереди: при отсутствии служителя районные сестры соцпомощи мыли полы и топили печи, иногда и при содействии больных [1].

Уже на первом этапе своего возникновения наркодиспансеры сумели стать теми узловыми пунктами, в которых узко медицинские проблемы были передвинуты в область рабочего быта, экономики, политики. Группы работников первых сырых «подвальных наркодиспансеров» крепкими и дружными коллективами врезались в предприятия, в массовые рабочие собрания; антиалкогольные лекции и беседы становились органической частью школьных программ. Трудно перечислить все те виды общественно-профилактической антиалкогольной работы, которые не были бы использованы наркодиспансерами уже в первые годы их существования.

Надо отметить также, что эта действенная общественность, высокая социальная зарядка выгодно отличала в те годы наркодиспансеры из всей массы других лечебно-профилактических учреждений. Фактически гибкость наркодиспансерных мероприятий, необычайная чуткость по линии социально-активизирующего воздействия — и позволили им выжить, развиваться и крепнуть в самых неблагоприятных для себя условиях.

Приведем некоторые цифры, иллюстрирующие рост наркодиспансеров и наркопунктов по Москве и динамику санпросветработы [2]:

Годы	Число врачей-наркологов	Общее число посещений	В том числе первичных	Алкоголиков	Общ. число обслед. произвед. сестр. соц. помощи
1924—25	13	52567	4916	2471	2582
1925—26	15	4552	7445	5454	4574
1926—27	18	135063	14018	8611	9942
1927—28	32	181028	16121	8888	14377
1928—29	38	159553	14789	7647	16827

[1] „Вопросы наркологии“, № 1, стр. 72.

[2] Материалы о деятельности лечебно-профилактических учреждений Мособлздравотдела, изд. Мособлисполкома 1930 г., стр. 28 и 29.

Для характеристики необычайного роста наркодиспансерной работы с 1924 г. приведем интересную сводку д-ра Шоломовича[1].

Движение больных (районные приемы)

	1924 г.				1925 г.
	январь-март	апрель-июнь	июль-сентябрь	октябрь-декабрь	январь-март
Первичных	304	623	414	821	1518
Повторных	482	953	2451	4893	11711
Всего	786	1576	2865	5714	13229

	Всего выступлений	Всего слушателей
1924—25 г.	944	65 188
1925—26 г.	1051	75 683
1926—27 г.	1949	140 557
1927—28 г.	3915	321 929
1928—29 г.	3830	501 733

Даже поверхностный анализ этой сводки доказывает высокую рентабельность наркодиспансера в те годы. Трудно найти в истории советской медицины другой пример такого быстрого роста посещаемости (за один год рост первичных больных на 500%, рост повторных свыше 2000%). Понятно, рентабельность эта не только в дешевизне лечения и в сухих диаграммах посещаемости. Лечебная работа в советских условиях больше, чем где-либо, эффективна также и в хозяйственной области. По вычислениям т. Ларина, первые десятки тысяч вылеченных алкоголиков являются той суммой, «которую рабочий класс передает пролетарскому государству, как целому, на дальнейшее хозяйственное, культурное и общественное строительство. Те двадцать тысяч квалифицированных рабочих, которые были алкоголиками и имели в среднем до 8 прогульных дней. В этот последний год (речь идет о 1928 г.), который они не пьянствовали, эти 2 миллиона прогульных дней они работали, и от каждого лишнего дня, сверх уплаты им зарплаты, государство имело доход по 5 рублей за день работы, т. е. 10 миллионов рублей в год»[2].

Для 1925—26 г. рентабельность эта не была еще столь хозяйственно ощутимой, но зато тем эффективнее была она на других участках советского строительства. Каждый вылечившийся рабочий-алкоголик был живым знаменем борьбы за антиалкогольный социалистический быт, он был живым символом восстановительного периода советской промышленности. Когда такой рабочий появлялся в цехах завода в новом пальто и в новых ботинках, купленных на трезвые деньги, когда он становился активным организатором антиалкогольной кампании, — тогда его социальная энергия, освободившаяся от длительной алкоголизации, давала изумительные результаты в самых различных областях культурной и хозяйственной жизни. Все это было той рентабельностью, которую нельзя подсчитать ни десятками миллионов рублей, ни увеличением посещаемости на сотни процентов.

В провинциальных промышленных центрах эта рентабельность была еще более эффективной. Об'ясняется это тем, что пьянство рабочих в крупных провинциальных промышленных центрах носило (мы говорим о 1925—26 и 27 гг.) значительно более упорный и грозный характер, чем в Москве. Этот специфический провинциальный рабочий алкоголизм (Тула, Иваново-Вознесенск, Серпухов и т. д.) питался за счет слабости культурно-просветительной работы, разумных развлечений и т. д. Динамика городской культурно-просветительной жизни в крупных столичных центрах отвлекла рабочего в его свободное время. Алкогольные бытовые традиции в провинции значительно крепче. Именно поэтому работа наркодиспансера в провинциальных рабочих центрах, в тех случаях, когда она была поставлена правильно, когда во главе ее становились преданные энтузиасты своего дела, приносила результаты, которые ждут еще своего внимательного и детального изучения.

Для характеристики работы наркодиспансеров на периферии достаточно привести два факта:

1) В некоторых промышленных центрах сумма выпитого за год вина превышала городской бюджет (Тула, Орехово-Зуево и т. д.).

2) Несомненно, после своей организации наркодиспансеры становились штабами антиалкогольной лечебно-профилактической и культурно-просветительной пропаганды не только для города, но и для десятков окружающих деревень и рабочих поселков. В своей работе периферийные наркодиспансеры широко выплескивались за рамки «местной» борьбы с алкоголизмом.

---

[1] „Вопросы наркологии", № 1, стр. 74.

[2] Из речи т. Ларина на первом пленуме Всесоюзного совета противоалкогольных обществ в СССР, Госмедиздат 1929 г., стр. 12.

Диалектика жизни поставила наркодиспансер в несколько парадоксальное положение. Если до наркодиспансеров слабость культурно-просветительных организаций на местах неизбежно толкала рабочего на путь повседневного, иногда хронического алкоголизма (обыкновенная фраза: «по рюмочке не грех выпить с приятелем, все равно делать нечего»), то эти же условия заставляют работников наркодиспансеров быть «толкачами» по всем линиям культурно-просветительной работы (массовые литературно-художественные вечера, совместные выступления с местными организациями безбожников, организация собственных драматических трупп, руководство семейными рабочими вечерами, организация «ядер нового быта» среди комсомольской и беспартийной рабочей молодежи и т. д.). Мы можем напомнить читателю, что в тех местах, где наркодиспансеры не брали на себя или не умели проводить этой дополнительной культурно-просветительной нагрузки, — они умирали медленной и верной смертью, часто в самой смерти своей дискредитируя основную направленность советского антиалкогольного движения (напр. в Богородске).

Кстати, история борьбы с алкоголизмом на промышленной периферии (мы говорим, главным образом, о Московской области) необычайно выпукло показала специфику антиалкогольного движения в Советском государстве. Там, где работники антиалкогольного фронта были только «механическими гражданами» своего дела — все их попытки, механически упрощенные и замкнутые, неизбежно проваливались и по лечебно-профилактической линии.

Первые годы наркодиспансеры существовали «полулегально». «Полулегальность» эта об'яснялась целым рядом об'ективных условий: не были выявлены ни размеры, ни формы алкоголизма в послереволюционную эпоху, не были прощупаны организационные и лечебно-профилактические методы воздействия на алкогольную среду; многих работников антиалкогольного фронта смущал кажущийся антагонизм строительства социализма бок-о-бок с государственной продажей вина. На базе наркодиспансерного опыта, постепенно распространившегося (правда в очень незначительных темпах), первенство все время оставалось за Московской областью: создается общество борьбы с алкоголизмом, куда вошли представители от партийных, комсомольских, хозяйственных и профессиональных организаций, активисты котибов-наркодиспансеров, и т. д. Очень быстро после организации об-ва борьбы с алкоголизмом начали организовываться филиалы этого общества и на периферии. Филиалы сыграли в свое время большую принципиальную роль в деле развития общественной борьбы с алкоголизмом.

Филиалы (при правильной расстановке и использовании сил) включались органическим звеном в систему партийной и советской общественности и здесь получили возможность действовать изнутри на проведение тех или иных антиалкогольных мероприятий.

Напомним также, что к 30/V—1929 г. (т. е. к 1-му пленуму Всесоюзного советского противоалкогольного о-ва в СССР) число членов общества достигло 250 тысяч (из них около 200 тысяч рабочих и работниц промышленных и транспортных). К этому времени относятся и глубоко поучительные мероприятия об-ва по изысканию новых методов антиалкогольной пропаганды (конференция пьющих девушек; антиалкогольные киноэкспедиции; шефство над пьющими и их семьями; методы походов рабочих из городов в деревни; организация ячеек об-ва в составе армии и флота и т. д.; организация книжной лотереи «Книга вместо водки» с распространением свыше 2-х миллионов билетов). Кроме того к этому же времени относится и развертывание научно-исследовательской работы по вопросам алкоголизма (в Москве, Харькове и т. д.), издание массовой антиалкогольной литературы, плакатов, выставок и т. д. Упомянем также и такой крупный и не имеющий прецедентов в истории борьбы с алкоголизмом в России факт, как проведение антиалкогольной недели. За эту неделю работниками об-ва и наркодиспансеров было проведено по всем районам г. Москвы около 600 выставок, по театрам и клубам было обслужено около 200 тысяч слушателей и зрителей. Мы приводим и эти цифры только для того, чтобы на частном примере проиллюстрировать те сравнительно большие организационные возможности, которые к тому времени накопились в обществе. Затем необходимо также отметить некоторые основные законоположения, которые были выработаны и проведены в жизнь в тесном контакте с антиалкогольным об-вом.

Важнейшие из них: декреты о праве местного запрета; о мероприятиях по борьбе с шинкарством; ограничение сети лавок центроспирта в промышленных районах; официальное

введение вопросов борьбы с алкоголизмом в школьные программы; о расширении выпуска безалкогольных напитков и т. д.

Наиболее существенной чертой этого периода работы наркодиспансеров является то обстоятельство, что они фактически были оторваны от повседневной практики психиатрических учреждений. В этом, позорном для психиатрии, факте нашло свое отражение общее отставание психиатрии от всего фронта социалистического здравоохранения. Случилось так, что нервно-психиатрические дисциплины, которые должны были быть по самому своему существу, дисциплинами ведущими, очутились на основном участке своего «стыка с экономикой и социологией» (формула проф. Геймановича) в хвосте событий, бурно нараставших и требовавших того или иного быстрого и гибкого отклика. Даже в тех случаях, когда невро-психиатрические учреждения организовали специальные антиалкогольные отделения, то, надо прямо сказать, отделения эти, в подавляющем большинстве своем, носили тот отпечаток специфического академизма и кастового консерватизма, который не давал возможности им развертываться в живой и действенный «антиалкогольный агитпроп» [1].

Отсюда отрыв антиалкогольной проблемы от практики невро-психиатрии. Отсюда лозунг д-ра Шоломовича «подальше от психиатрии» — нашел достаточное количество сторонников среди врачей — работников антиалкогольного фронта.

Больше того, мы знаем много таких случаев, когда работники и руководители невро-психиатрических учреждений встречали «в штыки» любую подлинно антиалкогольную попытку; когда работа на антиалкогольном фронте считалась чем-то «низшим», в сравнении с «шизофреническим академизмом».

Повторяем: отсюда естественный антагонизм. Советская психиатрия в тот период ничего не могла дать антиалкогольному движению. Оно и развивалось где-то на боковых путях от нее.

Если мы проанализируем движение алкогольных психозов в одной из крупнейших московских психиатрических больниц по отчетам главврача (больница им. Кащенко), то мы получим следующее:

Больница имени Кащенко

Годы	Колич. человек	В том числе:			В % к общему колич.
		Мужч.	Женщины	Итого	
1923	1741	38	7	45	2,5
1924	1955	109	5	114	5,8
1925	2761	365	15	380	13,7
1926	3427	776	29	805	23,2
1927	4876	1443	46	1539	31,6
1928	6343	1550	73	1623	25,6
1929	6856	1868	85	1953	28,4

Итак, за период с 1923 г. по 1927 г. по больнице им. Кащенко мы имеем рост алкогольных психозов с 2,5% до 31,6%; по Преображенской психобольнице мы имеем рост с 4,5% до 25%.

Мы считаем, что «игра в прятки» с алкоголизмом велась на двух флангах. Основной опасностью является правый фланг, либеральничающая академ-психиатрия; огромная масса психиатров и практических работников невро-психиатрического фронта в широком смысле этого слова (педологи, рефлексологи, психофизиологи и т. д.). Ярчайший пример: книга «Психо-неврологические науки и социалистическое строительство в СССР». Скандальнейшим фактом первого с'езда по изучению человека останется на совести с'езда фактическое замалчивание антиалкогольной проблемы. Не было постановлено ни одного подлинно научного (в марксистско-ленинском плане) доклада, посвященного наиболее жгучей и актуальной проблеме, где в конкретных условиях многовекового русского алкогольного быта сталкиваются проблемы экономики и политики, культурной революции, производства и поведения человека. И только где-то на задворках книги, под фиговым листком резолюций, стыдливо говорится о том, что патолого-клиническая секция полагает, «что каждый психо-невролог в своей просветительной работе должен неуклонно вести борьбу с этим тяжелым пережитком старого быта; особенно же это касается тех дисциплин, которые имеют непосредственное отношение к воспитанию подрастающей смены». Повторяем: хвостистское по существу, правооппортунистическое замазывание антиалкогольной проблемы на многочисленных участках психо-неврологического фронта является основной опасностью, которую нужно разоблачить и бить.

[1] Так формулировала работу одного из лучших периферийных наркодиспансеров Орехово-Зуевская газета „Колотушка“.

Отлив алкоголиков от наркодиспансеров, столь выпукло намечающийся в последние годы, снижение организационной и санпросветительной работы в наркодиспансерах и в обществе борьбы с алкоголизмом — являются только материальными показателями тех глубоких процессов, которые происходят в политике, экономике и в быту с момента развертывания ликвидации кулачества как класса и высоких темпов индустриализации страны (реконструктивный период). Ленинский лозунг «алкоголизм и социализм несовместимы» получает совершенно новое освещение в динамике реконструкции антиалкогольного фронта. Миллионы ведер самогона доказали, что пока не уничтожены элементы капиталистического быта, до тех пор не может быть никакого серьезного разрешения алкогольного вопроса. Капитализм сращен с ним тысячью невидимых нитей, так же как с другими буржуазными бытовыми и идеологическими предрассудками (религия, право, понятие частной собственности, анархической индивидуальности и т. д.).

Иначе говоря, поведение человека «буржуазной складки» включает в себя, как органический компонент, капли алкогольного яда. И именно сейчас, когда страна вступила в первую наиболее трудную и ответственную фазу социализма, трактовка алкогольной проблемы как имманентной наркологической дисциплины, как самостоятельного участка всего психоневрологического фронта — является в корне неправильной, ложной, требующей скорейшей ликвидации. Ведь вся сложность алкогольного вопроса в реконструктивном периоде, вся его новая качественность по сравнению с алкоголизмом периода восстановительного заключается в том, что на наших глазах каждый гвоздь в социалистической стройке эпохи интенсивной индустриализации (под лозунгом «перегнать»), каждый лишний трактор, взрывающий индивидуалистическое крестьянское хозяйство, — является живыми, ощутимыми знаменателями будущего безалкогольного общества. В восстановительном периоде, в особенности в начале его, когда впервые после героических лет гражданской войны неизбежно развертывалась мелкобуржуазная стихия—пути разрешения алкогольной проблемы, для очень многих обладали значительно меньшей контурностью. Отсюда с неизбежностью вытекало имманентное наркологическое разрешение этого вопроса д-ром Шоломовичем. По существу его теория наркологической замкнутости, требование окончательного отрыва алкоголизма от психиатрии есть типичная мелкобуржуазная, левацкая попытка. Наиболее выпукло (не только в области «теоретической наркологии», но и в ее политическом аспекте, что еще раз доказывает глубочайшую связь любой идеологической надстройки, в частности «антиалкогольного мировоззрения», с политикой (мелкобуржуазная наркологическая концепция д-ра Шоломовича выявила себя в следующем программном его заявлении): «Но во всякой алкогольной политике, даже вынужденной, есть своя динамика — грозная и опасная. Не количеством алкогольных психозов или алкогольных преступлений страшна эта динамика; ее опасность глубже всего сказывается в укреплении алкогольного быта, в утверждении безнадежного взгляда широких масс на алкоголь как на неизбежность, с которой не справится и революция» [1]. Сейчас необходимо вскрыть, хотя бы в самых общих чертах, социальную сущность этой фразы. В концепции д-ра Шоломовича она не случайна. Именно из неверия в творческие силы рабочего класса выросло это наркологическое паникерство.

Именно здесь кроются корни отрыва теории от практики; психиатрии, как науки о патологическом поведении, от алкоголизма. Для того, чтобы проиллюстрировать «теоретическую базу» наркологической имманентности, приведем только один пример. В книжке д-ра Шоломовича «Алкоголизм как болезнь», говоря о том, что «запойный» больной — обыкновенно человек с неуравновешенной с самого детства нервной системой, что у таких людей постоянно наблюдается быстрая и неожиданная смена настроений и т. д.; говоря об упадке личности алкоголика, подчеркивая преимущественное влияние алкоголя на центральную нервную систему, трактуя галлюцинозы, — автор находит вместе с этим возможность заявить: «только от одного соседства следует быть как можно дальше: от психиатрической больницы, не должно быть ничего общего между местом лечения алкоголиков и местом лечения душевнобольных. Причина совершенно ясна: алкоголик больше всего боится, что его сочтут «сумасшедшим», что его отправят в психиатрическую больницу, он всячески избегает даже думать об этом. Только самые тяжелые, часто неизлечимые, алкоголики-психопаты пойдут лечиться куда угодно».

[1] „Вопросы наркологии“ № 1, стр. 1.

Логическим завершением этой теории отрыва является положение д-ра Шоломовича о том, что «организация лечения алкоголиков в стенах невро-психиатрического диспансера, трактовка борьбы с алкоголизмом, как частной задачи психо-неврологического диспансера, затушевывает огромность и важность проблемы алкоголя в глазах населения, лишает возможности достаточной концентрации его внимания на этом вопросе, является организационно-методической ошибкой.

В стенах психо-неврологического диспансера под флагом психо-неврологии можно принимать тысячи алкоголиков и даже успешно лечить их, но общественная борьба с бытовым алкоголизмом здесь не облегчается, а тяжело, в корне, тормозится, а тем самым резко понижается даже чисто лечебный успех этой работы»[1].

Боязнь психиатрии есть только частная модификация левого паникерства. Теория Шоломовича лишнее доказательство антиленинской, антимарксистской трактовки алкогольного вопроса.

Д-р Шоломович проспал все то новое, что властно и решительно вошло в советскую психиатрию с 1929 г. Иначе и не могло быть. Упорство, ничем не оправданное, в требовании безоговорочного отрыва науки о патологическом поведении от его социальной практики — неизбежно должно было привести к этому. Ведь его книжка «Алкоголизм как болезнь» вышла в 1930 г., когда система единых диспансеров, в частности, невро-психиатрических отделений уже существовала, когда идеи психопрофилактики, психосанитарии труда уже разговаривали полным голосом, когда уже был накоплен достаточно большой научно-исследовательский и базирующийся на нем санпросветительный опыт в Институте невро-психиатрической профилактики, в лечебнице д-ра Раппопорта, в Харькове и т. д. И все это прошло мимо д-ра Шоломовича. Кстати напомним также о том, что передовая часть советской психиатрии, отнюдь не смазывая вопросов алкоголизма, начала говорить о всеоб'емлющей психогигиене, включающей в себя и теорию и социальную практику всех основных участков психоневрологического фронта — еще с 1925 г. (статьи Бергера в Корсаковском журнале; выступления проф. Розенштейна и т. д.).

Основной опасностью остается оппортунистическая недооценка всей остроты и важности антиалкогольной проблемы для теории и практики советской психоневрологии. Но эта основная опасность не должна затушевывать необходимости систематического и беспощадного разоблачения наркологической замкнутой романтики, беспочвенного радикализма в разрешении алкогольной проблемы. Есть еще одно обстоятельство, на которое нужно обратить самое серьезное внимание. Старые кадры алкоголиков-хроников в основном исчерпаны наркодиспансерной системой (в лечебном и в санитарно-просветительном плане). Часть из них поставлена на ноги; наркодиспансеры буквально спасли их, возродив к новой жизни; часть погибла для общества безвозвратно, опустившись на социальное дно; часть распылилась по райпсихиатрам, невро-психиатрическим отделениям и т. д., беспрерывно кочуя, в периоды алкогольных рецидивов, от одного врача к другому. Последнее обстоятельство привело, между прочим, к нелепейшему параллелизму: по обследованию специальной комиссии Мосздравотдела, куда входили представители и от наркодиспансерной организации, из 36 000 алкоголиков, прошедших через наркодиспансер за последние несколько лет, около 12 000 посещали вместе с тем регулярно и райпсихиатров. Что же касается той «алкогольной смены», которая стоит еще пока только на грани хронической алкоголизации, то сейчас, когда коренным образом изменилась вся экономическая и политическая ситуация, по сравнению с медовым месяцем организации наркодиспансеров, когда окрепли и выросли устремления и психопрофилактики, и психогигиены, когда вся советская психиатрия сама вступила в свой реконструктивный период, — было бы вреднейшей ошибкой замыкать эту алкогольную молодежь в наркодиспансерную клетку, вместо того, чтобы воздействовать на нее единым, мощным потоком психоневрологии в целом. Ибо совсем сейчас не актуальны лозунги, что, мол, «человек гибнет от рюмки водки» (основная установка д-ра Шоломовича). В нашу эпоху гораздо важнее предохранить молодого рабочего от неправильно выбранной профессии; гораздо важнее помочь ему по линии профилактики и психосанитарии труда; рационального использования труда и отдыха.

То, что было нужно и необходимо несколько лет тому назад, потеряло свою актуальность на фоне развивающегося психопрофилактического сектора. Именно поэтому наркодиспансеры блистательно растеряли большинство своих больных; именно поэтому умирае-

[1] „Вопросы здравоохранения", 1928, стр. 10—11.

на наших глазах столь активная раньше потенция. Отсюда же и бегство врачей из наркодиспансеров, их стихийная тяга к широким, обобщающим психо-неврологическим синтезам.

5 ноября 1927 г. в беседе с иностранными рабочими делегациями на вопрос делегации, «как увязывается водочная монополия и борьба с алкоголизмом?» тов. Сталин ответил следующее: «Я думаю, что их трудно вообще увязать, здесь есть несомненное противоречие. Партия знает об этом противоречии, и она пошла на это сознательно, зная, что в данный момент допущение такого противоречия является наименьшим злом. Когда мы вводили водочную монополию, перед нами стояла альтернатива: либо пойти в кабалу к капиталистам, сдав им целый ряд важнейших заводов и фабрик, и получить за это известные средства, необходимые для того, чтобы обернуться, либо ввести водочную монополию для того, чтобы заполучить необходимые оборотные средства для развития нашей индустрии своими собственными силами. Члены ЦК, в том числе и я, имели тогда беседу с Лениным, который признал, что в случае неполучения небходимых займов извне, придется пойти открыто и прямо на водочную монополию, как на временное средство необычного свойства. Вот как стоял перед нами вопрос, когда мы вводили водочную монополию.

Конечно, вообще говоря, без водки было бы лучше, ибо водка есть зло. Но тогда пришлось бы пойти временно в кабалу к капиталистам, что является еще большим злом». И дальше: «Значит ли это, что водочная монополия должна остаться у нас в будущем? Нет, не значит, водочную монополию ввели мы как временную меру. Поэтому она должна быть уничтожена, как только найдутся в нашем народном хозяйстве новые источники для новых доходов на предмет дальнейшего развития нашей промышленности. А что такие источники найдутся, в этом не может быть никакого сомнения»[1].

Если на фронте промышленности и на фронте пролетарской культуры, благодаря правильной политике партии, уже найдены те новые и мощные ресурсы, которые в своем живом диалектическом движении, в своем непрерывном становлении будут душить алкоголизм «на корню», то, в порядке самокритики, необходимо отметить, что на фронте социалистического здравоохранения в вопросе борьбы с алкоголизмом не все благополучно. До сих пор невро-психиатрические отделения единых диспансеров (правда, сравнительно недавно организованные) не развернули в достаточной степени основное, ведущее звено своей работы. Мы этим отнюдь не хотим смазывать всего того большевистского и ценного (в области теории и практики), что уже сделано. Мы хотим только подчеркнуть то обстоятельство, что недоучтена проблема темпа, «которая является решающей» (Молотов), что внутренние ресурсы невро-психиатрических отделений мобилизованы недостаточно на антиалкогольном участке. Если так будет продолжаться дальше, то для правых оппортунистов и для левых загибщиков найдется достаточно материала для подчеркивания своих «правильных» позиций. А между тем только система единого диспансера, единственная система, отвечающая в основном задачам социалистического здравоохранения, дает широчайшую перспективу для успешной борьбы с алкоголизмом, ибо только эта система обеспечивает правильную и емкую взаимообусловленность вопросов узко-медицинского порядка с бытом и производством. И поэтому чем скорее невро-психиатрические отделения единых диспансеров будут поворачиваться «лицом к алкоголизму», как к основному социальному злу в своей области, тем скорее будет разрешаться не только лечебная борьба с алкоголизмом, но и вся методика органической увязки медицинской теории и практики. Когда весь широко разветвленный и детализированный аппарат единых диспансеров, через щупальцы участковости, обследований, непосредственного внедрения в быт и т. д., будет впитывать в себя патологию алкоголизма—тем все более правильнее разрешение будет получать сама проблема. Ибо «единый диспансер представляет собой такой этап в развитии диспансеризации, когда специальные диспансеризации по отдельным патологическим формам и возрастам перестают быть разрозненными и об'единяются в виде единого диспансерного обслуживания всего организма»[1].

К этому определению Оппенгейма мы добавим от себя, что только в системе единого диспансера может быть обслужен весь алкогольный организм целиком. Некоторые работники наркодиспансеров, оторвавшиеся от об-

[1] „Вопросы ленинизма". ГИЗ. 1930 г., стр. 381—382.

[1] Д. Г. Оппенгейм, „Реконструкция здравоохранения и единый диспансер". М. 1930 г., стр. 13.

щей невропсихиатрической профилактики населения, в свое время решительно протестовали против включения себя в общую диспансерную систему. Жизнь жестоко наказала их за это. В одной из своих статей Д. Г. Оппенгейм совершенно правильно отметил, что и это обстоятельство было одной из причин кризиса наркодиспансеров[1].

Необходимо в срочном порядке те успехи, которые уже имеются у невропсихиатрических отделений и у некоторых специальных институтов, закреплять и углублять. Основная задача заключается в том, чтобы правильно мобилизовать внутренние ресурсы и двинуть их в антиалкогольное русло (этим понятию не ослабляя других многочисленных исследовательских и практических проблем психо-неврологии, чрезвычайно актуальных и требующих быстрого и четкого разрешения).

Мы считаем, что районные общества борьбы с алкоголизмом должны включиться в санпросвет-звенья невро-психиатрических отделений единых диспансеров; они должны стать штабами не только антиалкогольной, но и гораздо шире — психопрофилактической и психогигиенической пропаганды. От такой реконструкции они только выиграют, ибо они тотчас же получают колоссальную помощь от всего аппарата единого диспансера в целом. Единый диспансер также выиграет на этом деле, так как у районных обществ борьбы с алкоголизмом накопился интересный и ценнейший опыт санпросвет. и организационных установок.

Тема реконструкции общества борьбы с алкоголизмом — перевода его на более широкие психогигиенические и психопрофилактические рельсы, наиболее отвечающие задачам реконструктивного периода, требует особого рассмотрения, не входившего в задачу нашей статьи. К этому вопросу авторы надеются вернуться.

Чем скорее произойдет эта реконструкция, фактически заключающаяся во «взаимопроникновении», — тем будет лучше.

Для всех сомневающихся в широчайших антиалкогольных перспективах приведем пятилетку строительства амбулаторно-диспансерно-невро-психиатрической помощи Московской области:

	1928-29 г.	1929-30 г.	1930-31 г.	1931-32 г.	1932-33 г.
Невропатологи и психоневрологи в амбул. и един. диспансерах	97	108	118	130	137
Психиатры районные и в един. диспансерах	15	26	36	48	55
Наркологи (наркол. нарп. и в един. диспанс. .	41	41	62	74	81
Итого . . .	153	175	216	252	273

На фоне этих цифр тем более нелепым становится утверждение упорствующих наркологов, пророчествующих грядущую гибель антиалкогольной проблемы в недрах единых диспансеров. Некогда д-р Шоломович утверждал, что всякий чуткий терапевт может успешно заниматься вопросами наркологии. Мы сейчас хотим забыть о том, что утверждение это было тактическим приемом для отрыва наркологии, как самостоятельной дисциплины, от психиатрии. Наоборот в свете реконструктивных задач советского здравоохранения, учитывая могучую систему единых диспансеров, углубляющую и развивающую свою методику лечебно-профилактического воздействия на весь организм в целом — мы сами воспользуемся этими «чуткими терапевтами». Если подсчитать грубо-арифметически, каков будет эффект воздействия наркологов в невро-психиатрических отделениях, помноженный на весь аппарат единого диспансера, на сужение радиуса воздействия, на приближение помощи на дому, возможность получения квалифицированной консультации тут же под руками, в стенах самого же диспансера и т. д., — то тогда все утверждения д-ра Шоломовича А. С. будет бить не только алгебра социалистической реконструкции здравоохранения, но и ее простейшая арифметика.

Если упорствующие наркологи не поймут всей срочной необходимости перехода на новые рельсы, то на их долю останется только лечение алкоголиков экстрактом мацерации лягушек по ложке 2 раза в день, как это происходило несколько столетий тому назад. К такой «эффективности» неизбежно приводит любой отрыв.

Большинство буржуазных исследователей алкоголизма выдвигает теорию биологически

[1] Московский медицинский журнал, № 9 1930 г., стр. 18.

присущей человеческому организму наркологической эйфории; тяги к вину; к наркотикам. Отсюда их пессимистические выводы; их неверие в окончательную победу над алкоголем. С их точки зрения бесплодны попытки борьбы с алкоголизмом на протяжении долгих тысячелетий; эта бесконечная цепь поповских проповедей, запретительных мер, морального воздействия, бытовых ограничений и т. д. — все это мыльная пенка над бушующим тысячелетним алкогольным морем. Психиатры выдвигали десятки теорий, прикрывающих дымовой эндогенной завесой (циклофрения, эпилепсия, психогенное предрасположение, наследственность и психическая зараза и т. д.), этот «имманентный» наркологический рефлекс. В результате получился своеобразный «категорический императив» в широкой и многогранной области наркологии. Лучшие и наиболее дальновидные представители буржуазной психиатрии (Крепелин) с горькой иронией констатировали свое бессилие не перед имманентной биологической привычкой, а перед мощными натисками алкогольного капитала.

Нам кажется: алкогольная проблема будет разрешена в иной плоскости. Пути зарождения и развития алкоголизма гениально наметил Маркс в «Нищете философии»: «хлопок, картофель и водка представляют собою наиболее распространенные предметы потребления. Картофель породил золотуху; хлопок в большинстве случаев вытеснил лен и шерсть, хотя эти последние продукты во многих отношениях, например, с чисто гигиенической точки зрения, гораздо полезнее хлопка; наконец, водка взяла верх над пивом и вином, хотя, по общему признанию, водка, как предмет потребления, оказывается ядом. В течение целого века правительства тщетно боролись с этим европейским опием. Экономика победила: она продиктовала свои законы потребления.

Почему же хлопок, картофель и водка стали краеугольным камнем буржуазного общества? Потому что их производство требует наименьшего труда, и они имеют, вследствие этого, наименьшую цену. А почему минимум цены обусловливает максимум потребления? Уже не вследствие ли абсолютной, внутренней полезности дешевых предметов, их способности наилучшим образом удовлетворять потребности рабочего как человека, а не человека как рабочего? Нет, это потому, что в обществе, основанном на нищете, самые нищенские продукты имеют роковое преимущество служить для потребления широких масс населения» [1]. Алкоголизм вырос, окреп и развился на нищенстве. Все остальное, от циклофрении до психической заразы — только психиатрическое производное, которое в свою очередь могло обладать своеобразной качественностью в диалектике эволюции алкоголизма (вспомним закон Маркса об обратной соответственности базиса и надстройки).

Наркологический ряд от водки до опия приобретает, в свете этой марксовой цитаты, принципиально иное об'яснение. Нельзя отрицать того обстоятельства, что буржуазные экономисты и психиатры не понимали роли экономического фактора в алкогольной проблеме. Больше того, любой честный буржуазный экономист и психиатр лучше кого-либо другого в своей непосредственной практике чувствовали эту проклятую «взаимообусловленность» алкогольного капитала и психической заразы. Но в противовес советской социалистической экономике — они не видели выхода из алкогольного тупика.

В социально-гигиеническом исследовании Гуревича и Затевского приведена интереснейшая сводка самых разноречивых мнений по поводу хотя бы пресловутого американского запрета 1920 г. Характерно, что по данным одного из наиболее компетентных периодических изданий по вопросам алкоголизма: «Alcohol-frage» в Америке в отчетном 1926—27 г. были внесены постановления о штрафах в размере 42 млн. долларов и тюремные штрафы в общей сложности на 22 500 лет. Из 223 507 человек, нарушивших алкогольный закон, освобождено только 9 666 человек. Если учесть продажность американской полиции и всю сложную систему буржуазной алкогольной контрабанды в САСШ, то тогда станут понятными и четверть миллиона контрабандистов на фоне этого «благодетельного» буржуазного запрета; экономические корни американского «процветания», пессимизма большинства серьезных исследователей этого вопроса. Картина этого американского антиалкогольного благополучия может быть дополнена данными проф. Розенштейна Л. М., получившего материал, так сказать, «из живых рук» (во время своего пребывания на международном психогигиеническом с'езде в Америке). Он пишет: «в 1929 г. было арестовано 1.186 тысяч галлонов водки, 3½ млн. галлонов пива, 26½ млн. вина; захвачено около 8 тысяч вагонов и 89 пароходов; аресты сопрово-

[1] Маркс и Энгельс, V, 325.

ждались убийствами, ранениями; арестовано было свыше 60.000 человек [1]. Такое положение на американском антиалкогольном фронте проф. Розенштейн характеризует «как настоящую войну». Совершенно правильно! Законы буржуазной экономики после антиалкогольного запрета неизбежно должны были вызвать военные действия. Нищие массы отстаивают с оружием в руках свое право на нищенские продукты. В недрах капиталистической экономики для масс нет иного выхода. Социалистическая экономика обладает принципиальной иной направленностью. Глубочайшая сущность этой направленности заключается в том, что она будет удовлетворять потребности не «рабочего», как человека, а «человека как рабочего».

Поскольку социалистическая система экономики еще находится в первичном этапе своего развития; поскольку у нас еще живы остатки капиталистического строя — постольку у нас и существует еще алкоголизм. Это в основном (мы сейчас не принимаем в расчет других многочисленных об'ективных причин). Живучесть алкоголизма, в условиях социалистического строительства, требует быстрой и решительной контратаки всего фронта советской психоневрологии. Крепелин главу об алкоголизме закончил лозунгом:

« Мы, психиатры, призваны к тому, чтобы быть на передовой линии, призваны к тому, чтобы активно помочь только что трактованную главу передать истории» [1].

Невро-психиатрия! на линию огня! Наступление обеспечено! Огневые припасы антиалкогольной, теоретической и практической подготовки, психо-санпросветразведки и окончательного антиалкогольного штурма в близком социалистическом будущем будут бесперебойно передаваться на фронт всей советской общественностью, тесно спаянной с системой социалистического здравоохранения. Ибо в ней залог нашей победы, нашего оптимизма.

---

[1] Из стенографического отчета-доклада проф. Розенштейна в московском обществе борьбы с алкоголизмом.

[1] Kraepelin und Lange, 1927, 588

Ловцы трепанга

Петр Сахаров

Далеко на востоке, в заливе Петра Великого есть маленький, хорошо защищенный от непогоды остров Энгельм, названный так в честь какого-то давно забытого полководца. Остров так мал, что его можно обойти кругом в пятнадцать минут. Он не указан почти ни на одной карте. Его имя неизвестно даже большинству жителей города Владивостока, от которого он находится на расстоянии всего около тридцати километров.

Остров Энгельм служит базой для ловцов трепанга, работающих по договору с Дальгосрыбтрестом.

Трепанг — небольшое морское животное, один из видов голотурии. Русские рыбаки называют его «морским червем». Весной и осенью трепанг перекочевывает огромными стадами из недр Японского моря ближе к берегу. Точно не установлено, чем вызвано это передвижение. Может быть спокойные и неглубокие бухты и заливы более благоприятны для метания икры. Возможно также, что в это время года он находит в прибрежной полосе более привлекательную и обильную пищу.

Жизнь этого странного подводного существа трудно поддается наблюдению. Сведения о нем чаще поступают от водолазов, которым не всегда можно верить. Еще не удалось вырастить трепанга в искусственной обстановке. Неизвестно, чем он питается, вернее всего мельчайшими морскими животными и ракушками, которых всасывает вместе с песком. Кое-кто из водолазов уверяет, что находили особенно жирных трепангов там, где лежало вялое, как опустошенный мешок, обезображенное тело утопленника...

Своим внешним видом трепанг напоминает диковинный тропический фрукт, нечто вроде темнокоричневого банана. Спина и бока у него усеяны небольшими, упругими, как резина, отростками. У него нет глаз и ушей. Ту часть тела, где находится роговое отверстие, принято считать головой. Рот окружен чувствительными щупальцами, похожими на лепестки гвоздики. Лепестки свертываются и скрываются при малейшем беспокойстве. Брюшко покрыто многочисленными присосками. С их помощью трепанг укрепляется на камнях, или медленно двигается по морскому дну, сжимаясь и подтягивая отстающую часть тела.

Трепанг экспортируется Дальгосрыбтрестом в Китай.

В «Стране четырехсот миллионов» этот невзрачный червяк считается чуть ли не самой изысканной пищей. Тибетская медицина приписывает ему различные целебные качества. Существует мнение, что он, как и корень женьшень, помогает при половом бессилии, малокровии и общем упадке сил. Уверяют, что он незаменим при некоторых эпидемических заболеваниях.

— Человек, который ест трепанга, никогда не заболевает цынгой, — говорил мне водолаз Шняма.

Китайские гастрономы приготовляют из трепанга шесть блюд. Наиболее распространенное из них — «Цин-тан-хай-шень»: трепанг варится в супу из курицы, куда кладут кроме того жареное яйцо, бамбуковые побеги и черемшу. Ценность таких кушаний определяется прежде всего качеством трепанга.

Кули или крестьянин не знают изысканных блюд, какими лакомится аристократия. Но и для бедняка трепанг является желанной пищей. Почти в любой китайской семье найдется несколько штук сухих трепангов, припрятанных к празднику, или на случай болезни кого-либо из родных. В сухом виде трепанг сохраняется

в течение двух-трех лет. Надо только беречь его от сырости.

За несколько минут до восхода солнца мы покинули остров Энгельм.

Осенний ход трепанга только еще начинался и это был первый выход ловцов на работу. Нам предстояло выяснить, куда направляется трепанг и где предвидится наибольшее скопление его. Никто не был уверен, что из этой поездки мы вернемся с добычей. Первый выход в море посвящается обычно разведке, испытанию водолазного снаряжения и проверке личного состава трепанголовов.

Кунгас японского типа напоминает половинку грецкого ореха. На первый взгляд он кажется неуклюжим и громоздким, но благодаря хорошо стренированной команде развивает скорость до десяти километров в час. Фальшивые борта, похожие на крылья, делают его чрезвычайно устойчивым. Его не опрокинет никакой шторм.

Сперва мы двигались с помощью вращающегося весла «юли-юли». Когда вышли в открытое море, водолаз, который был на этом крохотном суденышке за капитана, приказал поставить парус. Над кунгасом взвился огромный лоскут, сшитый из разноцветных тряпок. Мы плавно понеслись вдоль берега.

Команда кунгаса состоит из восьми человек. Кроме водолаза, есть сигнальщик, рулевой и пять матросов. Все они — корейцы, за исключением японца Шиямы, о котором стоит поговорить подробнее.

На Дальнем Востоке трудно найти водолаза лучше Шиямы. Имя его известно и за пределами нашего Союза. Корейские и японские предприниматели не раз пытались переманить его на свои промыслы. Шияме обещали прекрасный заработок, подсовывали на подпись договоры, разукрашенные ослепительными цифрами наградных и премиальных.

— Мне и здесь хорошо, — неизменно отвечал он, — я не хочу скакать с места на место, как жадная блоха!

Третий год Шияма занимает первое место среди ловцов трепанга. Его добыча по качеству и количеству выше чем у других водолазов. Дальгосрыбтрест ежегодно устраивает соревнования и соперники Шиямы неизменно терпят поражения. После одного из таких соревнований Шияма получил золотые часы. Он не расстается с ними даже под водой.

Наш кунгас скользил близ скалистого берега какого-то островка, когда Шияма скомандовал:

— Долой парус!

Кунгас пробежал еще несколько метров и замер. Море было гладким и сияющим, как лист бумаги на чертежном столе.

Шияма готовился к спуску. Он надел теплое белье, две пары шерстяных чулок и фуфайку.. На дне моря даже летом бывает очень холодно. Обычно, чем больше глубина предполагаемого спуска, тем теплее одевается водолаз.

Солнце слегка припекало. Матросы скинули рубахи и сидели на корме, спустив босые ноги в воду. Это еще более подчеркивало необычность маскарада Шиямы. Когда же он с помощью сигнальщика и одного из матросов надел водонепроницаемый костюм с каучуковым воротником, то выглядел совсем курьезно. Он напоминал детскую резиновую куклу. Сходство усугублялось тем, что Шияма, как и большинство японцев, был чрезвычайно мал ростом.

— Становись к насосу! — крикнул матросам сигнальщик.

Шияма неуклюже направился к борту. Доски кунгаса гнулись и скрипели под ним. Когда он сошел по лесенке в воду до пояса, сигнальщик всунул его голову в шлем из тонкой, кованой меди, с тремя круглыми окнами. Кто-то из матросов подал «крючок» — длинный железный прут с загнутым концом, и сетчатую сумку. Крючком водолаз подхватывает со дна трепанга. Сумка вмещает до восьмидесяти килограмм добычи, причем водолаз почти не чувствует под водой ее тяжести.

— Давай воздух! — приказал сигнальщик.

Засопел пневматический насос.

Шияма сошел в воду, задержался на секунду, как бы обдумывая, какая манера спуска произведет на зрителей большее впечатление. Затем быстро оттолкнул лесенку и остановился в двух-трех метрах от нее, на поверхности моря. Куда девалась его неуклюжесть! В воде он чувствовал себя, как акробат на арене цирка. Его движения были легки, уверенны и красивы. Воздух со свистом вылеетл из-под шлема, и, с поднятыми над головой руками, Шияма пошел ко дну. Там, где он скрылся, вода кипела, как лимонад.

— Смотри, — сказал мне сигнальщик, — вот он идет по дну, видишь?

Вода здесь необычайно прозрачна. Солнечные лучи проникают до самого дна. Фигура Шиямы казалась сверху до смешного короткой

и временами растворялась в изменчивой глубине, как огрызок сахара.

Шияма держался на дне так, словно родился с медным шлемом на голове и со свинцовым грузом на ногах. Он изучил все тонкости своего капризного костюма.

Основное в работе водолаза — уменье комбинировать воздухом. Это труднее всего дается новичкам. По давлению на уши и по отзвукам работающего насоса надо быстро сообразить, сколько в этот момент имеется воздуха. Если водолаз на несколько секунд потеряет контроль над поступающим воздухом, это внесет в его движения неточность и помешает работать. Новичок в такой момент теряется, почва уходит у него из-под ног, он забывает выпускать воздух и, как пробка из детского пистолета, выскакивает на поверхность. Чаще он отделывается только испугом. Но если у него неважное сердце, или не в порядке легкие, дело может кончиться гораздо хуже.

В поисках добычи Шияма ходит по дну гигантскими шагами. Как фантастический человек на луне, он грациозно перелетает сразу на пять-шесть метров.

— Шияма может «висеть» в воде, — рассказывает сигнальщик, — не каждый водолаз сумеет сделать это!

Он об'ясняет: если Шияме надо снять трепанга, находящегося высоко на отвесной скале, он набирает воздух и отрывается от дна. Приблизившись к добыче, выпускает часть воздуха и держится на одном месте, окруженный со всех сторон водой, без точки опоры. О достоинствах водолаза часто судят по тому, умеет ли он «висеть» в воде.

В разгар сезона, когда в некоторых заповедных местах трепанг большими гнездами покрывает дно, Шияма часто работает с рассвета до вечера. Только два-три раза в день он поднимается наверх, ест, курит и несколько минут отдыхает. Чем больше будет добыто трепанга, тем выше заработок Шиямы и сопровождающей его команды.

Работать несколько часов без отдыха можно только на глубине до двадцати пяти метров. На большей глубине неосторожный трепанголов рискует заболеть от чрезмерного напряжения. Бывали случаи, когда водолаза замертво вытаскивали на поверхность. На наших промыслах подобных несчастий не было. У берегов советского Дальнего Востока трепанг ловится на небольшой глубине, всего до тридцати метров. Зато в Корее и Японии, где приходится работать на глубине до шестидесяти метров, ни один сезон не проходит без жертв. Не спасает даже то, что там водолазы меняются через каждые пятнадцать минут.

— Качай сильнее! — крикнул сигнальщик.

Матросы с таким усердием нажали на насос, что кунгас запрыгал, как на пружинах. Это означало, что Шияма поднимается и ему надо подать больше воздуха, чтобы удачно завершить под'ем. Забурлила вода и на поверхность всплыла медная голова.

Через минуту Шияма сидел на ступеньке лестницы и протягивал сумку, наполненную разнообразной добычей. Были здесь раковины, — длинные, похожие на купеческий кошелек, и плоские, с кружевными краями. Матросы разбивали их о борта кунгаса и с наслаждением поедали скользкую, бело-розовую массу.

Среди раковин лежало несколько трепангов. На них неприятно было смотреть. Их внутренности тянулись за ними, как малыши за юбкой матери. Корейцев это не смущало. Они были рады: поимка трепангов доказывала, что сезон действительно начался и они напали на верный след. Шияма внимательно осматривал берег, запоминая место своего первого спуска.

Меня удивило, что в сумке, вместе с трепангами и раковинами, лежали две камбалы с распоротыми боками и зубастый урод — морской ерш.

— Откуда взялась рыба? — недоумевал я.

Шияма, с которого уже сняли шлем, улыбнулся и показал на крючок. Оказывается, рыба, привлеченная внутренностями, выброшенными трепангом, ходит за водолазом большими стаями. Часто она мешает работать и приходится раньше времени отправлять наверх неполную сумку, привязанную к сигнальной веревке.

Водолаз налету прокалывает камбалу или ерша крючком, подтягивает к себе и складывает в сумку, вместе с другой добычей. Конечно, этот прием недоступен для новичков.

Когда я стоял на лесенке, готовой к спуску, и шлем взвизгнул, запечатывая мою голову, у меня было такое впечатление, словно за мной захлопнулась дверь тюрьмы.

Я прошел всю лестницу и повис под водой, держась руками за последнюю ступеньку. Кунгас отбрасывал глубокую тень и вокруг было темно. Я нажал головой клапан внутри шлема, выпустил из рук лестницу и плавно пошел вниз.

Спуск проходил в полной тишине. Временами казалось, что я не двигаюсь ни вверх ни вниз. Вокруг была зеленоватая муть, похожая на густой туман. Это меня озадачило: «Если и внизу будет также, то я ничего не увижу...» Я посмотрел вниз и почти тотчас же увидел песчаное поле, усеянное раковинами и мелкими камнями. Дно было желтого цвета. После тусклой окраски воды, эта желтизна казалась необычайно яркой.

Ноги коснулись дна и, к моему изумлению, легкий толчок заставил меня согнуться наподобие вопросительного знака, затем подбросил вверх, откуда я спустился головой вниз. Совершенно непроизвольно я проделал сложный акробатический фортель и лег животом на дно. Нужно было удержаться в этом положении, чтобы несколько освоиться с коварными особенностями подводного путешествия. Я почти непрерывно нажимал клапан и выпустил огромное количество воздуха. Это приклеило меня ко дну, как муху к липкой бумаге. С большим трудом я поднялся сперва на четвереньки, затем выпрямился, шатаясь и сгибая колени, как человек, впервые после долгой болезни покинувший постель.

Взгляд проникал на расстояние не больше шести метров в окружности. Дальше постепенно сгущалась зеленая муть. Большие, яркокрасные, с синими узорами морские звезды лежали на песке. Они медленно шевелили щупальцами, принимая форму то римской десятки, то правильного креста, то фашистского знака. Никогда раньше я не видал таких громадных звезд! Недоумение мое вскоре рассеялось, и я понял, что это оптический обман: окна шлема и водяной пласт работают не хуже увеличительного стекла. На самом деле звезды были вдвое меньше.

Ежеминутно опускаясь на четвереньки, чтобы удержаться на дне и избежать акробатических упражнений, я тронулся в путь.

Тишина нарушалась лишь ритмичным посвистыванием воздуха, поступающего сверху, да шипением спускного клапана. Бесшумно плыли какие-то рыбы. Они вяло шевелили плавниками, часто останавливались и замирали, как неживые. Казалось, они не замечают меня. Я чуть не наступил на уродливую камбалу, которая была такого же цвета, как и камни под ней. Камбала лениво отодвинулась на несколько дюймов и снова застыла.

Только однажды мое присутствие произвело некоторый эффект. Я увидел гибкую черную рыбу, не менее метра длиной. Голова, хвост и плавники были угловаты, словно отлиты из чугуна. Она повисла над моей головой, нервно шевеля острым хвостом. Не успел я как следует разглядеть ее, она перевернулась вверх брюхом и стремительно направилась ко мне. Я похолодел: «Акула!» Мелькнула открытая пасть. Я хотел ударить по ней кулаком, но промахнулся. Хищница скрылась...

Она не могла причинить мне вреда. Я вспомнил слова трепанголовов о мальках акулы, которые воспитываются вблизи берегов. Водолазы встречают их десятками. Но взрослые хищницы держатся всегда в открытом море и не подходят близко к берегу. Мое волнение улеглось, и я выпустил из рук сигнальную веревку, которую собирался было дергать. Маленькая акула следовала за мной, внезапно появляясь из туманных глубин и также внезапно исчезая. Ее присутствие уже не пугало меня.

Чем дальше я подвигался, тем заметнее менялся характер дна. Под ногами густым слоем лежали мелкие камни и раковины. На небольших каменистых возвышениях, обросших скользкой плесенью, лежали скелеты морских ежей, похожие на японские чашечки, украшенные драгоценными камнями. Живые ежи ползали тут же, цепляясь черными колючками за скудную растительность.

Каменистое дно привело меня в чащу водорослей. Я шел как в сказочном лесу. Водоросли были всевозможных оттенков и форм. Одни — белые и прозрачные. Другие — сизые, как струйки табачного дыма, красные, словно языки пламени, зеленые, синие, лиловые... Они сплетались, образуя арки, беседки, ниши. Между ними кое-где оставалось свободное пространство и там мое появление вызывало переполох. Тысячи крошечных крабов, червей, улиток спешили скрыться под защиту тенистых водорослей. Мои свинцовые подошвы доставляли им большие неприятности. Рыбы по-прежнему не обращали на меня внимания. Они медленно пробирались сквозь пеструю чащу, напоминая диковинных птиц в тропическом лесу.

Внезапно очарование было нарушено. Кто-то дергал меня за пояс... Я быстро оглянулся, ожидая увидеть какое-нибудь морское существо. Но за спиной никого не было. Длинный шланг извиваясь уходил ввысь. Рядом тянулась сигнальная веревка. Она колебалась, тревожа мой пояс. С кунгаса передавали, что пора подумать о возвращении.

Двадцать семь кунгасов Дальгосрыбтреста вернулись на остров Энгельм с неполным грузом. Зато удалось выяснить, куда направляется трепанг и где предвидится наибольшее скопление его.

Наш кунгас пришел на базу одним из последних. На берегу уже лежали груды вычищенного и вымытого трепанга, приготовленного к варке. Огромные котлы, вмещающие до четырехсот килограмм сырой продукции, были ярко вычищены. Под ними лежали сухие поленья, готовые вспыхнуть в любую минуту.

Вечером, когда улеглась суматоха, вызванная прибытием кунгасов, я пошел в гости к трепанголовам. Они жили в крохотном поселке здесь же, на острове.

Большинство рабочих промысла — корейцы. Эти люди считаются лучшими на востоке ловцами трепанга. В Корее, где промысел на трепанга существует с древнейших времен, есть специальные школы трепанголовов. В настоящее время корейские воды сильно опустошены хищническими набегами многочисленных предпринимателей.

Кроме корейцев, в поселке на острове Энгельм есть несколько китайцев, японцев и русских. За все время существования базы Дальгосрыбтреста был только один конфликт между представителями различных национальностей. О нем мне рассказывали так:

«Матрос-кореец ухаживал за русской поварихой. Около нее увивался также русский водолаз, большой пьяница и буян. Повариха отдала предпочтение корейцу. Когда водолаз стал упрекать ее, она отрезала: «Я не хочу путаться с таким пьянчужкой, как ты». Водолаз вспылил и стал бранить ее и счастливого соперника. «Я проучу этого корейца! — грозил он, — забрался к нам, да еще наших девчат обрабатывает!» Почти ежедневно он напивался и бегал по острову с ножом, ища спрятавшегося корейца. Водолаза пришлось уволить и отослать на материк. Повариха вскоре вышла замуж за корейца».

Среди кое-как сколоченных из досок домиков поселка возвышается палатка культорганизатора, похожая на снежную горку для катанья на санках. Внутри земля укатана и посыпана желтым песком. Сквозь слюдяные окна, вставленные в брезент, свободно проникают солнечные лучи. На столе в живописном беспорядке лежат брошюры, журналы и газеты, испещренные замысловатыми иероглифами.

При моем появлении из-за стола, где сидело несколько человек, поднялся пожилой кореец с бородкой, похожей на восклицательный знак.

— У нас урок, — сказал он, — но вы можете посидеть, скоро кончим.

Я опустился на край скамьи. Урок продолжался. Один из учеников водил пальцем по иероглифам и медленно читал вслух. Остальные писали кисточками, обмакивая их в пузырьки с тушью.

После урока я познакомился с одним из учеников. Это был молодой кореец, худой и длинный, как весло. Он показал мне свои тетрадки. Первые страницы были перепачканы и перечеркнуты, словно все иероглифы передрались между собою. На последних страницах была идеальная чистота. Четкие, написанные уверенной рукой знаки стояли плечо к плечу, как на параде.

Ученик плохо говорил по-русски. Он пытался сказать мне что-то, отчаянно уродовал русские слова и смущенно улыбался. На помощь пришел культорганизатор, который быстро понял его и перевел:

— Ни Пен Чири хочет сказать, что очень доволен своими успехами. Он говорит: в Корее ему никогда не удалось бы научиться читать и писать, а здесь, в чужой стране, он приобрел и то, и другое...

Первое время корейские рабочие относились недоверчиво к попыткам втянуть их в учебу. На родине, где их преследовала нищета, им нельзя было и мечтать о грамоте. В Корее ученье стоит денег. Подобную роскошь могут позволить себе только обеспеченные люди. Когда корейцы убедились, что здесь хотят серьезно заняться их образованием, среди них не нашлось ни одного, кто отказался бы посещать уроки.

Мне хотелось познакомиться с японцем Уссэ-Иозо, который около сорока лет работал водолазом. Старческая слабость заставила его отказаться от подводных скитаний и теперь он возглавлял мастерскую по ремонту водолазного снаряжения. Мне говорили, что он знает много любопытных историй про обитателей морского дна.

— Попросите его рассказать о спрутах. Это его любимая тема, — посоветовал заведующий базой.

Уссэ-Иозо встретил меня на пороге своей мастерской. Он был так мал ростом, что не мог

достать ногами земли, когда садился на табуретку. Его белая, коротко подстриженная голова была изрезана глубокими морщинами. С длинной трубкой в зубах и детским вязаным колпачком на голове он напоминал легендарного гнома. Увлекшись разговором или работой, он машинально дергал головой вправо, как бы нажимая спускной клапан в шлеме. Эта привычка сохранилась у него несмотря на то, что он уже лет пять не надевал водолазного костюма.

Он вынес табурет и предложил мне японскую сигарету с позолоченным мундштуком.

— О спрутах я могу сообщить кое-что. Мне, как и другим трепанголовам, не раз приходилось встречаться с ними.

Уссэ-Иозо говорил тихо, слегка коверкая русские слова.

— Спрут любит маленькие спокойные бухты, где отвесный берег и скалистое дно. В таких же бухтах наши ловцы находят лучшие сорта трепанга. Живут спруты небольшими обществами. Они так ловко подделываются под окружающую обстановку, что их не сразу заметишь. И цветом, и формой они напоминают камни, к которым присосались.

— По поручению научно-промысловой станции я несколько раз наблюдал за спрутом. Мне удавалось незаметно приблизиться к нему, прячась за выступы подводных скал. Спрут очень хитер. Он знает, что не каждый день удастся захватить хорошую добычу и, подобно белке, делает запасы на случай голодовки. Он собирает мелкие ракушки и складывает их в какой-нибудь подводной пещере. Утоляя голод скромными ракушками, он сидит в пещере и ждет, когда подвернется более лакомая пища. Однажды я был свидетелем любопытной сцены. Спрут забрался в расселину между камней и протянул вверх одно из щупальцев. Я не сразу разгадал его уловку. Щупальце возвышалось над камнями, подобно подводному растению. Оно даже приняло зеленый оттенок. Верхняя часть была не толще обыкновенной бичевки и застыла в слегка изогнутом виде. Мимо плыла какая-то рыбешка. Она лениво приближалась к щупальцу, которое еле заметно склонялось ей навстречу. Терпеливый охотник осторожно перекинул щупальце через спину рыбешки. Получилось нечто вроде петли, которая внезапно потолстела, захлестнула добычу и утащила ее под камни.

— Для водолаза опасны лишь особенно крупные спруты, которые весят от полутораста до трехсот килограмм. Такой великан может задушить своими щупальцами, прежде чем водолаз выберется на поверхность. Большие спруты встречаются чрезвычайно редко. За сорок лет работы я только раз видел издали подобное чудовище. Чаще попадаются спруты весом до сотни килограмм. Эти неопасны водолазу. Даже больше того — водолаз сам охотится за ними. Мясо спрута по вкусу напоминает белые грибы и ценится очень дорого. Русские брезгуют этой пищей. Наши японцы, а также корейцы и китайцы с наслаждением поедают его.

— Моя первая встреча со спрутом произошла в Японии. Я очень испугался и хотел было дернуть сигнальную веревку. Но наверху меня ждали упреки и насмешки... Тогда я вспомнил кое-какие приемы борьбы со спрутом, о котором говорили старшие водолазы, и храбро пошел навстречу щупальцам, направленным в мою сторону. Спрута раздражало мое присутствие, о чем можно было судить по быстро меняющейся окраске его тела: из пепельно-серого оно стало молочно-белым, затем зеленым, затем и сине-черным, как налитые кровью вены... Я закрыл спускной клапан и оттолкнулся от дна. Стремительно перелетая через спрута, я проткнул крючком его голову. Он тотчас же выпустил «чернила». Второпях крючок выскользнул из моих рук. Спрут обхватил щупальцами мои ноги, но не успел присосаться. Я свободно пошел наверх. На полпути я решил вернуться и посмотреть, что сталось с моим противником. Он был в агонии... Его щупальцы корчились, тщетно пытаясь зарыться в песок или укрыться под камни. Я подождал, пока он застынет, затем привязал сигнальную веревку к одному из щупальцев и подал сигнал, чтобы нас подняли.

— Никогда я не испытывал более геройского сознания, чем в тот день. Впоследствии я участвовал в более рискованных операциях, но это торжество было неповторимо. Помню, желая похвастаться своей удалью перед друзьями, я давал спруту обвить щупальцами мое тело и в таком виде вытаскивал его живьем на поверхность. Этот фокус не так страшен, как покажется непосвященному человеку. Костюм из плотной резины не позволял спруту причинить мне вред. Даже будучи связан по рукам и ногам, я был далек от гибели. Надо только не нажимать головой спускной клапан в шлеме, и могучим напором скопившегося воздуха меня выбрасывало на поверхность

вместе со спрутом. Наверху друзья отрубали щупальцы и освобождали меня.

— Спрут очень упрям. Если ему удастся достаточно крепко захватить добычу, он никогда не выпустит ее. Однажды я увлекся сбором трепанга и незаметно подошел к спруту. Он метнул одно из щупальцев и обвил мою ногу. Я растерялся и в тот же миг правая рука была скована другим щупальцем. Оставалось только набрать воздух и поспешить наверх, что я и сделал. Но спрут не отпускал ни меня, ни камень, за который держался. Мы так втроем и поднялись: я, спрут и камень, весивший не менее пяти пудов.

...Мы просидели у порога мастерской всю ночь. Уссэ-Иозо был неутомим, когда разговор касался подводных приключений.

Ловля трепанга существует в заливе Петра Великого с начала прошлого столетия. Когда русские впервые в 1861 году пришли на дальневосточное побережье, они застали здесь китайских и корейских трепанголовов. Вся добыча отправлялась за границу, преимущественно в Китай.

В 1908 году царское правительство запретило иностранцам облавливать наши воды. Этим делом могли заниматься только русские. Однако отечественные предприниматели отнеслись к трепангу с предубеждением:

— Нечистое дело! — брезгливо говорили они, — не годится христианину червей собирать! Пускай этим желтолицые манзы занимаются.

Ловля трепанга в наших водах почти совсем прекратилась. Лишь немногие китайцы тайком отваживались на это дело. Они рисковали большими штрафами или длительной отсидкой в тюрьме.

После революции, пользуясь интервенцией и хозяйственной разрухой, иностранцы хищнически облавливали наши воды. Даже в первые годы существования на Дальнем советской власти трепангом занимались одни контрабандисты. Они пользовались примитивными орудиями лова, вроде длинной остроги или сетки со свинцовым грузом.

Затем право добычи трепанга получил один частный предприниматель. Он обязан был производить лов исключительно водолазами. Когда срок договора с частником истек, промысел целиком перешел в руки государственного предприятия.

Трепанг занимает в дальневосточном экспорте не последнее место. Китайские гастрономы считают наш трепанг лучшим по качеству. Наши конкуренты стараются выиграть на более тщательной сортировке и упаковке, а также на быстром и точном выполнении заказов. Основным конкурентом на китайском рынке выступает Япония. Она не гнушается крайними мерами, стремясь увеличить вывоз. Одно время существовал закон, запрещающий японцам употреблять трепанга в пищу. Страдали желудки граждан «Страны Восходящего Солнца», но зато росли прибыли отдельных предпринимателей...

По определению Тихоокеанского института рыбного хозяйства, в заливе Петра Великого весной и осенью скопляется до двадцати пяти тысяч центнеров трепанга. Наши ловцы успевают взять в один сезон всего восемьсот центнеров. Развитию промысла мешает, прежде всего, недостаток рабочей силы. Эта общая беда всех дальневосточных предприятий особенно чувствительна на маленьком островке, который связан с материком лишь случайными рейсами единственного катера.

В 1929 году, впервые на Дальнем Востоке, был осуществлен опыт прикрепления к водолазам учеников. Дело оказалось вполне жизненным, и теперь на острове Энгельм процветает школа водолазов. Занятия происходят летом, в перерыве между весенним и осенним сезонами, когда старые водолазы свободны от подводной работы. На базе уже зачислены в штат четыре молодых водолаза, которые обслуживают кунгасы не хуже своих учителей.

Добыча трепанга находится почти в зачаточном состоянии. Старая Россия не оставила нам опыта в этом деле. Мы осуществляем его, пользуясь только своей собственной смекалкой. Несмотря на новизну дела, уже теперь мы ежегодно получаем от трепанга около двухсот тысяч рублей золотом.

Эксплоатация подводных сокровищ Дальнего Востока дает возможность нашему Союзу выписать из-за границы сотни новых тракторов и вооружить иностранными машинами несколько заводов.

У канадских лесорубов

Эмиль Гиллер

1

Энергичная маленькая карельская лошадь мчится рысью по протоптанной снежной дороге. Впереди разворачивается редеющая лесная чаща. В разных местах, как плешь, обнажены вырубленные лесосеки. На пути к баракам нам попадались стройные и моложавые с нахмуренными глазами и сжатыми губами люди, одетые в пестрые американские костюмы. Высокие кожаные ботинки на резиновой подошве, шерстяная кофта, легкие пиджаки и неизменная, чуть касающаяся макушки, кепка, как будто приклеенная к голове.

Стояли крепкие морозы, а шея у них была открыта и выглядела задорно, точно посылала вызов стуже.

Это были те, которых называли «канадскими лесорубами» или просто «канадцами». Настоящих канадцев и американцев среди них не было. Все они по национальности финны и плохо говорят по-английски. Некоторые совсем английского языка не знают.

Они уроженцы Финляндии и бежали в свое время от фашистской родины, которая не могла их прокормить. Много лет они мыкались по Америке, работая в лесах Канады и испытывая тяжесть капиталистической анархии. Им подолгу приходилось оставаться без дела вследствие безработицы и очень часто потому, что они были известны, как сочувствующие коммунистическому движению.

Двадцать семь человек, трудившиеся в лесах Канады и очутившиеся в результате поисков работы в Порт-Артуре, вспомнили, что есть страна, где каждый рабочий сам является хозяином, где не знают страшного слова «безработица», где сама работа ищет человека.

Они приехали в СССР и получили для разработки лесной участок к северу от Петрозаводска, в десяти километрах от тракторной базы в Матросах.

2

Бараки канадцев построены на некотором возвышении и расположены полукругом. В крохотном бараке из одной комнаты проживала единственная женщина-лесорубка, студентка техникума, шестнадцатилетняя Надя Мудролюбова, крепко сложенная девушка, ни в чем не уступавшая десяти ребятам, студентам-практикантам, с которыми вместе ходила в лес и выполняла все необходимые физические работы.

Главный барак, почти упиравшийся в проезжую дорогу, по внешнему виду похож был на десятки просторных бараков наших лесорубов. Он значительно отличался своим внутренним устройством.

Из узких сеней в разные стороны вели три двери. Направо — комната для занятий и отдыха. Налево — кухня-столовая. Прямо — красный уголок с длинным во всю комнату столом, библиотечкой, радио и маленьким шкафом с медикаментами и аптекарскими принадлежностями.

Внутри барака потолка не было. Канадцы его сняли и построили толевую крышу, как строят голубятню, складывая две плоскости и образуя острый угол. На одной плоскости вырезано окно и поэтому в комнате отдыха постоянно веселое освещение, особенно, когда поднимается солнце и сверлит своими лучами стекло. От такого устройства крыши, очевидно, и воздуха больше и дышится как-то свободнее.

У стены, против входа, на расстоянии метра один от другого, стояли четыре койки. Между ними — прорубленное окно. Левую койку от окна я, вероятно, очень долго помнить буду. На ней проживал самый пожилой лесоруб, маленький Альбино Кукко с озабоченным помятым лицом и неизменной трубкой во рту. Он был обладателем редкого музыкального инструмента «Boldwin'a», вроде русского баяна, с белой и черной клавиатурой, напоминающей рояль.

«Болдвин» был громоздкий, тяжелый, с болтающимися кожаными ремнями, которые во время игры надевались на шею и закидывались за спину. Инструмент вызывал всеобщее уважение. За него, по словам Альбино Кукко, было уплачено пятьсот долларов. Он был гордостью барака.

В дни отдыха, старый Альбино извлекал свой «Болдвин» из деревянного ящика, сжимал губы, напрягал лицо и начинал наигрывать протяжную чувствительную «Раймону» или игривые негритянские танцы. «Болдвин» фальшивил. Получалась музыка, похожая на нашу гармошку, но прокрахмаленная молитвенным звучанием церковного органа.

Койки, расставленные у трех стен, были двухэтажные, вроде старинных французских дилижансов. Каждый этаж походил на широкую двуспальную кровать. На ней помещалась постель для двух человек: соломенный матрац, простыня, подушка и одеяло. Койки легко переставлялись с места на место, хотя выглядели монументальными и неподвижными.

От нижних лежанок шли деревянные выступы, заменявшие скамейки. На них сидели, курили, разговаривали.

Большая яркая пылающая лампа, подвешенная к крыше, освещает широкий продолговатый стол. На столе — две-три книжки, шахматная доска, шашки. У этого стола садится политруковод, — жилистый, энергичный Лахти, финн, окончивший национальный вуз в Ленинграде и едва знающий несколько слов порусски. Он никогда не был в Канаде, но он родной брат канадцев по крови и по духу. Он бежал из Финляндии, как коммунист и пролетарий, и сразу отправился в отечество рабочего класса, в СССР, где прошел политическую учебу в высшей школе.

Я каждый день сажусь у кончика стола и слушаю Лахти. Мне жалко, что финский язык не похож ни на один из европейских языков. Я его не понимаю и мне не легко его изучить. Я напрягаюсь и очень часто догадываюсь, о чем идет речь, улавливая такие слова, как «Ленин», «Маркс», «интернационал», «пролетарий».

Кольца пепельного дыма тихо поднимаются над койками, описывая спирали и уплывая под створчатые плоскости крыши. Из глубины барака, высоко над входной дверью, как подмостки театральной сцены, вырисовываются профили антресоли, окутанной сизоватым облаком испарений.

На антресоли проживают десять студентов Петрозаводского лесного техникума, юноши пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет. Даже двадцатитрехлетний Богданов лицом похож на восемнадцатилетнего парня, хотя у него в глазах взрослая серьезность, и он тяготится ребяческими выходками некоторых своих товарищей.

3

В первый же день моего приезда, когда меня только еще встретили молчаливые и немножко недоверчивые взгляды отдыхавших канадцев, ко мне подошел редактор стенной газеты, Вася Карпов, нервный юноша с воспаленными глазами и с прыщиками на лбу. За ним застенчиво следовал солидный Богданов.

Карпов, чуть писклывым голосом, довольно решительно заявил мне:

— Мы составляем пятый номер стенгазеты «Iscuri»[1]... Вы должны для нас написать статью..

— А кто вы такие?..

— Мы студенты первого курса Петрозаводского лесного техникума, национальная группа карелов. Находимся здесь на практике. Нас одиннадцать человек...

— Что же вы здесь делаете?..

— Как что?..—удивленно переспрашивает меня Вася Карпов.— Ходим в лес, работаем, дежурим по кухне и столовой. Стенная газета — это наше общественное дело...

— А как вы с ними об'ясняетесь?..

— Друг друга понимаем... Карельский язык очень похож на финский.

В школе у нас ведется преподавание на финском языке... Так вы нам, пожалуйста, статью напишите...

Мне принесли чернил, разлинованной толстой бухгалтерской бумаги, и я обрадовался возможности сразу оказаться полезным. Я

[1] По-фински означает: «ударник».

стал таким путем приучать к себе окружающих, которые продолжали глядеть на меня холодными безразличными глазами. Одну минуту мне удалось удержать на себе сочувственную улыбку, вызвав беспомощную реплику и смешную мимику густоволосого канадца:

— Не понимай... русски...

Взамен, к сожалению, я даже не мог предложить фразы, означающей то же самое на финском языке.

— Хотите попить кофе, вас просят!..—обратился ко мне со скопческим лицом и рыхлой женской фигурой краснощекий, с масляными узенькими глазками, молодой человек.

— А вы кто такой?..

Тонкий дискант, как у евнуха:

— Я помощник хронометражиста... Федор Грачев, по здешнему Хейк... Они просят, чтобы вы попили кофе...

Мне неожиданно стало легко. Я постепенно набредал на мостик, могущий меня связать со всей этой массой людей, которую мне так хотелось узнать.

Кухня-столовая, куда мы пришли, представляла из себя просторное помещение. На середине комнаты — плоская железная плита. Ближе к окнам, во всю длину помещения, «табльд'от» — продолговатый широкий стол, накрытый клеенкой и подготовляемый к ужину. Помощница повара и дежурный студент расставляли по обе стороны стола тридцать приборов: тарелки, вилки, ножи, эмалированные чашки...

Японоподобный повар, маленький, гибкий и крепкий, с худощавым лицом и хорошо развитыми скулами, встретил меня приветливо. Он из котла, ложкой, переливал кипящую жидкость в специальную деревянную коробочку и, пробуя ее оттуда на вкус, улыбался мне. Деталь, сразу бросившаяся в глаза... Кто у нас, из поваров коммунальной кухни, так пробует пищу?.. Набрал кушанье деревянным или металлическим черпаком, поднес ко рту, пожевал, выплюнул и снова ложку всадил в котел.

Поражала невообразимая чистота... Вокруг железной плиты ни одной соринки. Я говорю Грачеву:

— Слушай, Хейк... у нас, на кухнях в Москве, хозяйка в грязи, кухня в грязи, примус в грязи, а всего обед варится на трех человек... Он готовит на пятьдесят, а у него чисто, как в хирургическом отделении первоклассной больницы..

Хейк передает мои слова повару. Повар хохочет. Ему приятна похвала, которую он законнейшим образом заслужил. Он удаляется в огороженную деревянным простенком свою комнату и выносит оттуда толстую книгу, похожую на библию. В ней, как и в библии, текст на двух языках: на английском и финском. Это поваренная книга с замысловатыми блюдами и витиеватыми названиями кушаний. Я выискиваю сложный деликатес и тыкаю в него пальцем. Он хохочет и я вместе с ним. Конечно, это шутка. Кушанья здесь гораздо проще, но доброкачественны и очень вкусны.

Кофе, масло и сдобный хлеб подает его помощница, стройная изящная женщина, в чистеньком переднике, светлорусая и голубоглазая, молодая колоритная северянка, как будто сошедшая сюда из пьесы Ибсена. Она жена одного из лесорубов, единственная женщина среди канадцев. Ее воспитанностью и благонравием гордятся. О, она настоящая финка!.. По-моему, если бы в ней нечаянно заговорило «вечно-женственное» и она захотела бы по особому посмотреть на какого-нибудь приятного незнакомца, ей пришлось бы выдержать двадцать семь укоризненных и ревнивых взглядов.

Она вносила какую-то нежную мягкость, она смягчала какие-то суровые краски... Ее звали Фанни.

Когда мне приходилось каждый день наблюдать за ее порханием в окружении той ласковой озабоченности, на которую способна любящая женщина, в уме неотступно звучала фраза из Андрея Шенье:

— «Fanny, heureux mortel qui près de toi respire...» [1]

4

Мне кажется, что я на океанском пароходе, уносящем меня в беспредельные дали. В семь часов утра нас будит тонкая трель своеобразного колокольчика. Начинается подъем. Умываются в сушилке, куда ведет дверь из комнаты отдыха. В двух огромных бочках — холодная вода. В кипятильнике, возле печки — горячая. Канадцы любят умываться горячей водой. Может быть поэтому их лица как-будто выутюжены и на них редко встретишь морщинку.

В 7 часов 15 минут новая трель музыкальных ударов. Звонок на завтрак. Мне захотелось

---

[1] Фанни, счастлив смертный, дышащий подле тебя.

ознакомиться с источником этой повелевающей музыки. В сенях, на веревочке, висел длинный железный стержень. В него ударяли металлической колотушкой, как в музыкальный треугольник. Этим занимались дежурившие студенты. Иногда, Фанни.

В 7 часов 30 минут выход в лес.

Хронометражист Грачев сладко зевает, лениво потягивается после завтрака и собирается вылезть на второй этаж своей койки. Я его останавливаю:

— Хейк!.. И не стыдно тебе?.. Люди пошли работать, а ты спать. Кушаете вы вместе и работать надо вместе.

Хейк краснеет и улыбается. Глазки его становятся узкими и заплывают жиром. Откормленный, краснощекий, он похож на знаменитого Тита из детской хрестоматии: «Тит, иди молотить!.. Спина болит... Тит, иди обедать!..— А где моя большая ложка?..»

Хейк говорит в свою защиту:

— Мы уже свое сделали... Мы много поработали, а теперь ждем пока нас перебросят в другое место... Здесь хронометражные наблюдения уже закончены...

Хейк соглашается со мной бродить по лесу и ознакомить меня со всеми местами, где производится разработка. Несмотря на свой вид увальня, Хейк ловко ходит по лесной тропинке и редко попадает в сугроб. Со мной это случается гораздо чаще.

Надо пройти большой пустырь, около 700 метров в длину по замерзшему, покрытому снегом болоту, затем подняться в гору, чтобы услышать первые звуки пилы и топора. Характерная особенность: путь к лесосекам канадцев не завален бревнами и по нем гораздо легче двигаться, чем по дорожкам, ведущим к делянкам наших лесорубов. Канадцы это имеют в виду и, как только у них обработано некоторое количество древесины, они немедленно ее собирают и укладывают в поленницы вдоль дороги, облегчая дальнейшую вывозку.

Канадцы расставлены в разных пунктах. Они работают одиночками. Каждому помогает практикант-студент.

Отдыхают мало. Курят редко. Усердно занимаются своим делом. На приветствия отвечают молчаливо.

С Альбино Кукко рядом работает студентка Надя Любомудрова. Она очень смешно одета. Широкие мужские штаны на выпуск, вязаная кофточка и вязаная шапочка. Почему ее определили к самому солидному и самому старому, у которого уже сын работает в этой самой артели?..

Когда я смотрю на канадцев и на Альбино Кукко, я не могу отделаться от строк Пушкина, которые меня преследуют, как любимая мелодия:

...Тридцать три богатыря.
Все красавцы молодые.
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.

Дядька Черномор, он же Альбино Кукко, даже работает с трубкой во рту. Он щадит Надю Мудролюбову... Он не позволяет ей валить деревья. Она только рубит сучья и лишь иногда раскряжевывает ели.

Нас окликает студент Ванечка, похожий на девочку. Когда говорит, складывает губы в трубочку и голос у него звучит, как у капризного ребенка:

— Пойдите к нам работать?..

У Ванечки пухлые формы груди и ляжек, как у девушки. Он носит сапоги, на которые натянуты узкие брюки, болтающиеся у щиколоток. Лесорубы специально так надевают штаны, чтобы за голенища не набивался снег.

С ним рядом работает канадец Оя,— стройный, рыжеватый, одетый в легкую фуфайку и с виртуозной легкостью, при помощи Ванечки, складывающий балансы в кучи. Ванечка тоже ловко справляется с этим делом. Он чувствует себя в лесу, как птица на дереве.

Мы приветствуем друг друга улыбкой и поднятием рук.

Но я заинтересован работой Альбино Кукко. У него в руках лучковая канадская пила. Уминая вокруг себя снег, он подпиливает дерево почти на уровне земли и валит его от себя, как ломаную спичку. Он сосет свою трубку и спокойно переходит от дерева к дереву... Легко... Поразительно легко... Не может быть, чтобы эта работа была такой пустячной. Лишь за несколько дней до этого, мне пришлось работать двуручной русской пилой. Тяжело. Нас работало два человека... С меня в три ручья катился пот.

Для Альбино Кукко — это игрушка, несмотря на то, что приходится валить ели с диаметром в 25—30 сантиметров.

Подошли к Ванечке. Пожал руку Оя.

— Тэрвэ, товэри...[1]

— Здравст-вуй-те...

[1] По-фински означает „здравствуйте товарищ".

Он смеется над неловкостью своего приветствия, произнесенного по-русски, и продолжает, укладывать балансы в поленницу. Мы с Хейком ввязались в работу. Оя был наделен замечательной физической силой. Мы с трудом докатывали до поленницы двухсполовинно-метровые балансы, с которыми Оя обращался, как тяжеловес с легкими гирями.

Я говорю его помощнику:

— Ванечка, скажи ему, что я хочу сам свалить дерево... Пускай укажет какое?..

Работать оказалось гораздо труднее, чем наблюдать. Канадцы были мастерами своего дела и в их руках оно выглядело чрезвычайно простым и легким. Происходило, как с прекрасными произведениями искусства: многим людям казалось, что если бы «Война и мир» и «Дон-Кихот» не были написаны, то именно они написали бы эти произведения. Но, так как эти книги уже были созданы, и им ничего больше в литературе не оставалось делать, то они в жизни не написали ни одной строчки.

В одном очень важном обстоятельстве мне пришлось убедиться. Не будучи лесорубом, я гораздо легче пилил, один, лучковой канадской пилой, чем, вдвоем, нашей русской двуручной пилой. Канадская пила напоминает нашу столярную пилу. Рама имеет форму правильной трапеции и натяжение достигается веревкой, скрепляющей верхние концы. У основания трапеции проходит узкая стальная лента зубьев, которая удивляет непривычный глаз своими странными неровностями и очертаниями. Они похожи на развернутую человеческую челюсть, в которой чередуются резцы и коренные, с провалами на месте вырванных клыков. Резцы производят рез дерева. Каждый пятый зуб, двойной, разветвленный, как человеческий коренной, выбрасывает опилки.

Работа наших русских лесорубов была бы значительно облегчена, если бы они были вооружены канадскими пилами.

Топоры у канадцев тоже очень хороши. Они укрепляются на концах длиннейших топорищ. С одинарными или двойными лезвиями, они так остро отточены, что, фигурально говоря, ими можно побриться. Топор легко летает по воздуху и с большой силой вонзается в дерево. Ударишь и душе легче становится.

Когда ель легла на снег и мы с Хейком обрубили сучья, подошел к нам Оя и определил, что валка произведена правильно. Мы начали раскряжевывать вдвоем: я и Оя. Это было веселое зрелище. Пока я отрезал один баланс, Оя успел нарезать четыре, причем пила в его руках свистела и пела, как флейта в губах виртуоза.

В 11 часов 30 минут канадцы возвращаются в барак. Моются, приводят себя в порядок и закуривают. Ровно в двенадцать часов знакомые трели музыкального гонга... Обед. Как по команде, отправляются в столовую и садятся за табль-д'от.

В 12 часов 30 минут снова выходят в лес на работу и возвращаются в барак в четыре часа. Мокрую одежду сносят в сушилку, тщательно моются и переодеваются в сухое чистое платье. Кто хочет, может пройти в столовую и выпить чаю или кофе. Читают газеты, курят, беседуют... В 6 часов колокольцы гонга зовут на ужин.

Кушанья вкусны, приятно щекочут обоняние и подаются в привлекательном оформлении. Повар со своей помощницей, хрупкой Фанни, с таким энтузиазмом служат этому делу, вкладывают в него столько труда, забот, внимательности и любви, что это заменяет самые изысканные кухонные специи.

В половине седьмого кончали ужин и до десяти часов распределяли свободное время по своему желанию. В 10 часов вечера отвинчивались в лампах фитили и начинали гасить свет... Канадцы ложились спать.

Одинокий огонь оставался только в красном уголке. Здесь просиживали студенты, иногда до глубокой ночи трудясь над очередным номером стенгазеты, переписывая статьи печатными буквами, разрисовывая заставки, вырезывая из журналов и газет карикатуры и иллюстрации, чтобы придать стенгазете боевой бодрящий вид.

5

Я хочу ближе подойти к канадцам. Хочу нащупать настоящих живых людей и поэтому решил воспользоваться материалами, переданными канадцами в стенгазету. Это ключ, могущий мне открыть дорожку в сердца и мысли этих людей. Материалы мне читает и переводит Богданов.

Альбино Кукко, дядька Черномор, назвал свою статью «два противоречия» и указал в ней, как в капиталистической Америке, вместе с безработицей, раздувается национальная вражда...

«Протянем же руку заключенным Мопра и да здравствует Третий Интернационал!..» заканчивает он свою статью.

Я вижу в этих строчках живого, маленького Кукко, усердно сосущего трубку, щурящего левый глаз и подпиливающего очередную ель. Но, ведь, это для нас обычная фраза, которую можно выкрикнуть на каждом митинге. Я хочу его живого ,я хочу проникнуть в его нутро, и мне это никак не удается. Стоит мне через Богданова заговорить с Кукко, он свою речь всякий раз начинает одинаково:

— «Товарищ Ленин сказал...»

Всеми своими мыслями он ускользает от меня, как дичь от неудачного охотника... Зато Оя — весь, как на ладони. Он оказывается поэт и для стенгазеты написал стихотворение, которое назвал «В карельском лесу».

Он сам читает его нараспев. Стихосложение тоническое, легко усваиваемое, и я его умею повторить, несмотря на обилие немецких умляутов и протяжных гласных.

Мальчики, собравшиеся в красном уголке, одобрительно качали головами и шептали:

— Хорошо!.. Хорошо!..

Стихотворение изображает картину повседневной работы. Рубят лес, поблескивая серебром топора. Тракторы доставляют лес к берегам, откуда он сплавляется на лесопильные заводы и строительства... Мощь Карелии должна подняться. Сила рабочего класса растет и трепещут орды перепуганной буржуазии.

Я попробовал перевести первую строфу, соблюдая музыкальный и стихотворный размер и по возможности держась близко к подлиннику:

«В снежные насыпи валятся ели.
Пилы визжат. Топоры наши молоты...
Тракторы тянут из лесов Карелии
В санях гигантах — зеленое золото...»

Мне мучительно хотелось знать, грамотны ли канадцы по настоящему. Ведь они люди беспрерывно тяжелого физического труда. Ведь они испытали двойной гнет: финской политики и американского капитала. Ведь об их просвещении не заботились, как заботятся об этом в нашей стране.

Юноши студенты мне не умеют ответить на этот вопрос, потому что они сами недостаточно твердо знают финский литературный язык.

Разговорился с Оя. Имя его Юхо. Ему 35 лет Мы просили, чтобы он нам прочитал свои стихи. Он пошел в комнату отдыха, достал из своего ящика тетрадки и кучу газет и с жадностью автора, приобретающего нового слушателя, стал распевать свои стихи...

У него, главным образом, песни. О чем может петь этот стройный силач, с волосами цвета нескошенной соломы, с голубыми почти детскими глазами?.. Вот газеты на финском языке, издающиеся в Канаде, орган профсоюза и называются они, как и наша профсоюзная газета «Лесной рабочий».. О чем поет в них Оя Юхо?..

Лесоруб всегда голоден. Он живет в бараках, тонущих в дыму и копоти. О светлом будущем он может только грезить... Ему нужно бороться.

Таково содержание «Песни лесорубов», которую скандирует и выводит лирическим тенором Оя.

А вот другое стихотворение: «Путь странника».. Это стихотворение Оя будет помнить очень долго. Он был организатором забастовки в Канаде и в этих стихах он призывал лесорубов к борьбе и забастовке.

Крепок еще капиталистический гнет в Америке. Не страшны им еще забастовки лесорубов. К их услугам американская полиция, церковь, армия штрейкбрехеров и жандармов... А жизнь идет... Наступает весна, но радости ее недоступны рабочему. Весна для американских торговцев, дельцов, биржевиков... Таковы «Весенние мысли», которым предается в стихах Юхо Оя.

— Ну, а у нас?.. Скажи, Юхо Оя?.. У нас тоже бараки в дыму?.. У нас тоже весна враждебна рабочему?..

Оя счастливо трясет головой:

— О, нет... Я никогда не уеду из Советской России!..

Может быть он думает, что я чиновник, что я официальный представитель какого-нибудь важного учреждения? Но, ведь здесь известно, что я просто журналист. Я хочу проникнуть в самые сокровенные линии его мозга, чтобы узнать настоящие мысли Оя. Неужели он просто хочет мне быть приятен?..

Оя переживает возвышенное чувство автора, произведения которого понравились. Он мне раскрывается, как лепесток солнцу. Мы прошли с ним в общую комнату и сели к нему на койку. Оя по середине, я и Богданов по бокам. Оя стал рассказывать о себе:

— «Моя родина — Финляндия, деревня Мурола... Отец мой был батраком, и, как только увидел я свет и солнце, я узнал нужду и лишения... Мне было 14 лет, когда впервые я

продал свой труд капиталисту, ушедши с крестьянами своей деревни в лес, на работу... Получал я тогда за 1 кубический метр вырубленной древесины ½ марки... Часто мне приходилось оставлять топор и пилу лесоруба и заниматься другим делом. Я был каменотесом, сплавщиком, плотником, охотником, но во время сезона снова возвращался в лес... Советский Октябрь прозвучал для меня, как освобождение мирового пролетариата. Я участвовал в гражданской войне против белофиннов, попал в плен и провел у них в тюрьме, в городе Танберге, восемь месяцев... Нас там было около ста тысяч пленников... Жалкая и жуткая жизнь в белогвардейском застенке!.. Когда меня условно освободили, я поехал в Канаду, желая повидать землю... Рабочий должен видеть мир... Рабочий должен видеть своих угнетаемых братьев для того, чтобы возненавидеть врагов своего класса... Канада оказалась мало гостеприимной. За восемь лет пришлось работать и в лесу, и в шахтах, и на железной дороге... Разное приходилось делать, чтобы не умереть с голоду в этой стране, где у многих людей пальцы в золоте и бриллиантах, как в перчатках, а во рту выставка ювелирного магазина. В Америке для лесорубов работы хватало только на четыре месяца в году. Остальное время надо было голодать. Приходилось мыкаться, колесить массивы, переезжать огромные водные пространства, чтобы отыскать хоть какую-нибудь работу. В Канаде я и вступил в коммунистическую партию...

Осенью 1930 года вы встретились в Порт-Артуре, все те, которые теперь составляют нашу артель. Отсюда разворачивалась перспектива одной шестой части света, Союз советских социалистических республик... Кроме самой необходимой одежды, все наше богатство заключалось в том, что каждый имел две-три пилы, один-два топора, напильник и кое-какой столярный инструмент... Достаточно, чтобы притти в рабочую страну и сразу включиться в ряды ее строителей... И вот, мы здесь... И вот мы видим, что у вас не только нет безработицы, но не хватает людей...

Я, по-моему, уже слишком стар, чтобы учиться, но у вас учатся люди, которые гораздо старше меня... Люблю стихи... Мне было пять лет, когда я научился читать и писать. Стихи и песни я стал складывать еще с детства. Грустных песен я больше не пишу... На вашей земле они не выходят...»

6

В барак приехал на лыжах из Матросов молодой преподаватель лесного техникума, Михал Иванович Меркурьев. Он обрусевший карел. Хорошо знает русский и финский языки и преподает обществоведение на финском языке.

Я пользуюсь случаем и прошу Меркурьева растолковать мне статью одного из канадцев, которую юноши перевели мне очень туманно. Называется статья :«что такое любовь?»...

В очень коротких выражениях автор пытается свести любовь на землю, сорвать с нее пестрые поэтические одежды и доказать, что любовь лишь требование организма.

Не в том дело, что и как написано о любви... О любви можно найти не мало слов во всякой литературе. Но чем вызвана постановка вопроса?.. Очевидно, не последний это вопрос в жизни канадцев, если о нем просачиваются высказывания в стенгазету... И в самом деле, 27 полноценных людей, здоровых и сильных, подвергающих себя суровой дисциплине и умеющих тяжелый труд превращать в источник радости и удовлетворения, не монахи они, не профессиональные аскеты?.. От них никто не требует фальшивого целомудрия. Им не надо притворяться и никого не надо обманывать. Так что ж такое для них любовь?.. Требования организма и не больше?..

Как-будто в ответ на эти размышления в дверях красного уголка появилась благоуханная Фанни, в свежевыстиранном переднике с улыбкой в больших синих глазах. За ней бежал ее сын, пятилетний мальчик, одетый по-американски в костюм лесоруба, с маленькой детской пилой, точной копией большой канадской пилы, и с таким же маленьким детским топориком... Его тоже звали Хейком.

В полном трудовом вооружении, самый маленький канадец не отставал от матери и чего-то настойчиво добивался. Студенты хотели его приласкать, но маленький Хейк капризничал, ускользал от их рук, цепляясь за мать.

Фанни приветливо пригласила нового гостя выпить кофе. Она немножко шепелявила и этот язычный шелест очень шел к ее тонким губам.

У учителя была повадка деревенского парня. Продолговатое цилиндрическое лицо его слегка покраснело. Ему стало неловко от этой неожиданной ласки.

Скоро мы пошли в столовую.

— Вот видите, говорю я, намекая на Фанни и маленького Хейка... Очевидно, здесь не только требования организма...

В столовой находились политруководитель Лахти и старый Кукко. Учитель оглядывался, изучая новую обстановку, и отвечал мне:

— Да... Но они очень культурные люди... Мне кажется, что вы не дооцениваете этого. Конечно, ни в какое сравнение с нашими лесорубами-карелами по культуре своей они итти не могут...

— Я это чувствую, — возражаю я. — Однако, почему они со мной декларативны?.. Они очень скупо говорят о себе и все больше отделываются цитатами...

— Боюсь, что вы выдумываете. Не забудьте, что вы здесь лишены языка и за счет этого дефекта у вас, наверное, усиливается воображение...

Я не согласен. Я почему-то чувствую правоту своих слов и прибегаю к неожиданному аргументу:

— Вот видите этого старика Кукко... Он каждую свою фразу со мной начинает: «Товарищ Ленин оказал...» Спросите его от моего имени, какой он считает день самым лучшим в своей жизни, убежден, что он ответит: «тот день, когда я приехал в страну советов»...

Учитель смеется:

— Я спрошу. Я, конечно, поставлю вопрос не сразу и не резко. Я подойду к нему дипломатически...

Альбино Кукко, видимо, любил поговорить, как любил поиграть на своем «Болдвине». Это были для него минуты праздника и отдыха. Я не понимал слов, но я понимал нюансы. Выражение глаз, лица, ужимки и гримасы Кукко и учителя раскрывали мне этот разговор и я мог ручаться, что в точности передам его содержание. Я был похож на слепого, который ощущает в руках ткань, хотя не видит из каких ниток она изготовлена.

— Товарищ Ленин... сказал... — как обычно, с расстановкой начал свою речь Альбино Кукко, что мы должны перейти к социализму и что это борьба не легкая... Моя мечта — всегда быть вместе с рабочим классом, следить за общественными изменениями и самому видеть, самому наблюдать разгром мирового капитализма.

Учитель, наконец, опрашивает:

— Какой же вы все-таки момент из своей жизни считаете наиболее счастливым?..

Кукко думает и начинает свой ответ отдаленно:

— Я лесоруб... Жизнь моя мало пестрела разнообразием... Меня не очень огорчали трудности и... никогда не баловали радости. Все-таки, одним из счастливейших дней в моей жизни считаю день, когда я приехал в советскую Россию...

Мой учитель шепчет мне, точно боится, что его может услышать и понять Кукко...

— Вы угадали... Но я убежден, что это его совершенно искреннее мнение, без всякого оттенка приспособленчества...

Лахти уже совсем наш. Он прошел наш вуз. Он ухватил и понял особенности нашего горения, нашего закала. И, поэтому, я прошу побеседовать с Лахти, политруководителем, присланным сюда из районного комитета партии.

— Скажи, Лахти, когда ты сюда приехал из райкома, они сразу тебя признали своим?.. Может быть они с тобой тоже были внешне корректны и закрывались от тебя, как улитка от внешнего мира?..

Лахти улыбается и передает учителю, кивая на меня:

— Его ведь здесь не знают... Как же он хочет сразу сойтись с людьми, которые еще недавно в нашей стране?.. И со мной они вначале были холодны, а теперь у нас совершенно близкие товарищеские отношения.

Тут же он нам рассказал целый ряд интереснейших фактов. Приехал в бараки американский журналист, пожелавший проверить нет ли у нас принудительного труда на лесозаготовках... Проверка производилась довольно оригинальным способом. Он разговаривал с канадцами по-английски, ставя вопросы тоном, не допускающим никаких возражений:

— В нашей стране, конечно, вам было лучше?..

То, что услышал, заставляло его нервничать:

— О нет, сэр, мы отсюда никуда не уедем...

Журналист приподнял голову и казалось его большие роговые очки увеличились вдвое:

— Но разве вам не приходилось сталкиваться с заключенными здесь, на лесозаготовках?..

— Мы их не видели, потому, что их здесь нет... Советуем вам обследовать ваших лесорубов... Там вы легче найдете гнет и эксплоатацию...

Журналист краснеет и бледнеет от совершенно неожиданных ответов. Он себя сдерживает и старается сохранить полную коррект-

ность. Ему казалось, что люди к нему кинутся, как к избавителю и станут просить о спасении, а вместо этого он столкнулся с самой откровенной ненавистью к его стране...

Через некоторое время был устроен радиомитинг лесорубов. У рупора стоял Альбино Кукко. Он по-стариковски сказал увесистое крепкое слово, и весь мир услышал, что легенда о применении у нас на лесозаготовках принудительного труда, — жалкая клевета и сплетня.

Лахти закончил с нами беседу, чтобы уйти на свой политчас. Мы пошли за ним, и я сказал учителю:

— Будьте уверены, что этот политчас продолжится не менее двух. Лахти сел за стол и, подождав несколько минут, начал беседу. Речь должна была итти о причинах кризиса в капиталистических странах и о классовой борьбе.

Когда Лахти говорил и приводил из книги цитаты, я не видел его аудитории. Мне казалось, будто Лахти обращается в пространство. Между тем, впечатление было ошибочным. Аудитория существовала, но была совершенно своеобразна. Некоторые лесорубы лежали на своих койках, курили, пуская дым кверху. Другие сидели на лавочках и глядели в землю, как-будто беседа их не касается.

Как только Лахти закончил свое вступительное слово, на одной из коек зашевелился человек, приподнялся и, не опуская ног на землю, согнув колени, начал говорить. Это был Питконен, белобрысый, моложавый и задорный. Речь шла о классовой борьбе и он доказывал, что классовая борьба везде и во всем, даже в самых невинных, на первый взгляд, человеческих явлениях.

В спокойной размеренной речи соглашался с ним его товарищ, Урпула, припоминая случаи классовых боев в Америке, в которых им самим пришлось участвовать. Несколько коротких замечаний было сделано из разных коек и слово перешло к человеку, от которого ждали, видимо, обстоятельных и серьезных об'яснений.

Человек этот сидел на скамейке у своей постели. Густая вьющаяся шевелюра была всклокочена и он все время глядел в землю. Когда заговорил, поднял смуглое лицо и два ряда белоснежных зубов сверкнули, как у негра. Звали его Ярви, а имя его было Вейно.

Он отмечал проскальзывающие иногда идеологические ошибки в высказываниях товарищей. Надо стремиться усвоить основы ленинизма и марксизма, без которых немыслимо ориентироваться в совершающихся политических и экономических событиях.

Слова его звучали убедительно и веско. Он говорил, не спеша, как-будто сам присматривался и прислушивался к словам, выражениям и понятиям, стройно укладывавшимся в просторе барака. Казалось, что слова охватывают невидимых слушателей, разбросанных по всему земному шару, отдыхающих на своих постелях с радионаушниками на головах.

— Классовая борьба везде и всегда... Особенно у капиталистических правительств. Что такое слухи о применении принудительного труда на лесозаготовках в СССР?.. Типичный поход классового врага, пользующегося очень сомнительным оружием. Если бы мы были в Америке, может быть кое-кто мог бы усумниться, но мы здесь, мы сами работаем, мы своими глазами все видим и, поэтому, мы со спокойной совестью можем сказать. «Да... принудительного труда на лесозаготовках в СССР нет... Мы должны об этом написать нашим товарищам в Канаду, чтобы они знали истину... Вот почему-то капиталисты не любят вспоминать о том, что на нашей родине, в Финляндии, железная дорога Утонма построена исключительно принудительным трудом заключенных.

Не одна капля нашей пролетарской и коммунистической крови лежит в этих рельсах и этих шпалах, которые составляют гордость финской буржуазии... Финляндия — наша родина, но отечество наше, пока мы не свергнем у себя фашистских идолов, все-таки СССР...

Еще долго говорил Вейно Ярви. Каждую мысль не переведешь, но отдельные слова, вошедшие в международное лексическое снаряжение всякого передового рабочего, часто до меня долетали, и я мог, таким образом, догадываться о содержании беседы.

После слов Ярви стало тихо. Еще долго носилось в воздухе впечатление от сказанной им речи.

Последним выступил Альбино Кукко. Он был возбужден и говорил стоя, не выпуская изо рта трубки и просеивая слова через зубы.

Я понял начало: — «Товарищ Ленин сказал...» и улыбнулся. Ярви и Лахти одобрительно качали головами в такт его словам. Он говорил, видимо, что-то очень дельное и важное и сам был удовлетворен своими мыслями и своей речью.

Политчас затянулся чуточку свыше двух и время пролетело незаметно. В поведении ауди-

тории не чувствовалось никакой принужденности. Если кому-нибудь нужно было выйти по делу, он поднимался, тихо выходил, справлялся со своими обязанностями и снова возвращался на свое место, ввязываясь в беседу. Если случайно приезжал новый человек и требовалось вызвать старосту артели Карпинена или кого-нибудь из лесорубов, на пороге появлялась Фанни и молчаливо, жестами, об'ясняла кто нужен. Вызываемый товарищ выходил осторожно, боясь обеспокоить остальных шумом. Все понимали, что во время политчаса идет учеба, люди занимаются умственным трудом и необходимо, поэтому, соблюдать полнейший покой.

Меня заинтересовал Вейно Ярви и после политзанятий мне удалось с ним поговорить по душам. Он оказался журналистом. Он писал статьи в издающейся в Петрозаводске на финском языке газете «Punaînen Karjala», что означает по-русски «Красная Карелия».

Свой жизненный путь он об'яснял коротко:

— С товарищами из нашей артели я связан с 1923 года. Из тридцати пяти лет моей жизни, я всего работаю лесорубом семь лет и не знаю, могу ли я считать лес своей основной профессией?.. Я крестьянин и родился в Финляндии... Учился в школе семилетке и окончил кооперативные курсы... Был рабочим на железной дороге и воевал с белофиннами. Жил в Швеции. Семь лет жил в Канаде. Рубил лес и писал в газете, участвуя в политической борьбе. Я член партии с 1913 года...

— Что же вас связывает с Финляндией?..

— С фашистской Финляндией?.. Ничего... Разве то, что там еще находится мой девятилетний сын. Моя семья... вот!..

Он показывает рукой на барак и зубы светятся у него во рту, как звезды.

— Тут много среди нас интересных людей... Питканен, Уотинен, Урпула, старик Кукко, Нярва. У нас были свои фракционеры. Они теперь здорово исправились.

— Один вопрос!.. — прерываю я... — Монолитность в организации вещь прекрасная, но неужели ваши люди никогда не царапаются?..

Ярви задумывается и, затем, энергично отвечает:

— Люди всегда люди и двух одинаковых на свете не бывает... У нас крепкая трудовая дисциплина, но это не мешает нам спорить до хрипоты во время наших политзанятий. Вскоре, после нашего сюда приезда, из нашей артели вынуждены были выйти два человека. Они пред'являли чересчур много требований и уделяли высокое внимание своей личности. Интересы коллектива мы ставим выше и нам с ними было не по дороге...

7

В пятнадцатом квартале Матросского учлеспромхоза производится сплошная рубка. Вырубаются все еловые деревья, начиная от 12 сантиметров в диаметре и выше. Сваленные ели разрезаются на бревна, называющиеся «балансами». Балансы отправляются на бумажные фабрики. Из них приготовляют жидкую массу, идущую на производство бумаги.

Канадцы тщательно вырубают деревья, надрезывая пни почти на уровне земли. Сухостойные и гнилые ели оставляются на корню. У канадцев, в этом смысле, изумительное чутье и прекрасный глаз.

Канадский лесоруб на своей полосе — одиночка. Своим топором и своей замечательной лучковой пилой он работает один. Он и валит дерево, и рубит сучья, и раскряжевывает, и сам складывает в кучи.

Студенты, по моему мнению, оказывали канадцам значительную помощь. Они, правда, учились, но они не ходили вокруг деревьев, заложив руки в карманы. Даже Надя Мудролюбова, которую щадил Альбино Кукко, относясь к ней с нежностью, с какой относятся к бьющемуся в снегу воробышку, энергично рубила сучья, значительно повышая производительность.

Жалко, что хронометражисты не взяли под свое наблюдение совместную работу канадцев со студентами. Они бы собрали весьма убедительный материал в пользу бригадного метода работы в лесу. Бригада здесь могла бы выглядеть очень интересно. В центре мастер, художник своего дела, а вокруг него малоквалифицированные или только начинающие лесорубы, выполняющие подсобные работы, соревнующиеся, ударники, рождающие горы древесины для наших социалистических строек.

Говорят так работал в живописи Рубенс, чьи огромные полотна, с сюжетами Марии Медичи, десятками украшают широчайшие стены национального французского музея «Лувр» в Париже и в большом количестве разбросаны в картинных галлереях всего мира.

В лесозаготовительных работах есть еще один важнейший производственный момент: вывозка. Рубить лес большое искусство, но вы-

везти его не менее сложно. В этом отношении канадцы тоже являют классический образец организованности и умения.

Задача заключается в том, чтобы балансы от поленниц доставить к ледяной дороге и перегрузить на тракторные сани.

Там, где начинается ледяная дорога, канадцы построили длинный деревянный помост, в полтора метра вышины и с двумя скатами для в'езда и выезда. Здесь склад лесоматериалов. Сюда в'езжают, как на гору, груженые канадские сани. По обеим сторонам помоста цуг из пустых тракторных возов, связанных железными цепями. Канадцы из своих саней, крючками, ловко выволакивают бревна и сбрасывают в тракторные возы. Под'езжает трактор и увозит нагруженный через край поезд...

Вывозка — не механическая работа и требует постоянной сообразительности. На вывозке работают Ярви и гнущийся, как ветка, подвижный и находчивый Питконен.

Работа не всегда идет гладко. Большей частью она сопровождается волнениями и трудностями. Тракторы приходится чинить. В тракторных возах ломаются дышла и другие части. Образуются простои. Ищут виновных. Наши трактористы ругаются. На помосте орудуют Ярви и Питконен. Они жестами показывают, как удобнее трактору под'ехать к помосту, чтобы обогнуть опасную на пути выбоину.

— Ого-го-го!..Туда...туда... вот так!..
— Ого-го-го!.. Довольно грузить!..Хватит!..

Ярви и Питконен не обращают внимания на окрики и грузят столько, сколько считают необходимым.

Когда последние опорожненные канадские сани уезжают к лесосекам за новыми балансами, мне удается поговорить с Ярви и Питконеном. Они весело сообщают:

— «К будущему сезону мы ждем наших товарищей из Канады. Двести пятьдесят человек хотят влиться сюда, в наши ряды.... Весь лесоучасток возьмем в свои руки... Они пишут, что им уже надоели капиталистические хозяева и они с нетерпением ждут счастливого момента встречи...»

На помост медленно всходили лошади. За ними тянулись еще две пары саней. Предстояла большая перегрузка. У Ярви и у Питконена зашевелились и заиграли в руках крючки, как оружие. Как-будто они готовились к приближающемуся сражению.

8

К вопросам религиозным канадцы совершенно равнодушны. Больше того, этих вопросов здесь совершенно не существует. Я не заметил ни одной детали, я не услышал ни одного слова, которые бы могли напомнить об этой вековой сказке цивилизованного человечества, приспособленной к своим целям воинствующим капитализмом.

Канадцы отдыхают один раз в неделю, в среду. Это значит, что они не выходят и не выезжают в лес, но это, однако, не означает, что с ума сходят от безделия, валяются на койках и задыхаются от избытка свободных часов.

Так же своевременно и равномерно звучат трели гонга. С одинаковой дисциплиной проводят отдых, как и труд.

Я спросил старосту артели Карпинена:

— Почему у вас не введена пятидневка?.. Вы имели бы гораздо больше дней отдыха.

Карпинен приподнял свои длинные руки и недоуменно качнул головой:

— Мы не завод и не фабрика... Мы не можем себе позволять такой роскоши... Пролетарскому государству срочно нужен лес и поэтому мы стремимся иметь побольше трудовых дней... С нас достаточно одного раза в неделю для отдыха...

После завтрака расходятся, кто — куда. Точат и правят пилы. Работа кропотливая, как у часового мастера. Чинят топоры. Читают газеты, книги. Беседуют. Играют в шашки, шахматы... Старик Кукко открывает расписной сундучок и торжественно вытаскивает оттуда своего «Болдвина». Губы у него поджаты, глаза нахмурены и он играет с таким серьезным видом, как-будто решает труднейшую математическую задачу.

Иногда раздавались песни... В них не было ни малейших признаков семейно-эротического надрыва. В этих песнях отсутствовали покинутые младенцы, тоскующие матери, обиженные любовницы, кающиеся соблазнители. Песни были грустные, потому, что тяжело в шахтах и лесах под гнетом капиталистических эксплуататоров. Песни были веселые, когда рабочие чувствовали свою силу и включались в борьбу с классовым врагом. Песни были восторженные, когда чувствовалось в них биение революции и сладость предстоящих побед.

После обеда разбрелись. Всем было известно, что вечером предстоит интереснейшее событие. Из двадцать четвертого квартала при-

ехал киномеханик и привез новую картину.

В двадцать третьем квартале, где жили трактористы, сразу узнали о киносеансе и сюда собирались притти механики.

В двадцать третьем квартале жили три девушки, уборщицы. Они исполняли в бараках хозяйственные обязанности. Когда я проезжал к канадцам, мне пришлось здесь на несколько часов остановиться.

Женщины в лесу, где их так мало, предмет особого внимания и забот. Ни в городах, ни в деревнях я никогда не видел такого благоговейного уважения, каким здесь окружена женщина. Она это чувствует. Это ей создает бодрость, уверенность, красоту. Она властвует и даже... чуточку деспотична. О, будьте уверены, ни один лесоруб не позволит себе откровенной вольности, если этого не пожелает женщина. Они себя держат здесь, как невесты, о которых можно только мечтать.

В этот день за мной заехал тракторист Юра, студент Ленинградской лесной академии. Мы прошлись с ним в барак трактористов. Одна из девушек, нарядно одетая, приветствовала меня и пригласила к себе в комнату. Там уже сидели праздничные и счастливые две другие девушки и трое канадцев, подтянутые, стройные и очень сдержанные. Девушки-карелки угощали канадцев чаем и беседовали, с интересом усваивая необычные звучания финской речи.

Вечером девушки пришли в барак к канадцам, на киносеанс и были ласково приняты Фанни, которая проявляла сердечную нежность хозяйки, хлопоча вокруг гостей, готовая их сделать самыми близкими и родными.

Сеанс должен был начаться в столовой, сейчас же по окончании ужина. Как только закончилась вечерняя трапеза, немедленно отодвинуты были столы, одна за другой построены скамейки, повешен на стену экран и столовая-кухня, в один миг, превратилась в маленький провинциальный кинотеатр.

Уже уселись все на свои места, уже выстраивались в очередь у динамо студенты, чтобы вертеть машину, и, пока механик приводил в порядок свой аппарат, политруковод Лахти открыл собрание и предоставил мне приветственное прощальное слово...

Я приблизительно сказал следующее:

— «Товарищи!.. Вы настоящие ударники и доказываете это своей повседневной работой... Вы все хорошо грамотны, но среди вас есть и такие, которые литературно грамотны. Вы рабкоры и в ваших руках перо, как пила и топор. Российская ассоциация пролетарских писателей, сокращенно называемая «РАПП», доказала, что писательское ремесло не тайна, в которую посвящены избранные, а искусство, доступное каждому рабочему и, в особенности, ударнику... РАПП об'явил призыв ударников в литературу, и если вы об этом хорошенько подумаете, то увидите, что должны немедленно включиться в этот призыв и написать в художественной форме о своей работе, о своем быте, о своей организации... Ваши произведения будут переведены на русский язык и миллионы наших ударников сумеют использовать ваш опыт...»

Перевел мои слова на русский язык, добавив еще и от себя, учитель Михаил Иванович Меркурьев, и речь его канадцы покрыли аплодисментами.

Они огласили свою резолюцию:

«Канадские рабочие обещают отразить в литературной форме свой быт, свои методы работы, свои достижения и свои трудности. Канадские рабочие заверяют пролетарскую общественность, что они приложат все усилия для выполнения пятилетки в четыре года и вместе, рука об руку с русскими рабочими, доведут победу социализма до конца».

Завертелось динамо. В большой керосиновой лампе опустили фитиль. На белой стене зашипела и появилась картина.

Бернард Шоу

С. Динамов

I

В семидесятых годах прошлого века капиталистическая Англия получает удары промышленной депрессии, на ее горизонте вздымаются суровые облики конкурентов — Германии и Америки. Англия начинает энергично «округлять» свои владения, приобретает с 1884 г. по 1900 г. около четырех миллионов квадратных миль территории с 57 миллионами населения. Чемберлен пытается привязать к капиталистической Англии широкие слои мелкой буржуазии и рабочего класса. «Посмотрите на результаты нашей связи с колониями, — говорит он, — последствия нашего влияния в Египте и могущества в Индии, на громадные усилия, делаемые нашими соотечественниками, чтобы развить еще не изведанные громадные области африканского континента, и вы убедитесь, что сущность трудящихся классов больше зависит от успеха наших заграничных предприятий, распространившихся по всей вселенной, нежели от каких-либо искусственных мер, направленных к поощрению производительности». Эту же политику создания рабочей аристократии и разложения пролетариата проводит и знаменитый Сесиль Родс, человек, который гордо заявил, что если другие мыслят провинциями, то он мыслит целыми континентами. Вот его платформа, которая стала вместе с тем платформой международного оппортунизма: «я был вчера в лондонском Ист-Энде и посетил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком: «хлеба, хлеба», я, идя домой и размышляя о виденном, убедился, более чем прежде, в важности империализма. Моя заветная идея есть решение социального вопроса, а именно: чтобы спасти 40 миллионов жителей Соединенного королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для размещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя — это вопрос желудка. Если не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами».

Империализм — это последний этап капитализма, период всеобщего кризиса капиталистической системы, загнивания капитализма, приобретающего все более и более паразитарный характер. Эпоха империализма резко вскрывает основные противоречия капиталистического строя. Анархия производства, истребительные войны, разрушающие миллиарды ценностей и уничтожающие миллионы человеческих жизней, — все это сковывает капитализм, тянет его к бесконечным кризисам и к конечной гибели.

Эпоха империализма порождает новые явления и в мировой литературе. С одной стороны, выступает империалистическо-фашистское крыло художников-организаторов капитализма, его активистов и борцов, своеобразных капиталистических рационализаторов (Пьер Амп, Ферсгофен, Жорж Лефевр, Маринетти, Дирк Зееберг, Монтерлан и т. д.). Одновременно становится все более многочисленной группа художников рантьеризма, в творчестве которых наглядное выражение получает свойственный финансовому капитализму паразитизм (Марсель Пруст, Стефан Цвейг, Казимир Эдшмид, Поль Моран, Джон Голсуорси, Эрнест Хемингуэй, Джозеф Гержсхеймер и т. д.). Оба эти крыла смыкаются, они не отделены резкой гранью одно от другого, представляя две стороны одного явления.

В эпоху империализма пышно расцветает реформистская, оппортунистическая, социал-фашистская литература. Империализм воспитывает своих «цепных псов» (выражение В. И. Ленина) из среды рабочей аристократии и чем ближе к нашему времени, тем ярче выступает предательская сущность этих художников.

Мелкая буржуазия, теснимая империализмом, дробимая огромными трестами, картелями и синдикатами, но пользующаяся, как и рабочая аристократия, подачками империализма, колеблется между капитализмом и социализмом, между буржуазией и пролетариатом, становясь иногда прочным союзником рабочего класса, как это было с крестьянством в нашу революцию. Острота классовых конфликтов в эпоху империализма создает радикальное настроение среди определенных слоев мелкой буржуазии.

Так, в конце прошлого века в Америке мелкобуржуазная интеллигенция выступила против господства трестов, против финансового капитализма, выдвинув и своих художников-бунтарей (Стифен Крэйн, Фрэнк Норрис, Хэмлин Гарлэнд, позднее — Теодор Драйзер). Этот мелкобуржуазный бунт ни к чему не привел, ибо он был направлен и против рабочего класса, лозунги этого бунта были обращены назад, а не вперед. Одновременно мелкая буржуазия поставляет капитализму и реакционных идеологов, которые полностью переходят в буржуазный лагерь, становясь его мозгами. Углубление всеобщего кризиса капитализма, рост коммунистического влияния, нарастание революционного движения во всем мире, успехи социалистического строительства в СССР, оттягивают к нам лучших представителей мелкой буржуазии, перешагивающих буржуазные границы, прощающихся со своим прошлым и отдающих себя делу защиты рабочего класса. Мировой рабочий класс отвоевал величайшего художника наших дней Ромен Роллана, ныне выступающего против гуманизма, под знаменем которого он стоял почти всю свою жизнь. Теодор Драйзер, мировой писатель, также разрывает путы буржуазной идеологии, его последние выступления направлены в защиту СССР, на поддержку сражающегося рабочего класса. Теодор Драйзер выступил против фашистской части американской интеллигенции, прикрывающей свой фашизм маской гуманизма (статья в журнале «Мыслитель», Нью-Иорк, июль 1930 г.). В своей книге «Драйзер смотрит на Россию» великий писатель дает дружественную оценку социалистическому строительству в СССР, которое ведет «человека от нищеты и невежества к знанию и счастью». В своем открытом письме клубу имени Джона Рида в Нью-Йорке от 10 июня 1930 г., Драйзер противопоставляет нашу систему капиталистической, заявляя: «настает новый порядок вещей, и мы убеждаемся в этом на примере заграницы: в России делается попытка осуществить новый строй, и, несмотря на все препятствия, она удается; в Англии же, где такой попытки нет, нищета». В своих последующих выступлениях Драйзер еще более идет влево (статьи «Право на революцию», «Безработный Нью-Йорк», «Дело Муни и Америка», очерки забастовки горняков, напечатанные в американской прессе в июне 1931 г. и вызвавшие яростный ответ руководителя социал-фашистской американской федерации труда Грина). Чем шире охватывается капитализм всеобщим кризисом, чем глубже раскалывается его система, тем ближе подходят к нам лучшие представители западной интеллигенции, для которых СССР становится новым отечеством.

Путь Бернарда Шоу характерен для мелкобуржуазной интеллигенции в эпоху империализма. Шоу — продукт этой эпохи. Шоу созревал и творчески вырастал вместе с созреванием финансового капитализма. Но его путь ведет его не к гибели, а к возрождению, ибо он отталкивается от буржуазного строя, отказывается, сам еще этого не понимая, от своего прошлого, идя по следам Ромен Роллана, но еще не подойдя к нему и отставая от него.

II

Историк английского империализма Гобсон начинает летоисчисление империализма в Англии с восьмидесятых годов. Эти годы были годами творчества Бернарда Шоу. Родившийся в 1856 г. Бернард Шоу в 1876 г. выступает в «Общественном мнении» со своим атеистическим кредо. Это вызывает взрыв негодования и возмущения против молодого бунтаря, который, однако, этим не сламывается, а продолжает свой путь дальше. В восьмидесятых годах перед Бернардом Шоу раскрываются страницы «Капитала» Маркса, причудливо сочетаясь в его уме с мелкобуржуазным филантропом Генри Джорджем, «Прогресс и бедность» которого одновременно изучает Бернард Шоу. В 1884 г,

Бернард Шоу вступает в фабианское общество, платформа которого ничего общего не имеет с революционностью и построена на признании капиталистической системы, которую фабианцы надеются чуть-чуть реформировать мирными конституционными изменениями. В своем «Справочнике революционера» Шоу определяет фабианизм, как «мирную конституционную, нравственную, экономическую политику социализма для своего бескровного и благосклонного осуществления нуждающуюся только в одном: чтобы английский народ понял и одобрил ее».

В своих многочисленных памфлетах Бернард Шоу неоднократно защищает именно такой «мирный» социализм, выступая против марксизма («Иллюзии социализма», «Религия рояля», «Основа социализма», «История фабианского общества», «Здравый смысл о муниципалитете» и т. д.).

В восьмидесятых годах появляются в периодической печати первые романы Шоу. «Неразумный брак» и «Любовь артистов» — самые первые произведения, в которых еще не виден будущий бунтарь, тематика которых ограничена узким кругом семьи и брака, причем эти институты берутся в отрыве от общества в целом. Третий из (напечатанных) романов «Профессия Кэшеля Байрона» является некоторым расширением тематики. Шоу доказывает мысль, что профессиональное разделение общества есть классовое, что для общества, основанного на эксплоатации, эксплоатируемый неизбежно будет существом низшего разряда. Кэшель Байрон — боксер. То, что он должен драться за деньги, то, что бокс для него есть профессия, выбрасывает его из среды джентльменов и леди. Разрешение этого несложного противоречия дается Бернардом Шоу очень своеобразно. Интеллектуальный уровень, культурность, приличное происхождение — вот что спасает Кэшеля Байрона и приводит роман к благополучному завершению через женитьбу Байрона на богатой девушке. В романе «Социалист любитель» (1883 г.) Шоу обращается к высшим слоям общества, взрывая их незамутненное спокойствие образом бунтующего миллионера Трефусиса. Трефусис драпируется в тогу разрушителя. «Могу ли я быть счастлив, чувствуя себя потомком хищника, завладевшего всеми источниками жизни?» восклицает он. Он ясно видит, что его миллионы вырастают из эксплоатации. Он обличает «лицемерное общество, которое любит ложь и ненавидит правду». Трефусис непрочь пожалеть рабочих, понегодовать на капиталистов, покритиковать самого себя. Но бунтуя, он сохраняет в банке свои миллионы. Но сочувствуя рабочим, он не сочувствует их борьбе. Ведь капитализм нельзя уничтожить, лучше буржуазного строя ничего не придумаешь, рабочие некультурны и не способны к управлению,—значит, можно, прогромыхав словами, взволновав воздух фразами, мирно осесть, найдя хорошую жену. «Будучи от природы эгоистом, авантюристом, болтуном, стремящимся итти кривыми путями, я способен лишь играть в освободителя человечества»,—вот признание Трефусиса, полностью его разоблачающее. Безусловно ироническое отношение художника к этому своему герою. Шоу непрочь плеснуть на него едкой кислотой иронии. Но вместе с тем Шоу ничего и никого ему не противопоставляет, Трефусис оказывается единственным, что нарушает общественный порядок, что направлено против буржуазного строя.

К девяностым годам выступает Шоу-драматург, опрокидывая обычные каноны драматургии и театра, создавая идейную, боевую драматургию своего класса. В предисловии к пьесе «Человек и сверхчеловек» Шоу об'являет себя сторонником публицистического искусства. В памфлете «Как Шоу уничтожил господина Нордау» он выступает с своеобразным эстетическим манифестом, пропагандируя актуальное журналистское, но высокое по качеству искусство. Аристофан, Шекспир, Ибсен, Карпаччио — вот эти образцовые «журналисты»-художники.

Шоу — мастер публицистического диалога, идеи сталкиваются и борются в его пьесах, неразрывно связанные с политическим движением, с общественным положением мелкой буржуазии. Эта идейность Шоу, облеченная в яркую форму, вызвала попытки приспособления его к стандартному уровню, некоторые критики пытались об'явить его исключительно формальным писателем, у которого нет в сущности никакого содержания. Так, Генри Луи Менкен в первой книге своих «Предрассудков» говорит, что вся прославленная проницательность Бернарда Шоу заключается лишь в громогласном провозглашении общеизвестных истин. У Шоу, по мысли Менкена, — нет ни одной оригинальной идеи, ни одного мнения, которое до него не было бы кем-либо высказано. Шоу, с точки зрения Менкена, «мастер логического фокуса», не больше. Материал творчества Шоу

может быть взят из универсального магазина, или даже из лавки старьевщика, но манера у Шоу всегда своеобразна, присуща только ему— вот основной вывод Менкена. Это неверно. Более прав соотечественник Менкена Эдуард Вагенкнехт, который в своей книге «Справочник по Бернарду Шоу» (Нью-Йорк) говорит, что творчество Шоу является прекрасным введением в понимание современной жизни и общественной мысли. Не следует снижать Шоу, превращать его исключительно в формального писателя. Шоу заметил в американском журнале «Букмэн» в октябре 1930 г.: «я воспеваю мой собственный класс: оборванное благородство, бедного родственника, джентльменов, которые не есть джентльмены». Это признание Шоу его связи с мелкой буржуазией вполне отвечает действительности; именно этот класс питает идеологию художника.

III

Первая пьеса Шоу «Дома вдовиц» (1892 г.) вызвала бешеные нападки консервативной критики, что привлекло интерес зрителей и читателей и, в сущности, было для него наилучшей рекламой. Девяностые годы — тревожные годы. Судороги забастовок охватывают английский капитализм, удары кризиса бьют королевскую Великобританию. Шоу выразил настроение протеста и мелкобуржуазного бунтарства. Шоу не обольщается внешним обликом Британской империи, он пытается выяснить основу буржуазной культуры и морали, он стремится об'яснить источники этой культуры. Взор художника обращается вниз, к рабочему классу. Бросая взгляд снизу вверх, он видит, что огромное здание капиталистической цивилизации высится на костях трудящихся. Трущобы и дворцы, чистота и грязь, нежность и грубость, эксплоатация и порабощение, нравственность и преступления, мораль и отвратительную жадность, любовь и ростовщичество — все это сталкивает Бернард Шоу в этой пьесе. Джентльмен Сарториус, его нежная дочь Бланш, изящный благовоспитанный Тренч, все они вырастают на страданиях обитателей вонючих трущоб, платящих им ренту. Шоу подводит экономику под буржуазную мораль. У художника — зоркий взгляд, правильная ухватка, социальная глубина. Шоу доходит до самых границ левого фланга своего класса, однако, отшатывается от них в своей следующей пьесе «Волокита» (1893 г.), где смеется над ультраибсенистами и над художником Чартерисом, занимающимся лишь флиртом. В третьей пьесе «Профессия госпожи Уоррэн», написанной в том же 1893 г., Бернард Шоу берет очень смелую по тому времени тему о проститутке. Он не берет ее как исключительно сенсационную тему. Не это привлекает писателя. Он хочет понять это частное зло как зло всей общественной системы, как неизбежное при капитализме явление. Проституция создается буржуазным строем — вот вывод Бернарда Шоу. Уоррэн была работница. Но она видела, что фабрика, выжимая все соки из трудящейся женщины, сбрасывает ее потом или в могилу или в работный дом. Это — путь честности. Уоррэн предпочитает работному дому публичный дом. Это — путь нечестности, значит, путь успеха, ибо все общество основано на нечестности. Шоу намечает вместе с тем и путь решения. Это — образование, соединяемое с настойчивостью и решимостью. Этими качествами обладает дочь мадам Уоррэн, Виви, которая отказывается от матери, осуждает ее путь, избирая свободную профессию, как тропку безопасности на поле битвы.

Во всех дальнейших пьесах Шоу мы встречаемся с такими же героями, взламывающими установленное, разрушающими общепринятое, опирающихся на свою волю, на свою энергию, на свою индивидуальность, на свою решительность. «Шоколадный солдатик Блюнчли» (пьеса «Герои», 1894 г.) даже войну, даже смерть и разрушение побеждает своей настойчивостью, благополучно проходя по потрясенному миру с плиткой шоколада в кобуре, с ясным разумом — в голове. Блюнчли командует обстоятельствами, он твердыми шагами проходит по изрытой борьбой земле, он устойчив, этот «шоколадный солдатик», он тверд, ибо он верит только себе. Блюнчли, — решительность и настойчивость. Марчбанкс в «Кандиде» (1894 г.)— мягкость и нерешительность. И он побеждается, в то же время обретая силу для дальнейшей борьбы. Потерпев поражение один раз, Марчбанкс видит, что с миром ничего не сделаешь без борьбы. Кандида, остающаяся всетаки с мужем и оставляющая Марчбанкса, говорит ему о муже: «Я создаю для него твердыню комфорта, удовлетворение его прихотей любви и стою как часовой на страже, чтобы отогнать от него все мелкие неприятности и пошлые заботы... Ну, а скажите теперь вы, Евгений, представляю ли я собой для вас вашу мать и ваших сестер». Марчбанкс отвечает: «Никогда». На ее вопрос: «Сколько вам лет», Марчбанкс отвечает: «Теперь столько же,

сколько и миру. А сегодня утром мне было восемнадцать». Эта внезапная зрелость Марчбанкса есть зрелость полученного им опыта: бессилие не есть сила, нужно быть жестким, строить жизнь самому, нужно быть человеком, который борется как отдельная личность, сам отвечая за себя. Образ Цезаря в пьесе «Цезарь и Клеопатра» полно раскрывает эту идею Бернарда Шоу. Окружающие толкают его на кровь, на месть, на ярость, на жестокость. «Там, где измена, ложь и бесчестность остаются безнаказанными, там общество обращается в арену, где дикие звери разрывают друг друга в клочья», — говорит ему его секретарь Британи, являющийся ,очевидно, символом современной Шоу Англии. Клеопатра — мстительна и кровожадна. Приближенные Цезаря толкают его на путь ненависти. Цезарь вторгается в Египет, он сокрушает всякое сопротивление, он разрушает любые атаки, направленные на него. Но его сила — не сила крови. Он несет миру успокоение, бросая на мир грохот войны. Он берет вздрагивающий судорожно Египет и ставит его в орбиту покоя и гармонии. Он может переломить руку, которая заносит на него кинжал, но не заколоть убийцу. Гуманизм — вот евангелие Цезаря, провозглашаемое через его уста Бернардом Шоу. Пусть вспыхивают пожары борьбы, пусть плетутся сети заговора, пусть сотрясается земной шар войнами, пусть ревущие медные буккины римлян призывают воинов к битвам — Цезарь, полководец, победитель, вождь, достигнув победы, не омрачает ее мстительностью. Цезарь один совершает свой путь по ступеням истории. Шоу берет этот овеянный легендами исторический образ и создает из него новую мелкобуржуазную легенду. Этой своей пьесой художник говорит миру: даже в эпоху войны, когда падают троны и рушатся государства, гуманность и милосердие, воля и интеллект — побеждают и должны побеждать.

Эта же концепция торжествует и в ранней пьесе Шоу «Человек и сверхчеловек» (1903 г.), к которой Шоу приложил «Справочник революционера». Вот несколько афоризмов из этого «Справочника»:

«Искусство управления есть организация идолопоклонства».

«Политическое удобство от трона мы приобретаем ценою порождаемого им раболепия».

«Мозг глупого превращает философию в глупость, науку в предрассудок и искусство в педантизм. Таково университетское образование».

«Тюремное заключение также неисправимо вредно, как и смерть».

«Нет никакой нужды замещать преступника, приговоренного к смерти; но необходимо заместить социальную систему, осужденную на смерть».

«Так называемые животные были отомщены, когда Дарвин выяснил нам, что мы их братья. Грабители были отомщены, когда Маркс изобличил буржуазию в грабеже».

«Цивилизация есть недуг, вызванный привычкой создавать общество из негодного материала».

В этом «Справочнике» Бернард Шоу, говоря от имени своего героя Тэннера, выступает против частной собственности, против неравенства, против лживой демократии, против диктатуры меньшинства. Выход. Он прост: расовый подбор, улучшение человеческой породы, евгеника. Не нужны никакие революции, никакие перевороты, человечество легко и свободно может переделаться эволюционным путем. «Бросимте же это гусиное гоготанье относительно прогресса: человек, каков он есть, при помощи всех этих политических, научных, педагогических, религиозных или эстетических разглагольствований не в состоянии стать выше даже на вершок... Нация, ревизующая свои приходские советы однажды в три года, но не желающая пересмотреть своих верований хотя бы раз в триста лет, — даже когда верования эти начинают, как политический компромисс, диктоваться господином «и нашим, и вашим», — оказывается нацией, нуждающейся в коренном переустройстве. И так, единственная наша надежда на эволюцию. Мы должны заменить человека сверхчеловеком... Единственно радикальный и возможный социализм состоит в социализации полового отбора человека; или, другими словами, в эволюции человечества».

Бернард Шоу берет человечество как единое и неразделенное на классы. Отсюда его евангелие спасения, как улучшение человеческой расы вообще, как эволюционное изменение человечества в целом. С одной стороны — индивидуализм, с другой — сплошной «коллективизм». Эта проповедь Бернарда Шоу — мелкобуржуазна в своей основе. Он стремится занять среднее место, примирить оба классово враждебных лагеря, он хочет спасти мир через бесклассовый эволюционный «социализм». Этот

мелкобуржуазный гуманизм Шоу присущ не только ему, мы встречаем его у ряда писателей этой общественной прослойки, а в самое последнее время гуманизм становится маской фашизма (в Америке: Ирвинг, Бэббит, Поль Эльмер Мор, Т. С. Эллиот, Норман Фэрстер и др., во Франции: Жульен Бенда, Гостон Риу и т. д.). Характерно, что Ромен Роллан в своих последних выступлениях резко критикует гуманизм, полемизируя в частности с фашистом-гуманистом Риу. Разящие удары гуманизму наносит также и М. Горький.

Честертон в своей книге «Бернард Шоу» отмечает оптимизм этого художника, называя его «трагическим оптимистом». Вот этот оптимизм бунтаря именно и есть одно из проявлений связи его с капитализмом. Художник не пришел еще тогда к выводу, что капитализм должен быть уничтожен без всяких компромиссов, без всяких ослабляющих и отдаляющих крушение капитализма мелкобуржуазных иллюзий, что капитализм угрожает гибелью всей человеческой культуре.

IV

В пьесе «Другой остров Джона Буля» (1904 г.) Шоу раскрывает империалистическую политику Англии в отношении Ирландии, вводя в предисловие очерк «Ужасы Деншавая», который направлен против колониальной политики Англии.

В пьесе «Человек судьбы» (1895 г.) Бернард Шоу вкладывает в уста Наполеона резкую критику английского империализма:

«Англичанин в качестве великого борца за свободу и национальную независимость завоевывает и присоединяет к своей стране полмира и называет это колонизацией. Нужен ему, например, новый рынок для его залежавшихся манчестерских товаров, — он сейчас же снаряжает миссионера проповедывать туземцам евангелие мира. Туземцы убивают миссионера; тогда он прибегает к оружию для защиты христианства; сражается за христианство; делает завоевания ради христианства и как воздаяние с неба захватывает рынок. Защищая родные берега, берет с собою на борт своего корабля священника; на брамстеньгу прибивает флаг с крестом; и носится по морю во все концы мира, топя, сжигая и разрушая все, что оспаривает у него его господство над водами. Он гордится тем, что раб становится свободным, чуть только ступит ногою на почву Британии, а сам продает детей своих бедняков, заставляя их под угрозою телесного наказания работать с шестилетнего возраста на фабриках по шестнадцати часов в сутки. Сам совершает у себя две революции, затем об'являет войну нашей революции во имя законности и порядка. Нет ни одной дурной, ни одной хорошей вещи, которую бы не проделали англичане. Но никогда вы не найдете, чтобы англичанин был неправ. Он ничего не делает без принципов: сражается с вами из принципа патриотизма, грабит вас из принципа деловитости; дерется он с вами — это принцип мужественности; поддерживает он своего короля — это принцип лойяльности; отрежет своему королю голову — это республиканский принцип. Лозунг его постоянно — долг, обязанности; и при этом он никогда не забывает, что погибла та нация, у которой обязанности расходятся с интересами». Таким образом еще до мировой войны мы имеем выступления Бернарда Шоу против империализма.

Шоу ответил на залпы войны памфлетом «Здравый смысл о войне», опубликованным в первые месяцы войны. В этом памфлете Шоу резко критикует казенный патриотизм, утверждая, что все правительства одинаковы, что все они в равной мере обманывают свои народы, что «Англии нечего представляться невинной газелью, на которую напал злой волк». Шоу приводит факты антинемецкой пропаганды, которую Англия вела за сорок лет до мировой войны. Нужно бы, пишет Шоу, — солдатам перестрелять своих офицеров и отправиться домой. Это героический, но все же лучший выход. Однако, не надеясь, что солдаты осуществят эти решительные мероприятия, Шоу сползает к защите войны и добрую половину своего памфлета посвящает тому, какие средства нужно использовать, чтобы привлечь в армию новые кадры солдат.

Но мировая война все же не прошла бесследно для Бернарда Шоу, как и для всей мелкобуржуазной литературы Запада. В результате войны и послевоенного кризиса капитализма на Западе зарождается новая группа интеллигенции, которая начинает выступать против войны, а после ее окончания — начинает критиковать капиталистическую систему. Одни из этих мелкобуржуазных писателей входят в ряды коммунистической партии (Анри Барбюсс), другие проделывают значительную эволюцию влево, не становясь, однако, коммунистами, но с огромным сочувствием относясь

к СССР (Ромен Роллан), третьи, выражая свои симпатии нашей борьбе, все же не отрываются от буржуазного общества (Анатоль Франс), четвертые, выступая иногда вместе с рабочим классом, защищая СССР, все еще не могут перебороть своей мелкой буржуазности, склоняясь к гуманизму (Джон Дос Пассос), пятые решительно отбрасываются от капитализма и идут к нам, предолевая свое прошлое (Теодор Драйзер). Бернард Шоу ответил на кризис эпохи войны своей пьесой «Дом разбитых сердец» (1917 г.), в которой вскрыл пустоту и загнивание правящих классов Европы.

В своих послевоенных пьесах Бернард Шоу все еще продолжает цепляться за свой мирный «социализм», за эволюционную теорию. Его огромная пьеса «Назад к Мафусаилу» (1921 г.), наряду с критикой парламентаризма и буружазной демократии, в то же время свидетельствует, что художник покоится на своих старых позициях эволюционизма и биологизма. Долголетие — вот что предлагает Бернард Шоу испепеленному войной миру. Кому долголетие? Инвалидам войны?! Безработным?! Голодным?! Задавленным кризисом мелким буржуа?! Эксплоатируемым по всем правилам капиталистической рационализации рабочим?! Кому же долголетие?!! Разве количественное увеличение срока существования человечества что-нибудь решает? Долголетие лишь будет раздвигать масштаб эксплоатации и нищеты и роскоши и довольства. Шоу не видит этого. Шоу не понимает, что его биологизм направлен на защиту буржуазного строя, на смазывание противоречий капитализма. В своем «Справочнике о капитализме и социализме для интеллигентных женщин» (1928 г.) Шоу, наряду с критикой капитализма, в то же время выступает против революции. Любопытно отношение к этой книге со стороны мелкобуржуазных критиков. Гарольд Ласки замечает, в журнале «Критерион» (декабрь 1928 г.), что Шоу с большой силой нападает на существующий порядок вещей, что, прочитав его обвинительный акт против капиталистической цивилизации, нельзя не согласиться с тем, что эта цивилизация непримирима с нравственными принципами.

Но это, как говорит Ласки, есть самая легкая часть из поставленных Шоу задач. Главное — чем же заменить капитализм? Шоу предлагает установить одинаковый для всех доход. Это возможно, как правильно отмечает Ласки, только через гражданскую войну. Но Шоу говорит противоположное: с его точки зрения консервативные партии столько же сделают для социализма, сколько и социалистические. Стюарт Чэйз в своем отзыве на данную книгу в «Букс» (июнь 1928 г.) пишет, что Шоу оказался между двумя стульями. Чэйз находит все рассуждения Шоу очень наивными, упрекая Шоу также и за то, что он забывает об опыте СССР.

В своей последней пьесе «Тележка с яблоками» (поставлена в 1929 г., издана в 1930 г.) Бернард Шоу продолжает эту же линию. В пьесе есть яркие страницы, направленные против парламентаризма и социал-фашизма. Но пьеса в целом — тревожная. Шоу слишком много шутит в этой пьесе, он слишком мягок по отношению к главному герою пьесы — королю Магнусу, который представляет из себя в сущности идеализированного фашиста.

Противоречива идеология Бернарда Шоу. Художник эпохи империализма, лицом к лицу стоящий перед огромными противоречиями этой эпохи, видящий загнивание всей системы, наблюдающий оцепенение некогда столь бурно росшего капитализма, сталкивающийся с той борьбой, которую ведет рабочий класс, широко открывающий свои зоркие глаза большого писателя на все явления действительности, — Бернард Шоу, как художник мелкой буржуазии, как выразитель ее настроений протеста, не мог до конца связать свою судьбу с капитализмом, обреченным на гибель. Большая трагедия этого художника в том, что он не сомкнул силы своего протеста с силой единственного революционного классса — пролетариата. Бунт Бернарда Шоу — это бунт одиночки, бессильного даже в период своего высочайшего под'ема. Пятьдесят лет шел Бернард Шоу этим одиноким путем, пятьдесят лет капитализм давил на этого художника, используя его и не боясь ударов его критики, ибо за ней не стоял класс, могущий эту критику словом превратить в критику действием. Бернард Шоу обращался со своими призывами к правящим группам или к мелкой буржуазной интеллигенции, он от них ожидал спасения от ужасов капитализма. Бернард Шоу полагал, что возможен реформированный, подчищенный и приглаженный капитализм без войн, кризисов, национального угнетения, нищеты и бедствий. Бернард Шоу думал, что новое человечество может быть создано путем эволюции — медленным, но без потрясений, длительным, но без классовой борьбы. Действительность

разбивала беспощадно эти мелкобуржуазные иллюзии. А художник все снова и снова, опять и опять, падая и вновь поднимаясь, поднимаясь и вновь падая, возвращался к ним и неустанно продолжал свой трагический сев, не собирая жатвы. Беспощадный ветер капиталистической действительности сдувал его семена, и над опустошенным полем пятидесятилетней работы одиноко вздымалась фигура художника, скованного своим классом, бессильного в своей огромной творческой силе, беспомощного в своей огромной художественной мощи. Шоу никогда не стоял в центре действительной борьбы с капитализмом. Но Шоу никогда не был сознательным безоговорочным защитником буржуазного строя. В момент самой большой близости художника к капитализму всегда находилось нечто, мешавшее этой близости быть близостью до конца, до растворения. Так, толчками, развивался художник, пока не вспыхнула Октябрьская революция, пока рабочий класс царской России не создал СССР. Началась новая полоса в развитии Бернарда Шоу, которая не находит еще места в его творчестве, протекающем по старым каналам эволюции и гуманизма. Но Шоу публицист, журналист, уже начинает говорить другим языком. Он заявил в Колонном зале Дома союзов 26 июля 1931 г.:

— Товарищи, вот уже десять лет под ряд, как я говорю англичанам всю правду о России. Я не выжидал проведения пятилетки в жизнь. Уже в 1918 г., когда о России на капиталистическом Западе говорились самые отвратительные вещи, я однажды послал одну из моих книг Ленину с посвящением, полным энтузиазма, в надежде, что это посвящение будет опубликовано во всей Европе... Я знаю много о том, как вы тогда страдали. Но уже с самого начала я верил, что победа будет за вами. И я знал также, что, независимо от того, победите ли вы или потерпите поражение, мой долг заключался в том, чтобы помочь вам всем, на что я способен».

Когда на Западе велась против нас кампания самой невероятной лжи и клеветы, Бернард Шоу выступает в нашу защиту. Он встречает 1921 год статьей «Ужасы Советской России», в которой выступает с трезвой и дружественной оценкой положения. «Русский солдат,— пишет он, — сделал одну, чрезвычайно удивительную вещь. Долго он сражался, испытывая ужасные страдания, а потом ему вдруг пришла в голову одна остроумная мысль, он взял и неожиданно перестал сражаться, вернулся домой и — захватил себе земли страны. Это — с точки зрения грабительских классов других стран — была первая ужасная русская жестокость. Может быть, это и есть жестокость, но если это так, то это жестокость очень практическая и хорошая.

Когда потом русские приступили к организационной работе, они стали организовывать промышленность в интересах народа, уничтожая бездельников, а также буржуазную демократию, стоявшую им поперек дороги». Бернард Шоу дает дальше восторженную оценку Ленину:

«В данный момент есть один только интересный в самом деле государственный деятель Европы. Имя его — Ленин. По мнению Ленина, социализм не вводится большинством народа путем голосования, но, наоборот, осуществляется энергичным меньшинством, имеющим убеждения. Нет никакого смысла ждать, пока большинство народа, очень мало понимающее в политике и не интересующееся ею, не проголосует вопрос, тем более, что вся пресса дурачит его, надувая ему в уши всякие нелепости». И дальше Шоу продолжает:

«Мы, социалисты, завоевав себе немного удобств и комфорта, готовы ждать, но люди, желающие в самом деле что-нибудь сделать, как Ленин, не ждут...» Шоу отмечает правильность положения, что нетрудящийся да не ест, противопоставляя это общественному строю Англии, в котором трудиться обязаны все, кроме тех, кто принадлежит к буржуазному классу.

«Ленин сделал еще одну «ужасную вещь»,— говорит Шоу. — Предположим, что вы воюете с большевиками. Предположим, что большевики одолевают вас. Вы в плену и уже заранее знаете, что с вами сделают большевики (отрежут кончики пальцев, нос, уши и т. д.). Когда вы отдохнете, к вам является человек с кипой литературы и спрашивает: «Вы англичанин?» Вы, разумеется, с гордостью, отвечаете: «Да». Тогда он подает вам целую кипу большевистской литературы на английском языке и вы должны читать ее. Вы начинаете понимать, чего хотят и что делают большевики. Затем вас посылают три раза в неделю в театр и пускают гулять по городу, чтобы вы видели, как идет жизнь. Вас заставляют читать книги точно так же, как это делают у нас высшие классы с детьми в церковных школах. Они напихивают в ваши головы свои идеи. Эта «жестокость» со-

вершается ими, однако, не только над взрослыми, но и над всеми детьми России. Русских детей теперь с ранних лет учат, что в высшей степени бесчестно для человека не быть производительным работником. Вот каким «ужасам» учат большевики детей».

С известной симпатией отзывается Бернард Шоу о Советском Союзе и в предисловии к своей пьесе «Назад к Мафусаилу» (1921 г.). В 1925 г. вышла в Лондоне книга Ачибальда Гендерсона «Застольные беседы Бернарда Шоу». В этой книге имеется ряд высказываний Шоу о социализме и коммунизме. Приведем некоторые из них:

Гендерсон. Вы анархист?

Шоу. Слава богу, нет. Прочтите мою работу «Невозможность анархизма». Я — коммунист. Анархизм означает отсутствие законов.

Гендерсон. Будем продолжать наш катехизис дальше. Вы социалист?

Шоу. Ну, вот еще! Я же вам сказал, что я коммунист; а вы спокойно спрашиваете, социалист ли я. Как будто возможно быть коммунистом без того, чтобы быть социалистом!

Гендерсон. Большевик ли вы?

Шоу. Еще Карл Маркс сказал, что если придет революция, ее вожди должны перебросить мост над хаосом через диктатуру. Если бы здесь случилась социалистическая революция, диктатура назвала бы себя диктатурой пролетариата. Именно это случилось в России; и это случайно было названо большевизмом. Но ведь здесь нет революции; как же я могу называть себя большевиком?

В этой же книге Гендерсон отмечает, что Шоу сочувственно характеризует идеи Ленина.

В 1931 г. Шоу выступил в английском журнале «Джон Буль» с положительной оценкой пятилетки.

«Исключение России из международной торговли было актом слепоты и сумасшествия со стороны капиталистических держав,—говорит он. — Бойкотируя Россию путем неистового террора против коммунизма, они предоставили ее собственным ресурсам и заставляли спасать себя при помощи развития своих физических и культурных сил».

«Сейчас, — продолжает Бернард Шоу, — ленивая, пьяная, грязная, суеверная, рабская, безнадежная Россия отвратительного царизма становится энергичной, трезвой, чистой, по-современному интеллектуальной, независимой, цветущей и бескорыстной коммунистической страной».

«Пятилетний план, — указывает далее Бернард Шоу, — завершается успехом, ибо каждый мужчина, женщина и ребенок, занятые планом, знают, что результаты принесут ему пользу, а не будут расточаться лентяями. Они знают, что пятилетний план уже дал им короткую рабочую неделю и более высокую заработную плату, а также воспитательные и культурные возможности, о которых не мечтали их отцы, и полное социальное признание как действительно органической части общества. Такой план невозможен в Англии или Америке, так как рабочие знают, что их усилия означали бы лишь более высокую прибыль для лентяев, сокращение продолжительности жизни и потогонные условия труда для самих рабочих».

В заключение Шоу указывает, что мировая война дала ужасный урок, свидетельствующий о бессилии капитализма. Второй урок заключается в успехе пятилетнего плана и освобождении России через коммунизм. «Неужели мы совершенно неисправимы?» — спрашивает Шоу.

Приезд Бернарда Шоу в СССР приобретает тем большее значение, что Шоу приехал сюда, чтобы здесь отпраздновать свое семидесятипятилетие. Три четверти века жизни, две с лишним четверти — творческого труда. Самый старый художник нашего времени становится самым молодым, ибо он откалывается от старого, гниющего капитализма. Он заявил в своей речи в Колонном зале в Москве:

«Смысл моей поездки в Советскую Россию не в том, чтобы иметь возможность сказать англичанам что-нибудь такое, чего я раньше не знал, а в том, чтобы иметь возможность ответить им в тех случаях, когда они говорят мне: «А, вы считаете советскую Россию замечательной страной, но вы ведь там не были, вы не видели всех ужасов». Теперь, когда я вернусь, я смогу сказать: «да, я видел все «ужасы», и они мне ужасно понравились».

Шоу рассматривает свой приезд в СССР как продолжение его прежней линии защиты и дружественного отношения к СССР. И он прав. Его приезд к нам — есть вызов буржуазному строю, и, одновременно, призыв к Западу последовать опыту пролетариата царской России, сбросившего капитализм и создавшего СССР. Шоу говорит:

«Россия оказалась первой. Английскому народу надо было бы стыдиться, что он вас не

опередил. И вместе с Англией все западные нации должны были бы разделять это чувство стыда и завидовать вашей славе. Когда вы доведете ваш эксперимент до торжествующей конечной победы, — а я знаю, что вы это сделаете, — то мы на Западе, мы, которые все еще только играем в социализм, мы должны будем последовать по вашим стопам, — хотим ли мы этого или не хотим».

В своей речи в Ленинграде 25 июля 1931 г. в киностудии Союзкино для звуковой фильмы «Ленин», Бернард Шоу указывает: «вы не должны думать, что значение Ленина — дело прошлого, потому, что Ленин умер».

«Мы должны думать о будущем, — продолжает Шоу, — о значении Ленина для будущего, а значение его для будущего таково, что если опыт, который Ленин предпринял, — опыт социализма — не удастся, то современная цивилизация погибнет, как уже много цивилизаций погибло в прошлом. Мы знаем теперь из истории, что существовало очень много цивилизаций и что они, достигнув той точки зрения, до которой дошел теперь западный капитализм, гибли и вырождались. Неоднократно представители человеческой расы пытались обойти этот камень преткновения, но терпели неудачу. Ленин создал новый метод и обошел этот камень преткновения. Если другие последуют методам Ленина, то перед нами откроется новая эра, нам не будут грозить крушение и гибель, для нас начнется новая история, о которой мы теперь не можем даже составить себе какого-либо представления». Председательствовавший на вечере в Колонном зале т. Халатов правильно выделил конец этой речи Бернарда Шоу:

«Если будущее с Лениным, то мы все можем этому радоваться, если же мир пойдет старой тропой, то мне придется с грустью покинуть эту землю».

Бернард Шоу пришел к пониманию того, что капитализм — это есть гибель всей культуры, истребление всего лучшего и ценного, что дали тысячелетия развития человечества. Бернард Шоу, вступая в свой путь к последней четверти своего столетия (будем надеяться, что Шоу будет жить еще долго), обращается к Ленину и к рабочему классу, как к единственным спасителям мировой культуры.

Бернард Шоу не раз подвергался яростным атакам реакционной критики. Так, некий Рене Гроо выступил в декабре 1926 г. в «Меркюр де Франс» со сплошной руганью за то, что Шоу против семьи, религии, «сердца», и т. д. Согласно Гроо, единственно ценное в творчестве Бернарда Шоу, — это его критика марксизма. Что скажут теперь все эти реакционеры и противники СССР, когда Бернард Шоу нашел такие горячие и дружеские слова для оценки нашей борьбы и нашего строительства, когда великий художник, лично ознакомившись со строительством социализма, выступил против буржуазной лжи и клеветы, опровергнув всяческие басни об СССР и признав, что СССР есть единственная надежда человечества?!

Переступив границы СССР, Бернард Шоу в ряде интервью выступил с решительной защитой СССР. Возвращаясь из СССР, Бернард Шоу заявил представителям печати в Варшаве:

«Я был коммунистом раньше, а теперь, после пребывания в СССР, я сделался коммунистом еще в большей степени. Советская Россия является величайшим положительным фактом». Западная пресса уже начинает выступать против Бернарда Шоу. Помимо уже отмеченных выше высказываний, Шоу в беседе с представителем газеты «Вельт ам абенд» заявил: «все, что пишут буржуазные газеты о СССР,— ложь, ложь и еще раз ложь».

«Советский Союз является той страной, — сказал также Шоу, — которая покончила со всеми старыми традициями и парламентскими методами. В парламентах всегда говорят, — ждите, ждите еще полчасика, завтра все уладится... Но в СССР сразу взялись за работу, и поэтому я того мнения, что эта система работы и производства может быть распространена на все страны».

«Сталин, — сказал Шоу, — очень приятный человек и действительно большой руководитель рабочего класса».

Нет никаких сомнений, что помимо прямых выступлений против Бернарда Шоу будет пущена в оборот старая версия о том, что Бернард Шоу — это только шутник, ни во что не верящий и всем играющий. Французский критик Клод Бертон заявил в «Нувель литерэр» в ноябре 1924 г., что Шоу писатель, забавляющий марионетками британскую толпу. Фрэнк Харрис в 1926 г. заметил в немецком журнале «Ди нейе рундшау», что Шоу не нужно брать всерьез, ибо он юмористически воспроизводит жизнь. Бернард Шоу немедленно на это ответил, что «не принимать Шоу всерьез, значит — набрасывать плащ для трусливого бегства из боязни столкновения с ним».

Наши западные товарищи уже давно выступили против такой поверхностной точки зрения на творчество и политические высказывания этого большого художника. Так, товарищ Джексон в 1925 г. в английском журнале, «Коммунистическое обозрение», призывал к тому, чтобы рассматривать творчество Бернарда Шоу серьезно.

Да, Шоу умеет смеяться. Но он приносит в мир смех на острие режущей сатиры. Этого забывать не нужно.

Шоу начинает новый этап своего творчества. Он еще многого не понимает. Он не понимает, в частности того, что он должен начать борьбу со старым Шоу, что он в прошлом вовсе не был подлинным революционером, подлинным социалистом, подлинным противником буржуазного общества, что, наоборот, его реформизм, его фабианский мирный социализм об'ективно служили буржуазному строю. Бернард Шоу должен пересмотреть свое прошлое, закрепив этой переоценкой свое отношение к нашей революции, свою горячую оценку СССР. Именно на этот путь стал за последний год Ромен Роллан, «прощающийся с прошлым», выступающий против гуманизма. Бернард Шоу еще не встал на этот путь. Он еще думает, что он был прав на протяжении полвека своей творческой работы. Будем ждать от Бернарда Шоу, большого писателя, сдавленного мелкобуржуазной идеологией, что он теперь, освобождаясь от нее, обнаруживая правильное понимание СССР, выступая с горячей защитой Советского Союза, — поймет свой путь ошибок и поражений, свой путь мелкобуржуазного бунтаря. Этот пересмотр прежних позиций даст свежие силы великому художнику. Будем ждать от Бернарда Шоу новых шагов на новом пути!

Ромен Роллан и революция

Ив. Анисимов

I

Ромен Роллан находится сейчас на самом высоком под'еме своего развития. Огромный художник, взрощенный последней буржуазной эпохой, разрывает свою классовую ограниченность, становясь на сторону пролетариата. Он не одинок в этом обращении к новому миру — во всех странах капитализма назревающая пролетарская революция находит своих союзников среди лучших людей буржуазной интеллигенции, не растленных империалистическим загниванием.

«Я могу вам уже сказать или предсказать: я не один. Многие на Западе последуют за мной. События последнего года гораздо глубже всколыхнули здоровое сознание Запада, чем это предполагает прогнившая пресса.

Смотрите на меня, как на предвестника нового Запада, идущего к вам» [1].

Ромен Роллан представляет своеобразнейшее порождение эпохи империализма. Он никогда не выпускал из рук оружия критики капиталистического мира, но сам он неразрывно с этим миром связан. На протяжении четырех десятилетий Ромен Роллан противопоставляет себя империализму и вместе с тем отказывается занять революционную позицию.

В годы мировой войны с огромной силой вскрылись противоречия Роллана. И теперь, переоценивая все ценности, «прощаясь с прошлым», Роллан, прежде всего, обнажает ошибочность, бесплодие, трагическую слепоту, вредность пацифистских иллюзий, которые он разделял в годы войны.

В чем корни двойственности Роллана? Его произведения направлены против империалистической эпохи, стремятся развенчать ее, заклеймить — и вместе с тем никогда эта патетическая критика не была последовательной, бескрылость ее поистине трагична. Толстовскую, непротивленческую позицию, в сущности означающую примирение с капитализмом, занимает Роллан. В этом — определяющая линия его развития. Мы увидим, как много глубоких, полных своеобразия, ярких формул находит Роллан для выражения идеи компромисса с империалистической эпохой. Только сейчас революционный кризис приводит его к решительному повороту, к разрыву с идеей компромисса.

Что обусловило одновременно энергичную, напористую цепкость критики капитализма со стороны мелкобуржуазного идеолога и вместе с тем нейтрализовало эту критику, обволакивало ее иллюзиями приспособления? Критика империализма достигает у Роллана огромной насыщенности. Но его произведения исключительны и в смысле глубины мелкобуржуазного иллюзионизма.

Корни этого своеобразия Роллана лежат в своеобразии развития французского капитализма. Поверхностному наблюдателю могло показаться, что вплоть до войны Франция оставалась типичной страной мелкого хозяйства. Ничего не может быть ошибочнее этого заблуждения. Под поверхностью мелкобуржуазной, в значительной степени аграрной страны в предвоенные десятилетия протекает процесс капиталистической индустриализации Франции. Развитие и концентрация промышленности, возрастающая роль финансового капитала, стремительный рост энергетической базы хозяйства, рост пролетариата, — все эти явления выступают в очень яркой форме.

---

[1] Р. Роллан — Письмо от 3 февраля 1931 г.

Буржуазия выдвигает в этот период целую фалангу идеологов капиталистической индустриализации, с пеной у рта критикующих патриархизм, промышленную отсталость старой Франции, ратующих на индустриальную экспансию. В литературе таким пророком капиталистической индустриализации выступает «социалист» Пьер Амп.

Но этот переход к «новому капитализму», несмотря на свою интенсивность, не имеет, однако, во Франции бурного характера. Отсталая страна сбрасывает свою старую шкуру не очень смело. Создается впечатление не решительной ломки старых отношений, а их медленного, постепенного, спокойного перерастания. Война и послевоенные годы были для Франции годами огромного скачка в промышленном развитии. Именно эти годы сделали Францию главным хищником мирового империализма. Предпосылки к этому были созданы предвоенными десятилетиями, когда капиталистическая индустриализация решительно изменила облик страны, когда отставание от империалистического уровня было уже в значительной степени преодолено. Но этот переход к империалистическому капитализму имел затрудненный, замедленный, «монопольный» характер.

Для мелкой буржуазии, ее роли в классовой борьбе, для ее политики, для всех форм мелкобуржуазной идеологии — этот характер капиталистической индустриализации во Франции имеет основное значение. С одной стороны, весь ход развития французского капитализма после франко-прусской войны и Коммуны ставил мелкую буржуазию под знак глубочайшего кризиса. Литература отображает в этот период мелкобуржуазный распад, она полна жалоб на капитализм, это — литература вытесняемого класса.

Однако историческое своеобразие ситуации состояло в том, что мелкобуржуазная Франция в 90-х, 900-х годах казалась не обреченной на слом, не гибнущей, а лишь переживающей приспособление к новым условиям. Замедленный характер капиталистической индустриализации явился почвой очень стойких мещанских иллюзий. Мелкобуржуазные идеологи проповедуют надежды. Это — пророки компромисса, приспособления.

Цепкость мещанских иллюзий огромна. Она, в частности, находит свое выражение в социал-реформистских группировках, расцветающих в этот период. Золя, к концу всей деятельности, тесно сросшийся с «новым» капитализмом, в «Труде» создает сладчайшую социал-реформистскую утопию о «гармоническом капитализме», в котором новая высокая техника (Золя говорит о капитализме электрифицированном) сметет все противоречия и превратит империализм в нечто розовое. Устойчивость мещанских иллюзий чрезвычайно высока — идеологи приспособления, мирного сосуществования, изобретатели всевозможных рецептов «гармонии» плодятся в этот период.

Ромен Роллан начал с того, что констатировал еще в девяностых годах огромную напряженность общественных отношений. Он назвал общественную атмосферу «душной». Всеми чертами своими творчество этого художника восходит к кризису мелкой буржуазии. Оно оплодотворено идеей назревшего глубокого общественного противоречия. Ромен Роллан видит мир, утратившим единство, распавшимся на две враждебные половины. Борьбу двух миров он все время стремится отобразить. Нет ни одного произведения, которое не выражало бы этой идеи.

Творчество Роллана имеет свою основу в кризисе мелкой буржуазии, но художник обращается к «общечеловеческому», выступает как гуманист, возвышающийся над «низменными» страстями политики. Он стоит «в стороне от схватки». Эти иллюзии были формой примирения с капитализмом. Убегая, прячась от политики, Ромен Роллан приходил к самой настоящей политике — гуманистическая позиция, конечно, была формой мещанской политики.

«Жан Кристоф» был напечатан в «Cahiers de la quinsaine» Шарля Пеги. Теснейшая дружба и духовная близость связывали Пеги и Роллана. Как известно, автор «Жанны д'Арк» стал непримиримым католиком и непримиримым националистом.

За все эти качества Шарля Пеги поднимают на щит французские фашисты. Монархическая республика Пеги провозглашается «предвидением» фашистского государства.

Ромен Роллан не имеет ничего общего с теми качествами Пеги, в том виде, как его гальванизируют фашисты. Ромен Роллан шел в другую сторону. Его обращение к пролетариату подготовлено его развитием. Великий европеец через мучительные противоречия шел к разрыву с капитализмом, но в исходном моменте его пути связывались в один узел с путями Шарля Пеги. Как Пеги, так и он были идеологами мелкой буржуазии, ощутившими кризис своего

класса, величайшую тревогу — вместе они «искали спасения», искали способа «исцелить человечество от несчастий его».

Двухнедельные тетради», об'единившие мелкобуржуазных идеологов своего времени, возникают на почве обостривщихся классовых противоречий. «Cahiers» были попыткой найти выход из кризиса. В предисловии к «Бетховену», опубликованному в журнале Пеги, Роллан писал: «Воздух вокруг нас душен. Старая Европа задыхается в душной и нечистой атмосфере. Материализм, лишенный всякого величия, давит на мысли... мир чахнет в своем продажном эгоизме. Мир задыхается. Откроем же окна! Впустим чистый воздух!».

В высказываниях Шарля Пеги, в «океанах слов» ,как метко обозвал своеобразно-косноязычную речь Пеги один из его друзей, получает выражение идея глубочайшего кризиса. Людям, об'единившимся вокруг Пеги, кажется, что они стоят перед лицом гигантской общественной катастрофы, продолжающей разрушать мир на их глазах. Они идут «в атаку против лжи политики и преступлений цивилизации». В этом единство всех их.

Журнал Пеги возник в «душной атмосфере» ломки мелкобуржуазных отношений, его питала идеология класса, которому «новый капитализм» нес гибель. Сращивание буржуазной демократии с капиталистическим делячеством, обнажение капиталистического характера политики, разбойническая роль банков, становящихся властелинами жизни, — все эти явления империалистической эпохи воспринимаются Пеги, Ролланом и другими как ужас, как падение в бездну. Все они «ищут спасения». Но намечается расслоение, показывающее, что друзья идут в разные стороны.

Пеги с ненавистью клеймит демократию, продажность, растленность которой обнажилась перед ним. Он обращается к махрово-националистической проповеди. Он пишет мистерию о Жанне д'Арк, чтобы возвеличить «мощь нации». Национализм Пеги дополняется проповедью «кровавого христианства», религии, предохраняющей от дряблости, в которой он обвинил современную Францию. Это — религия сильных, подлинная империалистическая религия.

Христианство Пеги, как и национализм его— «спасают» мелкобуржуазного идеолога, растворяя его в капиталистической экспансии. Пеги называет себя социалистом и постоянно говорит о «благе народа», но он ничем другим не является, как идеологом нового капитализма. Антидемократизм Пеги непосредственно связан с идеями империализма — теория республики, построенной на основе «кровавого христианства» и национализма, представляющей форму открытой диктатуры капиталистического класса. В «Cahiers», мелкобуржуазном журнале империалистической эпохи, были тенденции сближения с новым капитализмом. Намечается переход в лагерь этого капитализма.

Фашисты нашли в произведениях Пеги целую «сокровищницу» идей, которые они мобилизуют для защиты загнивающего капитализма. Гальванизация Пеги показывает, насколько глубоко врос в капиталистическую почву этот идеолог мещанского распада.

Противоположным было развитие Роллана. Из признания глубочайшего кризиса современной эпохи он сделал выводы, противопоставляющие его империалистической Франции. Он вступил на путь мещанского утопизма, он хотел быть «третьей силой», возвышающейся «над схваткой». Он решительно отстраняется от политики, проповедует нейтрализм, «уход в искусство», освобождение через искусство.

В этом была своя непримиримость. Художник решительно отказывался итти на выучку к капитализму, но вместе с тем его пацифистская позиция была позицией примиренческой, обозначавшей компромисс с новым капитализмом, отказ от борьбы с ним.

Шарля Пеги империализм сожрал, превратив его в свой боевой таран, и «социалистическая», народническая фразеология прикрывает в Пеги идеолога империализма. Гуманистическая фразеология Роллана является выражением его мелкобуржуазной ограниченности, его компромисса с империализмом.

С начала до конца творческий путь Ромен Роллана трагичен — художник, непримиримо ищущий освобождения от ига капитализма, оказывается примиренцем. Ненавидя всякий компромисс, он оказывается в компромиссе с самым злейшим врагом своим — с империализмом. Это противоречие, принимающее трагический оттенок, охватывает весь страдный путь, пройденный Ромен Ролланом, всю его жизнь, исполненную величия.

Стремясь к высокой цельности, Ромен Роллан постоянно оказывается раздвоенным. Сквозь все развитие Роллана проходит линия отказа от борьбы, отказа от революционного метода—на этой почве расцветает патетический идеализм Ромен Роллана, ничем другим не явля

ющийся, как выражением бессилия. Это—форма компромисса.

С огромным напряжением ищет Роллан выхода, — его жизнь похожа на подвижничество, он несет на себе «тяжесть всего мира», и вместе с тем он сам разоружает себя, отрывая свои искания от революционной практики, замыкаясь в крохотных масштабах индивидуальной скорлупы. Только сейчас Роллан выходит на новый путь, путь огромных возможностей, путь классовой борьбы. Под знаком этого решающего события необходимо рассматривать то развитие Ромен Роллана, этой мерой надо мерить все, что им сделано.

Драмы о великой буржуазной революции, с которыми Роллан выступил в конце девяностых годов, явились характерным выражением примиренческой позиции. «Торжество разума», «Волки», «Дантон» — все эти произведения показывают, что автор их обращается к героическим страницам истории буржуазного класса для того, чтобы решить в этой форме актуальнейшие вопросы. Перед нами — развернутая программа соглашения, оправдания, компромисса. Не случайно Роллан избирает своими героями жирондистов, Дантона или Телье, ставящего отвлеченную справедливость выше революционной целесообразности. Не случайно Роллан делает этих героев полными величия и внутренней красоты.

Он показывает людей, обреченных на гибель, но внутренне торжествующих. Роллан подчеркивает в этих людях господство морального интереса над практическим, показывает их неспособность быть политиками, в силу их внутренней огромной честности и цельности. Роллан искажает историю, героизируя Жиронду, не умея понять того, что эпоха террора, диктатуры Горы были высочайшим взлетом буржуазной революции, были эпохой ее подлинного величия. Уже сама симпатия к размагниченности, раздвоенности жирондистов характерна, но еще более характерно, что Ромен Роллан делает оппортунистов буржуазной революции ее подлинными героями.

Серия потрясающих драм, заставляющих ощутить трагическую горечь падения, показывает во весь рост художника мелкобуржуазного распада. Роллан формулирует и «положительную» программу. В основе ее лежит противоречие между идеей справедливости и уродливым безумием действительности, противоречие между внутренним величием личности, ее огромной внутренней свободой и рабскими инстинктами массы. Жирондисты гибнут, внутренне торжествуя над действительностью, над теми, кто посылает их к гильотине. Оправдывая, возвеличивая этих героев, Ромен Роллан защищает компромисс с капиталистической действительностью, выражающийся в отказе от борьбы. Идея компромисса сквозит в каждой черте трагедии Роллана о революции.

Эти патетические, взволнованные произведения возникли как критика капитализма («...слишком страдала моя юность в Париже от галов общественного эгоизма, плоского оппортунизма...»), но критика бесплодная, разоружающая, видящая исход в отказе от борьбы, примирении.

Характерным итогом драм о революции является то, что они стали драмами одиночества. Они стали выражением замкнутых в индивидуальную скорлупу переживаний. Ромен Роллан превращает людей революции в одиноких страдальцев, мучимых внутренними противоречиями. Это — жертвы болезненной раздвоенности. Это — отрешенные.

Индивидуалистическая замкнутость входит в программу Роллана вместе с проповедью морального очищения. Так складывается концепция мещанского иллюзионизма. В «Жизнях знаменитых людей» Роллан, говоря о Бетховене, Толстом, Микель-Анджело, стремится показать, что великий художник всегда одинок и в трагическом «отношении» черпает свою силу.

2

«Жан Кристоф», несмотря на все отвращение Роллана к политике, можно назвать политическим романом, в котором отношение к империализму последовательно выражено. В этом огромном произведении величие и ограниченность роллановского идеализма вскрываются в полной мере. Достигает вершины критика капиталистической действительности [1], но полно выражены и черты примирения, компромисса, мелкобуржуазного иллюзионизма.

---

[1] «Подобно столь многим во Франции, я задыхался в морально-враждебном мне мире; мне хотелось дышать, мне хотелось бороться с этой нездоровой цивилизацией, с этим мировоззрением, развращенным кучкой ложных вождей».

Предисловие к седьмой книге «Жан Кристоф».

Роман берет современность, перед нами — Европа империалистической формации. Роман имеет широкий разворот и дает целую концепцию эпохи. Он решает весь круг вопросов роллановского мировоззрения.

Автор осуществил свое произведение прежде всего как «музыку душ». «Не тех я называю героями, которые восторжествовали идеями или своим могуществом. Героями я называю только тех, кто были велики сердцем своим». Роман патетичен там, где он обращен к переживаниям «великих сердец». Не только Жан Кристоф, но и Оливье, и Грация, и Сабина, и Антуанетта — множество фигур романа, несущих положительную идею, выступают как героические искатели правды.

«Наша первая обязанность быть великими и защищать величие на земле» — эту патетическую заповедь своего автора выполняют герои романа. Можно сказать, что они состязаются в величии сердец своих.

Роллан показывает их во встрече с жестокостями жизни, как Кристоф, так и все другие смело глядят опасности в лицо. Все они принадлежат к «рати духа, а не к рати насилия», все они гневно и брезгливо отстраняют от себя «практику». Они несут слишком огромное внутреннее содержание, чтобы прикасаться к этой практике, которая всегда «грязна». Больше всего они боятся политики, «сделавшейся ремеслом».

Про Кристофа сказано: «Закрывать глаза он привык давно. Уже много лет ставни его взора были опущены, скрывая его внутреннюю жизнь».

Мы вернемся еще к «музыке душ», теперь же рассмотрим наиболее яркую сторону произведения — страницы, посвященные критике империализма. Ромен Роллан беспощадно бичует гниющую Европу. Больше всего, полнее всего говорит он о распадающемся, растленном современном буржуазном искусстве. Угасла его великая историческая традиция. Современные жалкие «поставщики удовольствий», «фразеры, пустые болтуны, эксплоататоры и торговцы искусством» превращают театр, литературу, музыку в ярмарочный торг. У буржуазного искусства нет больше содержания.

Писатели «изводятся над созданием пошлостей... высиживают их к известным дням, раз или два в неделю, в течение ряда лет, корпят. и все высиживают, когда им уже нечего больше сказать, истязают мозги, чтобы выдавить из них что-нибудь новенькое, понелепее, понеприличнее, потому что пресыщенной публике все скоро приедалось и она находила пресными фантастические описания самых разнузданных наслаждений: нужно было непременно превзойти других, самого себя, — и они тужились, выжимали из себя все соки — жалкое и нелепое зрелище!»

Искусство опошлено до последней возможности, проституировано, оно гниет, как и класс, его создающий. Безнравственное искусство, безыдейное притупляющее искусство, бесталанное искусство шарлатанов, прикидывающихся гениями, искусство вырождающегося класса — разоблачает Ромен Роллан.

«Ярмарка на площади», пятая книга романа, представляет великолепный памфлет против искусства империалистической Франции. Музыка, литература, театр империалистической Франции стали дешевым товаром, художники сделались лавочниками. Роллан с негодованием говорит о «блюдолизах славы», проституирующих искусство в интересах кармана.

«Чем больше знакомился Кристоф с французским искусством, тем явственнее ощущал запах, поразивший его на первых же порах, сначала как будто не сильный, потом навязчивый и удушливый: запах смерти и тления. Смерть — была повсюду под маской роскоши и шума».

Роллан не отделяет искусство от общества — загнивание искусства отражает загнивание порождающей его буржуазии. Беспощадные, разоблачающие характеристики растленного искусства буржуазии являются для Роллана формой критики капитализма. Соприкосновение с гниющим искусством приводит Кристофа к уничтожающим выводам об империалистической Франции.

«Ему надоело парижское общество; он не мог больше выносить этой пустоты, праздности, этого нравственного убожества, этой неврастенической, бессмысленной и бесцельной, на все распространяющейся и самое себя раз'едающей критики. Он не понимал, как может целый народ жить в этой неподвижной, застойной атмосфере искусства для искусства, наслаждения для наслаждения. А, между тем, народ этот жил, был великим и теперь еще играл довольно видную роль в мире; по крайней мере, издали он производил такое впечатление. В чем же он черпал стимулы к жизни? Ведь он не верил ни во что, кроме наслаждения?

Здесь неверно сказано «народ», это — дань гуманистической фразеологии, от которой от-

казывается теперь Роллан; нужно было сказать «патриции третьей республики»; как бы выразился в другом месте, — к буржуазии обращены эти строки, таков их разящий смысл.

От искусства Роллан переходит к буржуазной политике, обнажая продажность кичливой демократии, показывая, что в основе политики лежит шкурный материальный интерес буржуазии.

«Кто свободен в нашей республике? Мерзавцы. Все наилучшее задыхается в оковах».

Роллан раскрывает кухню буржуазной политики — отвратительное зрелище! Высокие слова о «свободе, равенстве и братстве», ширма демократии, прикрывают циничнейшее делячество. Чудовищно разросшаяся бюрократия третьей республики, уродливый паразитический нарост, — пожирает все вокруг себя. Политика, «сделавшаяся ремеслом», раздувается как мыльный пузырь, демократия стала ханжеством, наглой фальсификацией.

В разоблачениях буржуазной политики Роллан очень последователен, но он еще не видит того, что третья республика есть классовое государство буржуазии, «комитет для заведывания делами буржуазного класса». У него остается все время иллюзия, что буржуазная Франция может иметь какую-то другую политику, более чистую и справедливую. СделанныеРолланом выводы расплывчаты — бичуя загнивание буржуазного государства, он не видит того, что империалистическая Франция не в состоянии создать другого государства. Критика Роллана — не революционная, а реформистская, — она предполагает возможность улучшения, изменения «политических нравов» в рамках капитализма.

В этом причина того, что критика Роллана при всей своей остроте недостаточно глубока, она захватывает поверхность, оставляя в тени классовую основу капиталистического государства. Политическая борьба вообще изображается как хаос, безумие, нелепость. Все свалено в одну кучу.

«Все фактически стремились жить последними крохами умиравшего общества... Великие интересы грядущего приносились в жертву эгоизму текущего момента. В угоду избирателям разлагали армию, разложили бы и отечество. С верху до низу лестницы — всюду тот же принцип максимума наслаждения при минимуме усилий. Этот беспринципный принцип был единственной путеводной нитью в политическом кавардаке, где люди, стоявшие во главе правительства, подавали пример анархии, где непоследовательная политика гонялась одновременно за десятью зайцами, упуская их всех, а воинственная дипломатия работала об руку с пацифистским военным министерством, где военные министры уничтожали армию в целях ее оздоровления, а морские призывали к бунту арсенальных рабочих, где военные инструктора проповедывали отвращение к войне, где офицеры, судьи, революционеры и патриоты — все были дилетантами. Всеобщая политическая деморализация! Каждый ожидал от правительства должностей, орденов, пенсий, пособий; и государство действительно щедро разливало благодать на своих клевретов: желанные места и почести преподносились сыновьям, племянникам, внукам, лакеям правителей; депутаты вотировали себе прибавки к окладам; шло разнузданнейшее мотовство финансов, мест, чинов, всех сил государства. Например сверху зловещим отголоском откликался саботаж с низов; школьные учителя внушали презрение к властям и бунт против идеи отечества, почтовые чиновники сжигали письма, депеши, рабочие на заводах сыпали песок и наждак в машинные части, в арсеналах взрывали арсеналы, в доках — сжигали суда, — словом, шло чудовищное расточение продуктов труда самими же трудящимися — уничтожение не богачей, а мирового богатства».

Эта тирада характерна — она показывает и беспощадность роллановской критики, и ее близорукость. Не умея различить движущих сил классовой борьбы, Роллан представляет всякую политику как растлевающее безумие. Это последовательно с точки зрения гуманистического созерцателя, пребывающего «в стороне от схватки», но это замазывает классовую цель буржуазной политики.

Роллан видит, что гниет не только современное искусство буржуазии, но и современное государство. Гниением все охвачено.

Роллан саркастически говорит о многочисленных буржуазных болтунах, называющих себя «революционерами», он издевается над буржуазным радикализмом, показывая, что эта крысиная возня ничем другим не является, как способом отвлечь внимание. Базарная шумиха, поднимаемая радикалами, множество рецептов преобразования, реформирования, предлагаемых шарлатанами буржуазной политики, — все это только грязная пена буржуазного делячества. Все эти новаторы нисколько не новее лю-

бого бюрократа чиновника, присосавшегося к политике.

Разоблачение буржуазного радикализма сделано Ролланом превосходно. Также великолепна данная им критика оппортунизма в рабочем движении. Роллан клеймит примазывающихся к пролетариату буржуазных политиков. Они сделали моду из социалистических принципов, они торгуют опошленным, фальсифицированным социализмом, как ходовым, дешевым товаром.

Роллан видит, что реформистская язва раз'едает рабочее движение. В этом есть правда, но Роллан критикует оппортунистическую ограниченность в рабочем движении не потому, что он борется за революционный под'ем, за революционную теорию рабочего движения, — нет, отрицатель насилия и борьбы, подметив оппортунистический грех в рабочем движении, делает вывод ложный, искажающий и нелепый. Вообще рабочее движение есть затея вздорная! Она ничем не может отличаться от той отвратительной ярмарки, которую представляет из себя буржуазная политика! Всякая политика грязна.

«Мистическая надежда, которую Кристоф возлагал на революцию, рушилась. Он убедился, что пролетариат ничуть не лучше и не искреннее других классов. А, главное, мало чем отличается от других классов».

Так, Роллан становится противником всякого рабочего движения. Смысл этой позиции ясен, как день. Прикрытая гуманистическим прекраснодушием, возвышенной фразеологией, выступает здесь идея разрушения рабочего класса. Роллан, сам того не ожидая, оказывается орудием империалистической политики. Поэт непротивления становится поэтом капиталистической «гармонии».

Характеристики рабочего движения у Роллана все построены так, чтобы обессмыслить самую идею борьбы пролетариата.

«Рабочие тратили драгоценное время на взаимные обвинения. Забастовки — никогда не удавались, благодаря постоянным пререканиям между вождями и рядовыми рабочими, между реформистами и революционерами, — благодаря неодолимой робости, таившейся за ходульно-грозными речами, благодаря вошедшему в плоть и кровь стадному чувству, в силу которого все эти бунтари смирялись при первой полицейской острастке, благодаря трусливому эгоизму и низости тех, что выезжали на выступлениях товарищей — выслуживались перед начальством и домогались награды за своекорыстную верность... Не говоря уже об отсутствии спаянности и присущих массам анархических инстинктах. Они и рады были бы провести экономические забастовки революционного характера, но не хотели, чтобы их считали революционерами. Штыки их ничуть не прельщали. Они воображали, что можно состряпать яичницу, не разбивая яиц. И во всяком случае предпочитали, чтобы яйца для их яичницы разбивались чужими, а не их руками».

Смысл этих рассуждений отнюдь не тот, что рабочий класс должен бороться во всеоружии революционной теории. Нет, иным и не может быть рабочее движение, ибо оно есть политика, а всякая политика дело ложное, растлевающее.

Жан Кристоф быстро разочаровывается в рабочем классе, видя «ложь пролетарской идеологии и бесполезность борьбы».

«Идеология рабочего движения? Лоскутки схваченных на лету истин, приложенных к интересам единого класса за счет других классов. Символ веры—нелепый, как все символы веры: божественное право королей, непогрешимость пап, всеобщее избирательное право, равенство людей... Все эти символы веры одинаково бессмысленны, когда рассматривается только их отвлеченно-идейное значение, а не сила, одушевляющая их».

Итак, у рабочего движения нет ни цели, ни идей, ни людей. Роллан сурово говорит о том, что вожди рабочего движения развращены не менее, чем буржуазные политики, говорит не для того, опять-таки, чтобы заклеймить предателей пролетарского дела — он хочет убедить, что не может быть честных вождей у рабочего класса, как нет их у буржуазии. Политика одинаково растлевает и буржуа, и рабочего. В ней все зло. Выход: не вступать на гибельный путь политической борьбы, отказываться от политики, возвышаясь над низменными интересами, внутренне, духовно освобождаясь. Идея рабочего движения порочна в своей основе — вот что стремится доказать автор «Жана Кристофа». Нигде так не ясен классовый смысл гуманистической проповеди. «Неопалимая купина», книга, в которой развернуты взгляды Роллана на рабочее движение, представляет программу гуманистического разоружения пролетариата.

Устранив революционный метод, «разоблачив» его единственную реальную опору — пролетариат, гуманистический созерцатель, остает-

ся наедине с самим собою. Он «освобождается» от политики. Роман становится «музыкой душ».

Но именно здесь он начинает терять свою насыщенность. Вступая в колею возвышенной патетики, роман становится последовательно гуманистическим—сгущается патетика, но становится все более разреженным социальное содержание.

Оценки, данные Ролланом рабочему движению, близорукость, с которой он ликвидировал почву под самим собой, определяет значение центрального роллановского произведения. Отказавшись от связей с пролетариатом, отказавшись от революционного метода во имя бледной иллюзии гуманизма, Роллан ограничил горизонты своего произведения. «Жан Кристоф» мог зазвучать по-иному, если бы вопрос о рабочем движении был решен Ролланом в те годы иначе. Только теперь революционный под'ем приводит Роллана к пересмотру его позиций, к новым горизонтам творческого развития.

Итак, обнажив гниение капиталистической цивилизации, Ромен Роллан решительно отмежевался от революционного метода, отрекся от рабочего класса, в котором он только и мог найти опору в борьбе против капитализма.

Рабочее движение Роллан «разоблачил», показав, что оно «ничем не отличается» от буржуазной политики. Там, где надо было увидеть борющиеся классы, Роллан различил только сплошную ярмарку политических страстей.

Этой слепой социологией, глубоко извратившей картину общественных отношений, «оправдывалась» гуманистическая позиция. Лучших людей Европы Роллан призывал возвыситься над болотом политики, предаться внутреннему самоусовершенствованию.

С одной стороны, гниющее общество империалистической эпохи, в котором и буржуа, и пролетарий одинаково растлеваются политикой, это — мир, обреченный на гибель, с другой стороны—«духовная знать», «независимые» интеллигенты. Им «нет надобности тратить духовные силы в земной борьбе, которая вряд ли завершится открытием новых миров». Эта аристократия духа противостоит всеобщему разложению. Она представляет надежду будущего. Она есть спасение мира.

Вот и вся гуманистическая механика! Она ничем другим не является, как тончайшим инструментом буржуазной идеологии, инструментом, защищающим капитализм через проповедь примирения нейтральности, воздержания от политики.

Гуманистическая программа выражена всей историей жизни Жана Кристофа. Героический страдалец, увидевший гниение буржуазного мира, уходит в искусство, замыкается в тайниках творчества. Здесь он обретает подлинное величие. Роллан патетически изображает Кристофа, достигнувшего «высот духа». Огромная моральная чистота его отличает. Огромная искренность. Всего полнее, глубже Кристоф раскрывается в искусстве, гордо возвышающемся над ярмарочной бездарной суетой жалких эпигонов эпохи империалистического загнивания..

Кристоф создает новое, великое искусство, оплодотворенное гуманистической идеей.

Роллан стремится представить Кристофа как фигуру исключительной цельности, но, конечно, не целен Кристоф! Он приходит с огромной силой разрушителя, приходит как революционер, но, потом, шаг за шагом, он сдает свои позиции, превращаясь в мягкотелого гуманистического созерцателя. Какая же тут цельность?

Перед нами герой компромисса, примиренец чистейшей воды. Он замыкается в своем внутреннем мирке, его успокоение порождено компромиссом, его внутренняя победа есть его поражение. В сущности он разбит на всех фронтах, и та гниющая цивилизация, которую он столь резко разоблачил, над ним торжествует. Он примирился с ней, замкнувшись в своей индивидуальной скорлупе, отказавшись от борьбы.

Он — Дон-Кихот гуманистический! Он — сродни жирондистам, которых возвел Роллан в героическое достоинство.

Ромен Роллан делает Кристофа победителем, это — глубоко ложная черта романа. Кристоф ничего не победил, он только со всем примирился. Заключительная книга романа, носящая гордое название «Грядущий день», показывает успокоившегося Кристофа.

«Вы видите, я постарел. Я уже не кусаюсь. Зубы мои расшатались». Дело здесь не в возрасте и не в биологическом увядании. Дело в том, что гуманистический искатель не мог ничего достигнуть.

Из всего цикла «Грядущий день» — книга, наиболее патетическая и напыщенная. Смерть Жана Кристофа и последние годы его трагической жизни Роллан описывает как зрелище, полное величия. Но ни в чем другом он не мо-

жет увидеть этого величия, как в прекраснодушии, моральной чистоте своего героя. Это — чудесные качества. Но разве не ясно, что в Кристофе они обеспложены, что этот человек умирает, оторвавшись от живых соков нового мира, что никакого «грядущего дня» не открывается за его смертью, что он прожил свою жизнь в гуманистическом бесплодии.

Смерть огромного человека, не освободившегося от «лжи официальной истории, лжи национальных и социальных условностей, лжи традиций и государства»[1], — трагична из-за ее неосуществленных возможностей. Поколения, строящие социализм, только так поймут драму Кристофа.

Роллан завершает роман ложной «победой» Кристофа. Черты гуманистического самодовольства проявляются здесь. «Грядущий день» — книга розовая. Перед Кристофом открываются какие-то горизонты. «Начали появляться признаки возрождающегося дня».

Что изменилось? Или, может быть, гниющая Европа стала другой? Нет, «Грядущий день» написан в 1912 г., когда империалистическая война уже вплотную нависла над Европой. Откуда же эта розовая фразеология о победе Кристофа? В нейтрализме нашел свою «правду» Кристоф. На фоне вскипающих противоречий империализма, на пороге мировой бойни — гуманистическая поза Кристофа-«победителя» ничего не имеет в себе антибуржуазного.

«С улыбкой, не лишенной иронии, взирал Кристоф с террасы Яникульского холма на разнохарактерный и гармонический город, символизировавший вселенную, над которой он господствовал: он смотрел на обугленные древние руины, на причудливые фасады, на современные дома, на сплетавшиеся с кипарисами розы, — на все века и стили, крепко и прочно сливавшиеся в одно целое под светом разума. Так дух должен излучать на охваченный борьбой мир свет и порядок, который он в себе заключает».

Так смотрит Кристоф на Рим, символизирующий буржуазную цивилизацию. Ромен Роллан и раньше не щадил слов для того, чтобы показать гуманистическое величие своего героя:

«На всех людей, бывших в этом доме, повеяло дыханием новой жизни. На самом верху, в мансарде пятого этажа пылал очаг всеоб'емлющей мощной человечности, и лучи ее медленно разливались по всему дому» (цитата из «Дома»).

Но то, что в обстановке 1912 года, над дымящейся, зачумленной Европой Кристоф стоит в позе равнодушного созерцателя, занятого своим духовным пищеварением, показывает с кричащей яркостью, какова природа гуманистической иллюзии. Примиренчество Кристофа означает замазывание противоречий капитализма.

√ В «Грядущем дне» дается изображение назревающей империалистической войны, но это сделано в обезличенных, обеспложенных выражениях.

«Пожар, тлевший в лесу Европы, начинал разгораться. Напрасно старались погасить его то тут, то там, — он тотчас же вспыхивал дальше; вихрями дыма и дождем искр перебрасывался он с одного места на другое, сжигая сухой кустарник. На востоке авангардные бои уже предвещали великое столкновение народов. Вся Европа, еще недавно скептическая и апатичная, пылала как костер. Жажда борьбы овладела всеми умами. Война могла разразиться каждую минуту. Ее тушили, но она разгоралась вновь. Самый ничтожный предлог является для нее обильной пищей. Весь мир чувствовал себя во власти случая, который вызовет всеобщую схватку. И мир ждал. Даже противники войны сознавали, что она необходима. А идеологи, укрываясь в широкой тени циклопа Прудона, прославляли ее, как благороднейшее из деяний человеческих...».

Война прдставлена в этих строках, как нечто «общечеловеческое», как стихия, как биологический закон. Прикрывая классовый характер империалистической войны, гуманист делает свою критику бесплодной пацифистской декламацией.

✓ «Жан Кристоф» представляет развернутую программу примиренчества. Компромисс с капиталистическим миром есть основная идея этого произведения. По форме гуманистическая позиция выглядит решительным осуждением империализма, — по сущности она представляет примирение с ним. В этом и заключается весь секрет «победы» Кристофа. Как страус, прячущий голову в песок, Кристоф укрылся в величии души своей. «Что за блаженство плавать по озеру своих мыслей!».

«Грядущий день» чрезвычайно ясно обнажает сущность ролландовского компромисса. Речь идет о надвигающейся угрозе империали-

[1] Статья Роллана «С кем же вы?».

стической войны, о неслыханной вакханалии шовинизма, о всех тех чертах, которые в 1912 году позволяли предвидеть близящуюся катастрофу — но Роллан уже не бичует, а ограничивается беспристрастным наблюдением. Найдя гуманистическую «правду», он уже не выходит за пределы пассивного созерцания.

Вот что обусловливает розовое спокойствие «Грядущего дня» — книги, заключающей весь цикл. Роллан говорит о «певцах французской мощи», появившихся в этот период в огромном количестве, о шарлатанах, «возвещающих звучным голосом торжество Франции», о тех златоустах французского империализма, к которым примкнул Шарль Пеги—и мы не находим гневного возмущения в его словах. Он выступает как гуманистический, примирившийся созерцатель

Не случайна близорукость, позволяющая Роллану подменить борьбу классов борьбой поколений.

О беснующихся империалистах, готовящих бойню, Кристоф, которого «все это забавляло», слащаво говорит, как о «молодом поколении».

«Молодежь бросает стариков в мусорную корзинку... Правда, в мое время, прежде, чем считать человека стариком, ждали, когда ему стукнет шестьдесят лет. Ныне все идет более быстрым темпом... Беспроволочный телеграф, аэропланы... Новое поколение быстро растрачивает свои силы, скорее устает... Несчастные! Их хватит ненадолго. Пусть они поторопятся, если хотят вдосталь насладиться презрением к нам и покрасоваться под солнцем».

Отчетливо видна классовая почва этой концепции. Представить подготовку к империалистической войне, как вступление в жизнь нового поколения человечества, растворить в «общечеловеческом» соусе классовый характер войны — входило в задачу империалистической политики. Роллан становился здесь жертвой слепой гуманистической иллюзии.

Роллан с ограниченностью, разоблачающей классовую направленность гуманистической нейтральности, характеризует раскаленную шовинизмом атмосферу предвоенной Франции в выражениях беспартийных и скрадывающих действительный смысл явлений. Гуманизм притупляет эти характеристики, делает их бесхребетными, расплывчатыми, скрывающими звериный облик империализма.

«Новое поколение, сильное и воинственное, жаждало борьбы и имело до победы тот склад мыслей, который свойствен победителям. Оно гордилось своими мускулами, своей широкой грудью, своими могучими и жаждавшими наслаждения чувствами, своими крыльями хищной птицы, парящей над равнинами; оно горело нетерпением ринуться на добычу и испробовать свои когти. Подвиги расы, безумные полеты через Альпы и моря, эпические скачки по африканским пескам, новые Крестовые походы, почти такие же мистические, но более своекорыстные, чем походы Филиппа Августа и Вильгардуэна, окончательно вскружили народу головы. Эти дети, знавшие войну только по книгам, приписали ей без труда чуждые ей красоты. Они стали аггрессивными. Утомленные миром и пресытившись идеями, они восхваляли «наковальню сражений», на которой окровавленные кулаки выкуют в один прекрасный день мощь французского народа. В силу реакции против опротивевшего им злоупотребления всякого рода идеологий, они довели свое презрение к идеалу до степени убеждения. Они хвастливо восторгались ограниченным здравым смыслом, грубым реализмом, бесстыдным национальным эгоизмом, топчущим чужую справедливость и другие национальности, если это полезно для вовлечения их родины».

В этих изображениях нет и признака борьбы с империализмом, они насыщены идеей гуманистического непротивления злу, это — программа примиренчества. На самом высоком под'еме своего романа, там, где империалистическое загнивание полнее всего могло быть раскрыто, Роллан отказывается от критики капитализма, обращаясь к сентиментальному созерцанию «нового поколения». Способность к такому созерцанию и является «победой» Кристофа. Она описывается в выражениях высокой патетики. Примиренчество героизируется.

✓ «Жан Кристоф», как видим, является романом мелкобуржуазной политики. Это — развернутая платформа примирения с эпохой империализма.

Трагическое противоречие этого произведения, как и всего творчества Роллана, заключается в том, что оно оказывается примиренческим, несмотря на искреннейшее намерение Роллана противопоставить себя империалистической эпохе. В этом разрыве между намерениями искреннейшего гуманиста и об'ективным значением его творчества — отражается вся ограниченность мелкобуржуазного идеолога, пытающегося утвердиться в стороне от схватки, стать «независимым».

После того как Роллан отказался найти опору в революционной борьбе пролетариата, перед ним не было никакого другого пути, кроме буржуазной политики. Гуманизм Роллана ничем другим не являлся, как формой примирения с капиталистическим миром. «Независимость» мелкобуржуазного идеолога могла быть только чистейшей фикцией.

3

Империалистическая война была «грядущим днем» Роллана. Едва он освободился «от тяжелых доспехов» Жана Кристофа, как она разразилась.

Вакханалия шовинизма захватила «лучших» интеллигентов Европы, все они принялись за разжигание патриотизма, стали идеологами войны. Роллан был одним из редчайших исключений. Он осудил войну с первых же дней ее, он возвысил голос гневного возмущения, он посвятил всю свою энергию проповеди мира. Героической была позиция великого европейца. Лишенный всякой поддержки, осыпаемый проклятиями, инсинуациями, угрозами, Роллан, не колеблясь, разоблачал империалистическую войну. И все же позиция Роллана была бесплодной, как и гуманистическая «победа» Жана Кристофа.

Роллан называет теперь свои военные выступления «очень бледными» — они были беспомощны, ибо исходили из ложной гуманистической основы. Роллан не видел классового характера войны, он возмущался войной только как чудовищной вакханалией насилия.

«Плотины прорваны, Европа уже затоплена. И статья моя пророчествовала, что рушится Европа и цивилизация».

Роллан никаких других выходов не видел, кроме гуманистической гомеопатии, что делало его полную благородства и величия позицию дон-кихотской.

К кому обращался Роллан? Все к той же «духовной знати», которую он идеализировал в «Жан Кристофе», к «художникам и писателям, священникам и мыслителям всех стран», к европейской интеллигенции, у которой «две отчизны: одна на земле, другая—в царстве духа, в одной мы гости, другую мы сами создаем».

Что делать предлагал Роллан? Прежде всего, «духовно освобождаться», следуя пути Кристофа-победителя. «Низведите сначала мир в свои собственные души. Исторгните из себя слепой дух вражды. Не вмешивайтесь в борьбу. Не тем, что вы будете вести войну против войны, вы ее уничтожите, а прежде всего тем, что предохраните от войны сердце свое, спасая от пожара будущее, которое заключено в вас».

Эта гуманистическая рецептура способна вызвать сейчас ироническое отношение, но Роллан боролся с фанатической твердостью за сентиментальную программу.

Позиция Роллана в годы войны при всем величественном героизме своем имеет характер жалкой беспочвенности; трагически одинокий искатель правды, ослепленный иллюзией гуманизма, выступает перед нами.

«Ураган войны продолжает неистовствовать, опустошая самые стойкие души и увлекая их в свой яростный вихрь, — я же продолжаю свое скромное паломничество, разыскивая под обломками редкие сердца, оставшиеся верными прежнему идеалу братства человечества». Вся антивоенная публицистика Роллана находится на уровне этого «духовного паломничества» — она героична, как мог быть героическим одинокий голос, осудивший империалистическую войну в годы всеобщего озверения, и она «бледна», как говорит теперь сам Роллан, не имеет верной ясной перспективы, запуталась в противоречиях. Всего ярче здесь критика шовинистического озверения, захватившего европейскую интеллигенцию. Страницы, обращенные к Гауптману, Томасу Манну и другим проповедникам империалистического насилия, великолепны. Положительная же программа в духе гуманистической филантропии достаточно жалка.

Роллан осуждает теперь свою позицию в период войны. «Но времена, когда я сам медленно, с трудом и болью, освобождался от иллюзий, сковавших мою молодость (ложь официальной истории, ложь национальных и социальных условностей, ложь традиций и государства), и едва-едва начинал с трепетом вникать в раскрепощающий человечество ответ, который должны были дать своим правительствам народы, я не осмелился тогда высказаться. Я это делаю сейчас. Это ответ Ленина в 1917 году: восстание европейских армий против руководителей войны и братание на поле битвы».

Критикой своих выступлений против войны Роллан начинает критику гуманизма и вступает на путь действительного разрыва с капиталистическим миром. В разоблачении гуманистической иллюзии заключается смысл переживаемого Ролланом перелома. Роллан переоценивает сейчас ценности, опираясь на Ленина. Он считает, что учение Ленина о пролетарской

революции есть действительный путь борьбы со старым миром. Он понял, что гуманистическая программа защищает капитализм под прикрытием высоких иллюзий.

В статье «Военная программа пролетарской революции» Ленин писал: «Если теперешняя война вызывает у реакционных христианских социалистов, у плаксивых мелких буржуа только ужас и запуганность, только отвращение ко всякому употреблению оружия, к крови, смерти и пр., то мы должны сказать: капиталистическое общество было и всегда является ужасом без конца. И если теперь этому обществу настоящая реакционнейшая из всех войн подготовляет конец с ужасом, то мы не имеем никаких оснований приходить в отчаяние».

«Социальные» попы и оппортунисты всегда готовы мечтать о будущем мирном социализме, но они как раз тем и отличаются от революционных социал-демократов, что не хотят думать и помышлять об ожесточенной классовой борьбе и классовых войнах для осуществления этого прекрасного будущего»[1].

Приблизительно в это же время (1916 г.) Роллан писал:

«Каждое насилие мне ненавистно, если мир не может обойтись без насилия, то моя обязанность не заключать с ним союза, но выставить другой, противоположный принцип, который бы уничтожал его. Каждому своя роль и каждый пусть повинуется своему богу»[2].

Пропасть отделяет слащавую сентиментальную фразеологию гуманистического буржуа от взглядов пролетарского революционера. Роллан переходит сейчас эту пропасть, «Прощается с прошлым». Он может сделать это, только беспощадно разоблачив буржуазную природу гуманистической иллюзии, прикрывающей звериный облик империализма.

В годы войны, оставшись «в стороне от схватки», Роллан обесплодил свою борьбу, лишив ее революционного содержания. Как ни обнажены были классовые противоречия, примиренческая иллюзия оказалась чрезвычайно цепкой.

В послевоенные годы Роллан занимается углублением и «усовершенствованием» гуманистической программы. В статье «Об интернационале духа» он выдвигает проект международного гуманистического об'единения. «Война, — рассуждает он, — является, как бы мимо нашей воли, наковальней, где под молотом куется единство европейского духа». Ложность этой мысли равна ее лакирующему содержанию — гуманистический искатель, слепой по отношению к классовому характеру войны, делает ее мостом к «единству европейского духа», хотя еще недавно она была для него «ужасом без конца».

Патетическая «Декларация независимости духа» продолжает развитие пангуманистических идей. «Восстанем, освободим дух от этих сделок, этих унизительных союзов, этого скрытого рабства. Дух не может быть ничьим слугой. Но мы — слуги духа, у нас нет другого хозяина. Мы созданы, чтобы нести его светоч, чтобы собирать вокруг него заблудших овец».

На фоне Версальского мира, загнанных внутрь, но еще более углубившихся противоречий империализма, эта розовая аполитическая декламация, эта новая программа примирения с капиталистическим миром совершенно ясна в своей классовой сущности. Гуманистское прекраснодушие здесь имеет, прежде всего, антиреволюционный смысл. Роллан отрицает революционный метод, как политику насилия.

В условиях чудовищно выросшего, победившего в мировой войне французского империализма—толстовские, непротивленческие идеи приобретают у Роллана новую цепкость, это сказалось, например, в отношениях Роллана с группой «Clartè», об'единившей в период послевоенного кризиса передовую западную интеллигенцию, на основе сочувствия революционной борьбе пролетариата. Когда началась дифференциация в рядах «Clartè», когда передовые элементы, порывая с гуманистической иллюзией, начали все более тесно связываться с революционной борьбой пролетариата, Роллан в очень резкой полемике с Барбюссом осудил революционный метод, «в конце гражданской войны, — заявил он, — будет какой-либо другой Версальский мир, письменная победа, которая окажется на деле гибелью всего». Роллан и Барбюсс разошлись в разные стороны — один к французской компартии, другой — к гуманистическому компромиссу с буржуазной Францией.

Вскоре Роллан делает попытку своеобразной «реконструкции» своих идей, приспособления их к широкому массовому движению. В 1924 г. Роллан пишет книгу о Ганди. Гандизм

---

[1] Том XIX, стр. 325—27.

[2] Письмо к Жуву.

он стремится представить, как гуманизм в широчайшей общественной практике. По отношению ко всему предыдущему развитию Роллана книга о Ганди имеет значение нового этапа. Роллан нашел форму «гуманистической политики», позволяющей расширить область влияния гуманистических идей, сделать их массовыми. Роллан, называя Ганди «творцом нового человечества», противопоставляет его деятельности метод революционной борьбы. «Ганди не фабрикант законов, как наши европейские революционеры».

«Истинные реальные политики насилия (революционеры и реакционеры) осменвают ту веру и тем доказывают свое незнание самых глубоких реальностей. Пусть не смеются, это вера и моя. Мой голос в Европе преследуется и осмеивается, и в моей родной стране нас — небольшая горсть... (Да и горсть наберется ли?). Но если я даже буду одинок — что до того? Вера далеко от того, чтобы презирать враждебные действия мира, — ее дело в том, чтобы следить, а не соглашаться с ними. Что может быть лучше этого?». Как видим, в этом высказывании старые идеи гуманистической нейтральности удерживаются полностью.

Трагический Клерамбо, путь которого подводит итог военных годов развития Роллана, осуждал революцию, ибо «притеснение только переменит свое место», Клерамбо «не особенно горячо относился к новому, шедшему с севера лозунгу диктатуры пролетариата», — в высказываниях о Ганди эти формулы воспроизведены с особой резкостью. Роллан написал книгу, претендующую разоблачить революционный метод и дать усовершенствованную концепцию непротивления.

«Мир одержим вихрем насилия. Буря, побивающая ростки нашей цивилизации, для нас не неожиданна. Века грубой националистической гордости, возбужденной идеологией слепого поколения революции, поощряемой слепой демократией в виде заключения, — век бесчеловечного индустриализма и прожорливой плутократии, рабской механизации, экономического материализма, при котором душа человеческая погибает, задохнувшись, — должны были роковым образом привести к этим нестройным движениям, во время которых исказятся сокровища Востока».

Здесь повторено все то, что говорил Кристоф, но особенно заостряется внимание на критике революционного метода, в котором он видит основную силу, противостоящую гуманизму, и видит справедливо, — здесь, как в зеркале, отражена классовая природа гуманизма — это орудие борьбы с революцией. В обстановке капиталистической стабилизации во Франции Роллан выступает со своеобразной стабилизацией гуманистических идей.

И вот последний год, когда всеобщий кризис потрясает основы капитализма, когда пролетарская революция собирает свои силы для последнего решительного боя, разрывается наконец туго затянувшийся узел противоречий Роллана. Статьи, письма и обращения великого европейца говорят о том, что он вступает на революционный путь, подвергая открытой, резкой критике свое прошлое («Себя мне нечего щадить»). Роллан пересматривает свои взгляды на революцию, которую он отвергал раньше как метод насилия, и взгляды на гуманизм, буржуазная основа которого ему становится ясной.

В этом направлении написана знаменитая статья «С кем же вы», об этом говорит и последний документ — «Прощание с прошлым».

Роллан совершает свой переход со свойственным ему героическим величием, он не боится признать ошибки своего прошлого, он считает обязанностью дать «исповедь», вскрывающую эти заблуждения. Вступая в ряды борцов за социальную революцию, Роллан находит гигантское содержание, к которому все его прошлое было лишь преддверием. В этом плане трагические противоречия прошлого приобретают характер актуальнейший. Вскрывая их, Роллан поднимает свое прошлое на новую высоту. В свете того перелома, который переживает сейчас Роллан, драма Кристофа приобретает новый и огромный интерес.

Кристоф побеждает только сейчас тем, что Роллан становится в ряды революции. Только сейчас открывается подлинный «грядущий день». В этом разрезе искания Кристофа и те картины капиталистического загнивания, которые даны в этом романе, получают революционный смысл. Все свое прошлое Роллан должен переоценить, отделяя то, что привело художника к сегодняшнему итогу, к революционному выводу, — от того, что было порождено примирением с капитализмом, компромиссом.

«Исповедь», которую начинает Роллан, должна стать мостом между прошлым, в котором были заложены корни революционного итога, и будущим, вооруженным великой идеей.

В чем основной смысл переоценки ценностей, которую Роллан сейчас производит? В чем ис-

торический смысл его перехода? Дело не в том, что Роллан понял, что капитализм есть цивилизованное варварство, что это—гниющая общественная система. Это Роллан понял уже давно. Все его творчество явилось выражением этого. Именно здесь лежат предпосылки революционного перехода Роллана.

На протяжении четырех десятилетий Роллан противопоставлял себя империализму, развенчивал гниющую цивилизацию Европы. К этому привели его противоречия его класса, но эта же мелкобуржуазная основа породила и ограниченность, слепоту его антикапиталистической критики. Роллан разрывает не с представлением, что капитализм есть лучший из миров, — он давно освободился от этого слепого предрассудка, — Роллан разрывает с гуманистической иллюзией — в этом весь смысл его перелома.

На протяжении десятилетий его антикапиталистическая критика обеспложивалась, нейтрализовалась гуманизмом. Роллан приходит к пониманию классовой основы гуманизма, к пониманию того, что гуманизм является лишь тончайшим оружием капиталистической политики, что оставляя мелкобуржуазным «аристократам духа» иллюзию их независимости, капитализм делает их своими защитниками.

В «Кристофе» и «Ганди» Роллан боролся с революционным методом во имя гуманизма. Разве это имеет какой-либо другой смысл кроме борьбы за капиталистическую «гармонию», разве искреннейший гуманист, разоружая рабочее движение во имя слепой, слащавой идеи непротивления, не был эхом политики капиталистического класса? Вот что стало ясным теперь Роллану.

И если от прямых, грубых, внешних связей с капиталистическим миром он давно отказался, то теперь он рвет тонкие, как паутина, но достаточно цепкие, чтобы держать его сорок лет в плену, связи гуманистической иллюзии.

Статья «С кем же вы?» написана в ответ на выступление Гастона Риу, одного из паневропейцев, сделавших гуманизм своей специальностью, одного из многочисленных французских политиков, цинично прикрашивающих гуманизмом империалистическую агрессию. Роллан гневно разоблачает звериную подоплеку этого гуманизма, клеймит торговцев гуманизмом. Но надо быть последовательным и видеть, что **всякая** форма гуманизма является маскированием подлинного облика капитализма. Будь она неизмеримо более тонка, чем у Гастона Риу, она все же не может иметь другого смысла. В гуманизме империалисты находят один из способов сохранения капиталистического строя.

Класс стоит против класса. Загнивающий капитализм защищается и будет защищать себя до конца, фашизация капитализма означает переход к открытым формам буржуазной диктатуры, означает открытую гражданскую войну против трудящихся. Кризис капитализма порождает огромный революционный под'ем — пролетарская революция готовится разорвать звенья империалистической цепи. СССР, достигший гигантских успехов в социалистическом строительстве, завершающий построение фундамента социалистической экономики, противостоит капиталистическому миру как крепость мировой революции пролетариата. Два мира. Мир умирающего капитализма и мир социализма. Роллан понял, что он живет в момент решительной схватки двух миров. Это привело к разрыву с идеями нейтрализма, нельзя остаться в стороне от схватки. Продолжать гуманистическое словоизлияние — значит защищать загнивающий капитализм.

Переход Роллана имеет огромный общественный смысл. Роллан уже давно сделался выражением надежд целых слоев буржуазной интеллигенции, заблуждавшейся упорно насчет своей «независимости». Роллапдизм был широко распространенным явлением. Разрыв Роллана с гуманизмом означает отход от гуманизма широких слоев западной интеллигенции. В период мирового кризиса и назревающей пролетарской революции проходит размежевание в среде этой интеллигенции, находившей в гуманистическом воздержании от политики иллюзию своей «независимости».

Класс стоит против класса, и гуманисты расслаиваются: циничные лавочники гуманизма непосредственно связываются с империалистической политикой, таков, например, Гастон Риу, разоблаченный Ролланом; лучшие, наиболее здоровые элементы интеллигенции разрывают с гуманизмом для того, чтобы стать на сторону пролетариата.

Путь Роллана проходят и пройдут лучшие буржуазные интеллигенты запада. Драйзер, Дос Пассос в Америке, Эрнст Глезер в Германии — являются прекрасными тому примерами. Роллан приходит к нам на гребне революционной волны. Он предвещает близящуюся бурю на западе.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИ[Я]

«Локаф», № 1—6. «Федерация». 1931 г.

«Война есть продолжение политики».

(Ленин, т. XIII).

Локафовское движение широко развивается по всему Союзу, оно охватило ряд писательских организаций, широкие массы пролетарских и союзническо-попутнических писателей. Сеть локафовских кружков растет и ширится с каждым днем.

Передовым борцом за идеи ЛОКАФА, несомненно, должен явиться журнал «ЛОКАФ», который в первую очередь призван претворить в конкретной литературной практике декларации и лозунги ЛОКАФА.

Задачи ЛОКАФА чрезвычайно обширны и чрезвычайно серьезны, особенно в связи с всевозрастающей военной опасностью.

Разоблачение хищнической политики империалистов, упорно подготовляющихся к интервенции в Советский Союз, борьба с ремарксизмом, показ лица сегодняшней Красной армии, являющейся не только стражем на передовых позициях обороны Союза, но и участвующей в процессе грандиозной социалистической стройки, показ культурно-политического ее роста, внедрение в широкие пролетарские массы идей интернационализма и т. д. «В советской литературе,— пишет Матэ Залка,— образовался новый отряд, который взял на себя задачу отобразить жизнь, быт, боевую подготовку, героическое прошлое, великое будущее Красной армии,— служить пером идее обороны Советского Союза от империалистов всего мира».

Из печати вышло уже шесть номеров журнала «ЛОКАФ», материал, достаточный для предварительных выводов и итогов. Прежде всего мы должны зафиксировать диспропорцию между тематикой исторической и тематикой сегодняшнего дня. Эпоха гражданской войны почти безраздельно подчинила себе весь отдел художественной прозы журнала. Несомненно, гражданская война — это незабываемый, ярчайший кусок нашей пролетарской истории, о ней писали, пишут и нужно дальше писать.

Но перед писателями, отображающими период гражданской войны, в настоящее время стоит задача — дать этот отрезок истории [в] новом освещении, преломить его в свете з[а]дач сегодняшнего дня, показать глазами по[д]линного историка-диалектика, находящегося [не] в плену военной романтики, но подвергающе[го] ее сильному классовому анализу и умеюще[го] приходить к широким синтетическим обобщ[е]ниям. Но кроме того в орбиту творческого зр[е]ния писателя должны войти армия и флот п[е]риода восстановления и реконструкции.

В каком же аспекте дана в журнале эпо[ха] гражданской войны?

Первый номер «ЛОКАФА» печатает три пр[о]изведения: Тарасова-Родионова «Гибель бар[о]на», Ракитина «Из записок красноармейца» [и] Вашенцева «Великая ночь», фиксирующие од[ин] из важнейших решающих моментов наш[е]го наступления на южном фронте — штур[м] Перекопа. Мы остановимся на повести Т[а]расова-Родионова, как на произведении, в[ы]являющем определенные идеологические и[з]кривления, которые «ЛОКАФУ» необх[о]димо учесть в своей дальнейшей творческ[ой] работе. Война дана в романе, как сумма стр[а]тегических приемов. Но это только один [из] составных элементов того фактора, которы[й] мы называем войной. Автор подошел к отобр[а]жению военных действий *слишком внеш*[*]*не, механистически*. Вскрыть внутренн[ие] пружины войны, показать, что пролетарск[ая] война выражает интересы пролетарского г[о]сударства, оправдать классовую гражданску[ю] войну — вот главные задачи художника-лок[а]фовца. Ленинская расшифровка войны — «и[з]-за чего... какими классами, ради какой полит[и]ческой цели» — должна служить исходным пу[н]ктом каждому писателю в отображении вое[н]ной тематики. Всех этих глубоких принципиал[ь]ных особенностей войны пролетарской и [не] учел Тарасов-Родионов в своем романе.

Но это не является единственным искривл[е]нием идеологической позиции писателя. В[ы]движение на передний план своего «я», сам[о]влюбленность звучат в романе неприятным ди[с]сонансом. Чрезвычайно неудачны попытк[и] автора показать красноармейскую массу, уч[а]ствующую в походе. Пошлый лубок, ставка [на] колорит «народного языка», барское сюсю

канье — вот характерные особенности писательского подхода к изображению тех героев, которые отдавали свою жизнь на защиту Советского Союза.

Тематический диапазон исторического участка «ЛОКАФА» — довольно широк. Большое место занимают в нем отрывки из романа Дегтярова «Шагают миллионы» (№ 3, 5-6). Этот роман намечает те пути, по которым должна итти литература о гражданской войне. В романе намечается чрезвычайно интересная и актуальная тема, имеющая громадное значение в процессе формирования большевистской, крепкой, дисциплинированной Красной армии. Эта тема об идеологически чуждом человеческом материале, который должен был или переварпться в котле революции или быть ликвидирован, как враждебная сила, как классовый враг. Сорокин — главнокомандующий Сев. Кавк. армией — явно не наш. Это человек, зараженный индивидуалистическими тенденциями, противопоставляющий себя коллективу, находящийся еще под обаянием партизанщины и т. д. Но весь этот сложный психоидеологический переплет сорокинского «я» недостаточно убедительно вскрыт писателем. Нечеткость, противоречивость в характеристике Сорокина, неполнота проникновения в глубину явлений, питающих сорокинский индивидуализм — все это снижает ценность поставленной автором проблемы. События идут в романе больше вширь, чем вглубь. Сорокину не противопоставлены во всей своей широте те передовики Красной армии, которые создавали ее мощь и которые вели ее к большим классовым победам.

Но, несмотря на эти недостатки, роман Дегтярева заслуживает большого внимания. Давая политическую зарядку, он выполняет большую и нужную социальную функцию.

В связи с недостатками, замеченными в романе Дегтярева, мы должны отметить характерную черту большинства произведений журнала — ориентировку на безликую массу, неумение выделять индивидуальные характеристики, раскрывать через них сущность совершающихся социальных процессов. Выведенные персонажи слабо, а иногда совсем не спаяны с окружающей социальной действительностью, не всегда являются носителями определенной идеи. Между тем, тот человеческий материал, который так разрозненно и невпечатляюще выступает в отдельных произведениях журнала, в основном является представителем волевого начала, активистом-пролетарием, большевиком, организатором классовых побед, стойко и крепко стоящим на посту обороны Советского Союза. Эти герои наших красных фронтов существуют, но мы их не видим. Метод «обезлички» скрыл их от читателя.

Роман Бражнева-Трифонова «Каленая тропа» (печ. отрывк. № 4) представляет собой довольно интересный опыт в области показа строительства Красной армии, создания кадров. Этот своеобразный трактат о войне, о принципах и доктрине пролетарской Красной армии продолжает намеченную в «Комиссарах» Либединского, тему. Автор подвергает жестокой критике буржуазную доктрину войны, разбивает теории реакционной профессуры Академии красного генштаба. «Сто миллионов бедняков, вооруженных ненавистью и классовой солидарностью» и вооруженных еще крепкой техникой, являются залогом наших социалистических побед.

К сожалению, автор недостаточно дисциплинирован: материал подан в хаотичном виде, его необходимо было привести в более простую и стройную систему. Не свободен автор от стремления к дешевым эффектам и т. д.

Попытку проникнуть в белогвардейский стан, разоблачить врага, наступающего на Ленинградском фронте, делает Тарасов-Родионов в повести «Пятый патрон» (№ 2), пропустив события сквозь призму мироощущения белогвардейского полковника. Метод этот требует от писателя особенно четкой идеологической установки, большого классового чутья, чтобы не потерять верную социальную перспективу, сохранить правильную классовую расстановку сил.

С этой задачей Тарасов-Родионов не справился. Важнейшие военно-политические события, связанные с Кронштадским восстанием, даны в совершенно опереточном разрезе. Явственно проступает в повести чрезмерное увлечение писателя жаргоном «жоржиков». Серьезное политическое содержание этого исторического отрезка оказалось сниженным. Враг оказался менее опасным, чем на самом деле.

Автор совершил еще одну крупную ошибку: не противопоставил распаду в стане белых, который он кстати смакует с большим удовольствием, мощь, созидающую силу отдельных представителей большевистского государства, с которыми белогвардейцы сталкивались в процессе борьбы. В итоге мы имеем пошлое произведение, которое ни в коем случае нельзя признать достижением журнала.

Черноморский флот в эпоху гражданской войны показан в отрывке из романа Малышкина «Севастополь».

Это произведение, несомненно, большого социального охвата. Обладая хорошим художественным чутьем, автор вскрывает перед читателем настроение флотских масс перед Октябрьской революцией. Малышкин дал нам прекрасный пример умения вскрывать индивидуальные характеристики в широком социальном плане. С большим мастерством разоблачена мелкобуржуазная природа главного героя романа Шелехова. Мы не будем подробно останавливаться на этом романе, получившем уже ряд положительных оценок на страницах печати. Во всяком случае привлечение к работе в журнале таких писателей-союзников как Малышкин — надо поставить в заслугу журнала.

Отдел художественной прозы делает не совсем удачные попытки осветить тему о красном пограничнике, защитнике передовых позиций обороны Советского Союза. В результате: ни о чем неговорящее, аполитическое стихотворение Ойслендера «Пограничная» (№ 3) и сырые, стилизованные, но очень интересные по теме и материалу фрагменты Вс. Иванова «Компромисс Наиб-Хана» (№ 2).

Отображение будней современной Красной армии, ее участие в той грандиозной борьбе, которая ведется сейчас на подступах к пятилетке, является слабейшим участком не только журнала «ЛОКАФ», но и всей нашей советской литературы. Перед писателем-локафовцем стоит задача — широко и всесторонне осветить богатейшую тематику будничной работы Красной армии, показать ее как центр идеологического воспитания красноармейских масс, показать процесс рождения нового человека, постепенно вооружающегося знаниями, техникой, приобретающего закалку передового борца-пролетария. Журнал выступает на этом участке только с четырьмя рассказами. В рассказах (исключая рассказы Рахилло) бичуются те чуждые настроения, которые, проникая в Красную армию, вносят разложение и тормозят ее культурный и политический рост. Командир Лебедев (не совсем удачный рассказ Исбаха «Приговор», № 1), летчик Мельник (В. Толстой — «Человек, который летал», № 4), колхозник Аверко (Рудин — «Соревнование близнецов», № 3), — вот человеческий материал, который нуждается в коренной переделке революцией.

Совершенно уродливое преломление получила одна из важнейших задач, стоящих перед Красной армией — военная учеба, маневры — в рассказе Рахилло «Собственная инициатива». Редакторский карандаш мог без ущерба вычеркнуть эту хитросплетенную выдумку, анекдот, рассчитанный на непритязательного мещанского читателя.

Центр тяжести в отображении мирной работы Красной армии переносится в очерковый материал журнала. Несмотря на актуальную тематику (учеба, культработа, быт, помощь социалистической стройке, соцсоревнование и ударничество), приходится признать, художественная техника этих очерков находится на невысоком уровне. Бытовизм, скольжение по поверхности, неуменье фиксировать свое внимание на наиболее ценном и нужном, отсутствие основного цементирующего начала, слабая эмоциональная окраска и т. д. — вот основные дефекты очеркового материала, которые снижают значение его актуальной тематики. Сильнее других сделаны: «Повесть о стрелке» Чибисова (№ 1), «О китайской красной армии» Осипова (№ 3), «Корабли» Рахилло (№ 4), «Дивизия на Тракторном» Бобунова (№ 5). Борьба за качество очерка — вот одна из задач красноармейского писателя-очеркиста. Выбирая полнокровные жизненные темы, писатели должны облечь их в соответствующую художественную форму.

В редакционном выборе стихов, несмотря на отдельные небольшие неудачи, необходимо отметить ряд достижений. Социально заостренные, бодро утверждающие жизнь, зовущие в борьбу, зорко стоящие на страже защиты интересов Союза — эти стихи свободны от эстетства, вычурности, ставки на внешний эффект. Мощный пафос революции звучит в стихах Гидаша «1 сентября 1931 г.» (№ 1) и Бехера «Веселый план» (№ 4). Хорошую культуру стиха обнаруживает Луговской в своих «Карданеллах» (№ 1). Необходимо еще отметить лирические и боевые по своей тематике стихи Щипачева «Весенняя прелюдия» (№ 1) и «Товарищ Янош» (№ 3).

Темы: империалистический запад, колониальная проблема, идеи международной пролетарской солидарности и т. д. — слабо освещаются на страницах «ЛОКАФА». Помещение в них нескольких небольших произведений Матэ Залка, Габора, Ремарка, Гаррисона и румынского пролетарского писателя Кахана — является лишь предварительной попыткой мобилизовать внимание «ЛОКАФА» вокруг тем империалистического и пролетарского запада, попыткой наладить связь с зарубежными революционными писателями. В выборе материала журнал не всегда делает правильную ориентировку. Например, сомнительную ценность представляет для журнала незначительный и нехарактерный отрывок из романа Гаррисона (эпигон Ремарка) — «Генералы умирают в постели». К положительным качествам необходимо отнести четкие критические предисловия редакции к печатаемым в журнале произведениям зарубежных писателей.

Беглый анализ художественно-очеркового материала журнала убеждает нас в том, что проблема качества стоит перед «ЛОКАФОМ» еще во всей своей остроте.

Еще серьезная работа предстоит журналу и в области собирания художественных сил, объединения вокруг журнала постоянного писательского актива. Прочного пролетарского костяка журнал еще не имеет, он только намечается (Ставский, Дегтярев, Исбах, Бражнев-Трифонов). Постепенно идет закрепление литературного молодняка (Вл. Толстой, Чибисов, Золотарев). «ЛОКАФ» должен укреплять связь с писателями-союзниками, шире привлекая их к участию в журнале.

Критический отдел журнала мобилизует внимание читателя на вопросах, связанных с определением позиции писателя в условиях надвигающейся военной опасности, на тех задачах, которые стоят перед локафовцами, фиксируя творческие выступления отдельных писателей. Боевой установочный материал мы найдем в статьях Павленко «Писатели и война» (№ 4), Бехера «Военная опасность и задачи революционных писателей» (№ 2). Небольшое, вдумчивое, интересное исследование о творчестве Фурманова дает Лелевич (№ 2). Любопытную почти не тронутую критикой тему разрабатывает Тарасенков в своих беглых заметках — «Поэзия и война 1914 г.» (№ 5).

Однако журнал совершенно обошел молчанием вопросы творчества и методологии, которые необходимо было увязать с спецификой «военной» литературы. На подведение теоретического базиса под художественную практику локафовцев журналу надо обратить самое серьезное внимание.

Но, несмотря на все эти недочеты, мы должны признать, что «ЛОКАФ», несомненно, проделал большую творческую работу, выполнив значительную часть намеченных в декларации задач. Начало — несомненно хорошее. Но жур-

нал не должен останавливаться на достигнутых успехах. Расширение тематического диапазона, углубленная проработка узловых проблем, стоящих перед писателем-локафовцем, борьба за качество художественной продукции, выработка твердого и четкого теоретического базиса, связь с красноармейской и краснофлотской читательской массой, привлечение к участию в журнале лучших представителей пролетарской и союзническо-попутнической литературы, зарубежных революционных писателей, воспитание литературного молодняка — вот в основном тот комплекс задач, который «ЛОКАФУ» необходимо разрешить в процессе своей творческой работы.

Т. Николаева.

Орио Вергани. — Я бедный негр. Роман. Перевод с итальянского Г. В. Рубцовой. Государственное издательство художественной литературы. Ленинград — Москва. 1931 г. Стр. 166. Ц. 1 р. 60 к.

Роман с бросающимся в глаза заглавием «Я бедный негр» не может не вызвать живейшего внимания читателя, особенно теперь, когда международный пролетариат и передовая общественность всего мира протестуют против нового возмутительнейшего проявления самого оголтелого человеконенавистничества в «цивилизованнейших» Соединенных Штатах, где восемь не совершивших никакого преступления негров приговорены к смертной казни. Эта невольная ассоциация усиливает интерес к теме, и без того уже занимающей определенное место в современной художественной литературе. На тему о негре написано немало произведений, начиная от вещей социально-насыщенных и кончая бьющей лишь на внешние эффекты «колониальной» халтурой. К сожалению, продукция последнего рода преобладает. Для ищущего экзотических эмоций западно-европейского мещанина стряпаются и соответствующие его вкусам романы. Амплитуда колебаний тут широкая — от почти погромных писаний эстетствующего певца империалистической экспансии и фашизма Поля Морана до сентиментальной болтовни на тему, что негр — тоже человек, хотя и «низшей расы». Превосходство «белого» обязательно выпячивается на первый план. Этот установившийся шаблон оказывает прямо губительное влияние; так Рене Моран, подавший надежды свежестью своей «Батуалы», скатился дальше до самой неприкрытой бульварщины.

Орио Вергани — итальянский беллетрист в общем не гонялся за дешевыми сенсациями, он в своей вещи уделяет особое место психологическому анализу, нередко щеголяя его тонкостями с известной дозой рафинированности. Социальная сторона у него совершенно затушевана; даже там, где, казалось бы, надо было как-то реагировать, автор умудряется не сказать ни слова. Орио Вергани берет своим героем африканского негра, за перипетиями судьбы которого следит с его детских лет в далеком тропическом захолустьи, и кончая его гибелью на улицах большого города, в «центре цивилизации». Маленький шустрый мальчик, оторвавшийся от своей деревушки и приютившийся около военного постоя, затем проходит различные стадии жизненной карьеры, как в портовом городе, так и на европейском континенте, где он выступает на амплуа видного боксера. Боксерской карьере Жео Бойкина и уделена большая часть книги; здесь попутно рассказывается и о его романе с белой женщиной. Наивысшего развития повествование достигает в той части, где Жео, согласившийся за крупный куш быть побежденным чемпионом мира — французским боксером, в процессе борьбы побеждает своего белого противника. Автор, по поводу этой победы негра над белыми, делает следующую ремарку: «Страшный, внушающий ужас Бойкин — тот самый негр, который выскакивает на лесные тропинки. Неожиданный запах крови, галлюцинация победы, искаженная, растоптанная гримаса вместо белокурого лица — развязывают в тайниках души Жео дремлющие инстинкты рас, инстинкты многих тысяч более темных и далеких людей. Человек только игрушка, раздавленная в его перчатках, замазанных кровью. Прекрасная жажда истребления и сумасшествия бросают его на преследование. Где челюсть, скула, глазные орбиты, из которых глядела ирония белого?» (стр. 160). Итак, все об'ясняется расой: «первобытный дикарь» просыпается и начинает крушить. Любопытно, как бы мотивировал автор победу «белого» чемпиона. Что тут бы проснулось?!. К «расовому» об'яснению итальянский писатель обращается не раз. Так, на стр. 91-й мы читаем о том же Жео: «Дни и события всегда шли ему навстречу, неожиданные и безразличные. Духовная лень его р а с ы (разрядка наша) не позволяла ему итти далее короткого размышления о сегодняшнем дне». Противопоставление белой и черной расы особенно выпячивается в сцене, когда муж застает жену с негром.

И вот «белый», который в общем не плохо относится к Жео, особенно возмущен изменой жены с негром: «С Жео, Жео!.. Он даже не видит жену, застывшую почти на коленях. Он чувствует такое отвращение, точно что-то липкое пристало к его телу, прямо под рубашкой». (стр. 97). И, наконец, апофеозом всего этого является конец романа, где «бедный негр», сошедший с ума, бежит из больницы и на улице большого города видит в витрине магазина фигуру привезенного из Африки идола. Происходит следующая сцена: «Негр опять кричит: «Я могу смотреть на тебя! Я могу смотреть на тебя!» Он обнажен, как бог. Он поднимает руку, в опьянении вытягивает лицо и рот. Танцует на асфальте города, как его предки танцовали в кругу монолитов на просеке. Он поет» (стр. 166). Здесь уже Вергани определенно отдал дань самой скверной традиции пресловутых «колониальных» романов, вдобавок еще с нездоровым, мистическим оттенком. Да и вся эта «расовая» концепция, расцвеченная разного рода психологизмами, достаточно характерна для идеологической установки автора. В общем надо сказать, что книгу Вергани вполне можно было и не переводить на русский язык. Крайне безвкусна обложка романа, на которой изобра-

жено какое-то гориллообразное существо, свирепо сокрушающее своего противника.

И. Бороздин.

Милий Езерский. — Золотая баба. Изд. «Федерация». Москва. 1931 г. Стр. 323. Ц. 2 руб. Пер. 25 коп.

Новый роман Милия Езерского написан в «стиле северной экзотики». Начав свежо и интересно своей первой вещью «Самоядь», изобилующей рядом любопытных бытовых моментов, в дальнейшем пошел по линии наименьшего сопротивления. Щеголяя своим знанием местного этнографического материала и нарочито выпячивая наиболее эффектные ситуации, М. Езерский заботится, главным образом, о внешней занимательности своих произведений, не углубляя и не заостряя тематики...

Роман под интригующим заголовком «Золотая баба» находится в преемственной связи с «Самоядью» и повествует о различного рода похождениях и приключениях «русского охотника», бывшего белогвардейского офицера Исленьева, кочующего по тундрам после разгрома контрреволюционного движения. Этот «герой» в настоящем романе является уже, так сказать, «осамоедившимся», он усыновлен крупным оленеводом, женился на местной красавице и сам стал владельцем оленьих стад. После трехлетней идиллии автор снова заставляет его переживать различные треволнения. Исленьев теряет любимую жену, горько оплакивает ее (что не мешает, впрочем, неотразимому офицеру весьма недвусмысленно флиртовать с некоей ижемской «Мессалиной» — Оленой) и, попутно покоряя направо и налево сердца всех встречаемых девиц, пускается в авантюрное предприятие в поисках за золотой бабой, увенчивающее в конечном счете Исленьева немалым количеством оленьих стад и сразу двумя новыми женами. Вот, в сущности, к чему сводится основное содержание довольно растянутого романа. Стоило ли огород городить? При этом надо принять во внимание, что роман не является, как будто, вполне законченным; можно не удивляться появлению его продолжения. Одним словом, совсем как у Александра Дюма-отца — «Двадцать лет спустя», «Десять лет спустя» и т. д. И эти западные сравнения вовсе неслучайно приходят на ум при чтении «северного» романа Езерского. Увы! автор не избег достаточно приевшегося шаблона авантюрно-этнографических и даже колониальных романов Запада. Произведена лишь перемена места действия и местного облика действующих лиц: вместо пламенного юга с его обитателями и, почти обязательно, колдунами и жрецами взят холодный север с самоядью, ижемцами и, конечно, шаманами, вместо храброго французского или английского лейтенанта, совершающего подвиги и олицетворяющего превосходство белой расы, взят бывший офицер российской армии. Разница температур не мешает бурному развитию романических интриг. Автор уделяет видное место сексуальным моментам. Не избег он и чисто мелодраматических положений с нагромождением убийств: так, муж убивает неверную жену и ее любовника, старуха Янгей убивает в свою очередь этого убийцу за отказ жениться на ней, сын убивает отца-шамана, не зная, что это его отец, и т. д. Все это происходит на фоне, обильно уснащенном этнографическими аксессуарами.

Милий Езерский почти исключительно описывает круг крупных владельцев оленьих стад и богатеев-спекулянтов. Классовое расслоение, выступления бедноты затрагиваются им как-то бегло и вскользь. Лишь на немногих страницах книги мы встречаемся с протестами пастухов, эксплоатируемых местной кулацкой верхушкой. Они мечтают о новых порядках, которые установят «совдепы». Но как раз о советской власти и ее активной роли в деле поднятия хозяйственного и культурного уровня народов Севера почти ничего не говорится. Выведенный в романе сторонник советской власти Нанди ведет себя как-то двусмысленно. Он то дружит с Исленьевым, мечтая выдать за него сестру и передать ему стада, то делает попытку его арестовать. Не менее двусмысленны его рассуждения: «Уйду в Салангар, в тамошний совдеп. Послужу новой власти, ежели она будет держать руку самоеди, послужу родам Хоруци, стану наибольшим старшиной на Ямале; сам буду собирать со всех ясак, сам буду платить, сам стану творить суд и расправу». (Стр. 228).

Роман Езерского — вредное и пошлое произведение, пытающееся культивировать «северную экзотику» в нашей литературе.

И. Бороздин.

Марк Эгарт. — «Переправа». Алтайские очерки. РАПП. Новинки пролетарской литературы ГИХЛ. Москва—Ленинград. 1931 г. Тираж 10 000 экз. Стр. 195. Ц. 1 руб. 45 коп.

Об Алтае написано много книг, в них вы найдете ценные географические, этнографические и прочие сведения, но в большинстве все это сведения дореволюционного периода, когда Алтай был страной экзотических путешествий и только в редких случаях об'ектом серьезных научных исследований (капитальный труд проф. В. В. Сапожникова). Много писали об Алтае и после, уже в революционный период, но за самыми незначительными исключениями все эти писания являются перепевами того, что мы знаем об Алтае по старой литературе. Советские писатели и очеркисты (не говоря уже о поэтах), увлекаясь экзотикой Алтая, не замечали основного, не замечали тех перемен, которые внесла революция в быт алтайских народов. Если принять во внимание кратковременность поэтических и писательских набегов на Алтай, вопиющее невежество или крайне поверхностное знакомство наших литературных туристов с жизнью и бытом алтайских народов вообще, причина этого явления станет вполне понятной.

Марк Эгарт является исключением в группе писателей, пишущих о современном Алтае. Его выгодно отличает от них прежде всего непосредственное знакомство с Алтаем вообще и изучение быта таких народностей, как ойраты и теленгиты, о которых он пишет. Вместе с этим основной ценностью очерков является их классовая направленность. Автор сумел на

фоне специфической «экзотики» быта алтайцев «разглядеть то основное, что характеризует Алтай сегодняшнего дня». Он показал, что далекая, отрезанная горами и озерами горная и недавно еще дикая страна включена в политическую жизнь Советского Союза.

В очерке «Могила Урмат» показаны темные силы прошлого, суеверие, дикий страх перед могилой умершей кàмки (алтайской шаманки), заставляющие целое село кочевать с места на место. Борьба с этим пережитком представлена тремя комсомольцами, организующими колхоз на месте старой стоянки села, около могилы Урмат.

Очерк «Павлà из Чулушманской долины» по размерам, по характеру изложения и по материалу переходит в повесть. Центральная фигура этого очерка молодая ойратка Павла, бывшая воспитанница одного из алтайских православных монастырей, обильно насажденных в свое время известным «просветителем» Алтая архиепископом томским Макарием, становится секретарем сельсовета. В селе идет борьба за воду, которая необходима для посевов ячменя. Русские и туземные кулаки об'единились и отвели воду на свои пашни. Павлà возглавила борьбу бедноты против кулаков и пустила воду на поля бедноты. Личная драма молодой ойратки вносит в очерк элементы романтики, но сюжет недостаточно развернут, благодаря чему очерк этот носит характер незаконченной повести.

Характерною особенностью Алтая является непосредственная близость его к китайской границе. На почве проведения коллективизации известная часть кулачества стала в открытую оппозицию к советской власти. Недовольные элементы, об'единившись в банды, ушли в горы, стали совершать разбойничьи набеги на коллективизированные села. Эта борьба нашла свое отражение в книге, в очерке «Лошадь Кындраша Миндешева». Здесь описаны некоторые эпизоды борьбы с известными в свое время, не менее белогвардейца Кайгородова, бандитом Сюжлесм. Между прочим в этом очерке есть несколько спорных положений, например приезд грузовика с арестованными бандитами, которых привезли прощаться с семьями...

Остальные, более мелкие очерки посвящены характеристике новых людей, строящих социализм на Алтае, их борьбе с массою препятствий, встречающихся на каждом шагу их трудного, но славного пути.

Среди этих крепких, верящих в торжество революции простых и честных людей выделяется фигура комсомольца Ден Наметова, сумевшего преодолеть чувство личной обиды и показать пример высокой общественной сознательности.

Вообще все персонажи очерков, преимущественно националы-ойраты, теленгитцы и алтайкижи — живые полноценные люди, причем все они показаны не отвлеченно, а в связной динамике происходящих на Алтае социальных процессов. Читая эти очерки, вы видите, как нарождается новая жизнь на Алтае, как пробуждаются люди, всматриваются в будущее и, повернувшись к прошлому спиной, идут к переправе. Многие уже переправились, но многие еще борются со стариной, которая цепко держит их на том берегу. Но дорога показана, наступление, начавшееся на Онгудае, выделенного постановлением Сибкрайкома ВКП(б) в опытно-показательный район сплошной коллективизации на Алтае, ширится и растет. Переправа заканчивается.

В заключение мы все же должны сказать, что при всех своих несомненных достоинствах книга очерков Эгарта несвободна и от некоторых недостатков. В художественном отношении не все очерки равноценны. Некоторые носят на себе печальные следы слишком поспешной обработки и не подымаются выше уровня статейно-очеркового материала провинциальной газеты. Во втором издании эти недостатки могут быть легко устранены.

Н. Феоктистов.

Сборник еврейской поэзии. — Гихл. 1931 г. Стр. 126. Ц. 1р. 10 к.

Этот сборник впервые дает правильное представление о литературе послеоктябрьского периода, выходящей на еврейском языке. Литературные группировки и литературные течения последнего десятилетия были скрыты от наших глаз тем обстоятельством, что произведения молодых еврейских поэтов почти не переводились на русский язык. А по изредка появляющимся переводам трудно было судить о молодежных группировках.

Теперь этот значительный пробел в нашей переводческой литературе заполнен изданием рецензируемого сборника, в котором об'единены произведения наиболее ярких представителей молодой еврейской поэзии. Поэты, стоящие на творческой платформе РАППа, об'единены в целый ряд еврейских секций МАППа, БЕЛАППа, ВОАППа и ВУСППа.

В сборнике еврейской поэзии представлены: минская группа «Молодой рабочий», московская — «Юнгвалд», харьковская — «Молодая гвардия», выдвинувшие таких даровитых поэтов, как Войерман, Котляр, Лифшиц, Витензон, Зельдин и др. Это молодняк, обещающий большое развитие революционной поэзии на еврейском языке.

Стремление построить равноправное, интернациональное общество — звучит основным мотивом во всех произведениях. Этот мотив пронизывает каждое стихотворение, какой бы теме оно не было посвящено. Гильдин, описывая сон современного Днепра, совсем не похожего на Днепр Гоголя, патетически восклицает:

Старый Днепр взнуздаем, как степную
лошадь,
У машины счастья становись на пост!
Будет чумакам в ночи скрипеть по
шляхам!
Угли, угли, угли — с каждой целины.
Зажигайте шнуры и давайте — ахнем
Так, чтоб Темзе стали берега тесны.

Такой же жизнерадостностью и стремлением к перестройке мира проникнуты строки и других поэтов, не только молодых, но и «старых», вроде Кушнирова, Роснна и др., сумевших пе-

рейти на новые революционные пути. Многим из этих поэтов пришлось провести трудную внутреннюю борьбу, чтобы навсегда освободиться от пагубного влияния есенинщины, но зато эти поэты сумели усвоить творческую установку пролетарской поэзии.

В некоторых стихах, помещенных в сборнике, уже чувствуется довольно хорошее мастерство, показывающее, что среди еврейской молодежи, собранной вокруг творческой платформы РАПП'а, есть крепкие поэты. Они нашли свой особый подход в показе происходящих событий на фоне строящегося социализма. Так, в сборнике, например, много стихотворений, посвященных Днепрострою, выдержанных в теплых, радостных, приветственных тонах.

В сборнике вы не найдете больной, гнусавой лирики, кричащей с надрывом о своем творческом и идеологическом тупиках. В книге радостные, задорные глотки крепкой молодежи, кричащие о том, что они счастливы тем, что живут во время такой великой перестройки полуазиатской страны в страну социалистическую.

В. Борахвостов.

Новые книги, поступившие в редакцию для отзыва

ОГИЗ

Страуян Ян. Рассказы о пятом годе, стр. 156, ц. 35 к.

Вылегжанин П. Руды заводские, стихи, стр. 28, ц. 30 к.

Институт Ленина. Сборник статей о «Народной воле», стр. 196, ц. 50 к.

Горький М. Избр. произведения, стр. 374, ц. 80 к.

Тан В. Г. Восемь племен, стр. 266, ц. 1 р. 50 к.

Брыкин Николай. Мучные короли, стр. 146, ц. 1 р.

Барта А. 350 000, стр. 62, ц. 60 к.

Малахов С. Переверзевщина на практике, стр. 84, ц. 70 к.

Москвин Николай. Гибель реального, стр. 304, ц. 2 р. 40 к.

Гарбер Александр. Штурм пластов, стр. 106, ц. 80 к.

Трушков Василий. Кадры, роман, стр. 164, ц. 1 р. 50 к.

Ирган М. Смерть Асуара, рассказы, стр. 122, ц. 1 р. 20 к.

Асеев Ник. Запеваем, сборник стихов, стр. 99, ц. 1р. 75 к., пер. 60 к.

Чарот Михась. Рассказы, перевод с белорусского Белинского М., стр. 125, ц. 1 р. 25 к.

Абчук А. Гершл Шамай, перевод с еврейского Брук Мнухо, стр. 196, ц. 80 к.

Степной Н. Записки ополченца, стр. 246, ц. 2 р.

Заславский Д. Тиха ль украинская ночь (по селам новой Украины), стр. 193, ц. 1 р. 60 к.

Лозин Валентин. Об'явление войны, стихи, стр. 79, ц. 95 к., пер. 20 к.

Евдокимов Иван. Зеленая роща, роман, стр. 285, ц. 2 р.

Бригада ВССП. Большая Балахна, очерки, стр. 270, ц. 2 р., пер. 20 к.

Козаков Мих. Девять точек, стр. 432, ц. 2 р. 75 к., пер. 25 к.

Пермитин Е. Когти, роман, стр. 60, ц. 3 р., пер. 30 к.

Жига Иван. Думы рабочих, записки рабкора, стр. 281, ц. 1 р. 80 к., пер. 20 к.

Яновский Евг. Ярость, ц. 1 р., стр. 120, пьеса в 5-ти действиях, 13 картинах.

Тюрин Николай. Глухое дело, пьеса в 5-ти действиях и шести картинах, стр. 108, ц. 1 р.

Сапожник Макар. Костоед, стр. 80, ц. 60 к., пьеса в 3-х действиях и 6 картинах.

Гринева Мария. Город, слушай, пьеса в 9 эпизодах, стр. 138, ц. 1 р.

Ирган М. Подпольная Галиция, смерть провокатора, драма в 5-ти действиях, авторизованный перевод с украинского Свободиной С. А., стр. 87, ц. 1 р.

Апушкин Як. Под золотым якорем, пьеса в 1-м действии, стр. 27, ц. 25 к.

Зелинский Корнелий. Процесс против тех, из-за кого болен мир (Жизнь Клима Самгина), стр. 25, ц. 20 к.

Старков К. 17-й год (июльские дни), пьеса в 1-м действии, стр. 27, ц. 25 к.

Ефимов Бор. Политические карикатуры, предисловие Полонского Вяч., стр. 94, ц. 1 р. 30 к.

Романович А. Мост, пьеса в 4-х действиях, 9 картинах, авторизованный перевод с белорусского Пикулева И. П., стр. 72, ц. 65 к.

Шпанов Ник. Песцы, 2-я книга рассказов, стр. 172, ц. 1 р.

Шишкевич Михаил. Вьюга, драма в 5-ти действиях, стр. 124, ц. 1 р.

Кольцов Мих. 18 городов, стр. 185, ц. 2р. 10 к., пер. 30 к.

Олендер Семен. Часовщик, лирич. стихи, стр. 102, ц. 1 р. 25 к.

Серафимович А. С. Рабочий день, стр. 355, ц. 2 р. 60 к.

Утевский Л. С. Жизнь Гончарова, стр. 266, ц. 2 р. 60 к., пер. 30 к.

ACADEMIA

Мюнгаузен Карл. История в арабесках, перевод и примечания Ярхо Г. И. и Б. И., предисловие Когана П. С., стр. 624, ц. 3 р. 75 к., пер. 90 к.

Шевченко Т. Г. Дневник, предисловие Строганова А., редакция, вступительная статья и примечания Шестерикова С. П., стр. 437, ц. 4 р., папка 50 к.

Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания, редакция Луначарского А. В., вступительная статья и комментарии Свистунова И. Я., стр. 455, ц. 2 р. 60 к., папка 30 к.

Станиславский К. Моя жизнь в искусстве, стр. 712, ц. 5 р. 50 к., пер. 1 р. (65 иллюстраций).

Державин Конст. Жизнь Лассалио с Тормеса и его беды и несчастия, стр. 110, ц. 1 р. 75 к., пер. 1 р. 25 к.

Мнимая поэзия, материалы по истории поэтической пародии XVIII и XIX вв., под редакцией Тынянова Ю., стр. 460, ц. 4 р. 20 к., папка 50 к.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Валентин Катаев—На полях романа 3
Б. Пастернак—Четыре стихотворения 13
Анна Антоновская—Возвышение Георгия Саакадзе 15
Пав. Антокольский—Из цикла „Бумкомбинат", стихи 61
Ю. Бессонов—Красный треугольник рассказ 63
Павел Васильев—Семипалатинск, стихи 84
Евгения Смирницкая—Из Средней Азии, стихи 85
Ив. Катаев—Победители 86
Петр Орешин—Живая лирика, стихи 107

В. Браславский—Очередное свидание социалистических превосходительств . . . 108
Ил. Эльвин—Испанская революция и церковь 122
И. Дукор—М. Фридлянский—Борьба с алкоголизмом в реконструктивный период 135

Я. Сахаров—Ловцы трепанга 148
Эмиль Гиллер—У канадских лесорубов, очерк 155

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

С. Динамов—Бернард Шоу 167
Ив. Анисимов—Ромен Роллан 178

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Т. Николаева „Локаф" № 1—6, *И. Бороздин*—Орио Вергани „Я бедный негр". *И. Бороздин*—Марк Езерский „Золотая баба". *Н. Феоктистов*—М. Эгарт, „Переправа". *В. Бирахгостис*—Сборник еврейской поэзии 192—198

НОВЫЕ КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ ДЛЯ ОТЗЫВА

Издатель: Государственное издательство художественной литературы



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПОДПИСКА НА 1931 ГОД

А НОВЫЙ ЖУРНАЛ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ И ТЕОРИИ

РАПП

Д ИЗДАНИЯ ПЕРВЫЙ **ВЫХОДИТ 6 КНИГ В ГОД**

ПП является руководящим теоретическим органом массового пролетлитературного движения. Все боевые вопросы практики, литературной политики, повседневной борьбы и работы пролетарского литературного движения разрабатываются в журнале с точки зрения борьбы за марксистско-ленинскую линию РАПП

ПП ставит все проблемы литературы и искусства в связи с проблемами культурной революции.

ПП ведет борьбу за диалектико-материалистический творческий метод пролетлитературы, за боевую марксистско-ленинскую публицистическую критику, за марксистско-ленинскую литературную науку, за широкую пролетлитературную среду, за новые кадры пролетарских писателей из передовиков рабочего класса — ударников, за новые кадры критиков и литературоведов, за новые кадры читателей, активно-участвующих в борьбе и работе пролетлитературного движения.

ПП борется за новый тип писателя—профессионального революционера, теснейшим образом связанного с практикой своего класса, владеющего марксистско-ленинским методом, за новый тип критика — борца за марксизм ленинизм в литературе, организатора масс, руководителя массового читательского движения, за новый тип читателя — не пассивного потребителя, а активного участника пролетарского литературного движения.

ПП ведет непримиримую борьбу с буржуазными и мелкобуржуазными теориями из области искусства со всеми извращениями марксизма-ленинизма, со всеми видами правого и „левого“ оппортунизма в области литературной теории и практики.

ПП разрабатывает следующие основные проблемы: I. Проблемы культурной революции. II. Основные проблемы текущей литературной политики. III. Методология литературной науки. IV. Борьба за диалектико-материалистический творческий метод. V. Борьба за публицистическую критику. VI. Современная литература (постоянный большой отдел конкретно-критических статей о всех наиболее существенных явлениях современной литературы). VII. Борьба за новый тип читателя. VIII. Вопросы международного пролетлитературного движения. IX. Идеологический фронт. X. История пролетарской литературы.

АПП дает кроме этих основных отделов еще следующие постоянные большие отделы: библиографии сатиры и юмора, переписки с читателем, консультации по вопросам литературы и искусства

ПП ДОЛЖНЫ ЧИТАТЬ: рабочие-ударники, все работники культурного фронта, партийный и советский актив, работники культотделов профсоюзов и отделов народного образования, библиотекари и работники массового пролетарского литературного движения, писатели и критики, преподаватели и студенты вузов, преподаватели литературы на рабфаках, фабзавучах и в трудовых школах и все интересующиеся современной литературой и искусством.

ОДПИСНАЯ ЦЕНА: с № 2 до конца года (5 номеров)—4 р. 20 к. на 6 мес. (с июля) 3 номера—2 р. 50 к.

ВВИДУ ИСЧЕРПАНИЯ ТИРАЖА ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ с № 2

ОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

во всех отделениях, магазинах Книгоцентра ОГИЗа, его уполномоченными и на почте.